

ЧАСТЬ 3: А ЕСТЬ А

ЧАСТЬ 2: ИЛИ — ИЛИ

ЧАСТЬ 1: НЕПРОТИВОРЕЧИЕ

Айн Рэнд

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

EDITOR'S
CHOICE



МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР



альпина
ПАБЛИШЕРЗ

Книги Айн Рэнд

Айн Рэнд

Атлант расправил плечи

«Альпина Диджитал»

1957

Рэнд А.

Атлант расправил плечи / А. Рэнд — «Альпина Диджитал»,
1957 — (Книги Айн Рэнд)

ISBN 978-5-9614-2004-3

К власти в США приходят социалисты и правительство берет курс на «равные возможности», считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных. Гонения на бизнес приводят к разрушению экономики, к тому же один за другим при загадочных обстоятельствах начинают исчезать талантливые люди и лучшие предприниматели. Главные герои романа стальной король Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт тщетно пытаются противостоять трагическим событиям. Вместо всеобщего процветания общество погружается в апатию и хаос. Почему книга достойна прочтения – Это книга, меняющая мировоззрение, она формирует целостное видение мира и дает ответы на вопросы о смысле человеческой жизни и общественном значении предпринимательства. – По опросам общественного мнения, проведенного в 1991 году Библиотекой Конгресса и книжным клубом «Book of the Month Club» в Америке «Атлант расправил плечи» - вторая после Библии книга, которая привела к переменам в жизни американских читателей. – Эта книга попала в список бестселлеров The New York Times через три дня после начала продаж и оставалась в нем на протяжении 21 недели. – Это самое значимое произведение в жизни писательницы, на работу над которым ушло 12 лет ее жизни.

ISBN 978-5-9614-2004-3

© Рэнд А., 1957

© Альпина Диджитал, 1957

Содержание

ЧАСТЬ I	7
ГЛАВА I. ТЕМА	7
ГЛАВА II. ЦЕПЬ	27
ГЛАВА III. ВЕРХ И НИЗ	41
ГЛАВА IV. НЕДВИЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ	58
ГЛАВА V. ВЕРШИНА РОДА Д'АНКОНИЯ	79
ГЛАВА VI. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	111
ГЛАВА VII. ЭКСПЛУАТАТОРЫ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ	140
ГЛАВА VIII. ЛИНИЯ ДЖОНА ГОЛТА	187
ГЛАВА IX. САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ	217
Конец ознакомительного фрагмента.	233

Айн Рэнд

Атлант расправил плечи

*Editor's choice –
выбор главного редактора*

Есть совсем немного книг, которые способны коренным образом изменить взгляд на мир. Эта книга – одна из таких.

Алексей Ильин, генеральный директор издательства «Альпина Паблишерз»

Фрэнку О'Коннору

© Ayn Rand. Renewed. 1957

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Бизнес Букс», 2007,
2008

Издано по лицензии Curtis Brown Ltd и литературного агентства Synopsis

© Дизайн обложки выполнен Студия Арт. Лебедева

© Электронное издание. ООО «Альпина», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

ЧАСТЬ I

Непротиворечие

ГЛАВА I. ТЕМА

– Кто такой Джон Голт?

Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто, без выражения. Однако далекий отсвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах, и глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы и с насмешкой, и вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству.

– Почему ты спрашиваешь? – Эдди Уиллерс встревожился.

Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась огненная желтизна неба.

– А почему тебя это волнует? – спросил он.

– Нисколько не волнует, – отрезал Эдди Уиллерс.

Он поспешно запустил руку в карман. Тип остановил его и попросил одолжить десять центов, а потом затеял беседу, словно бы пытаясь поскорее разделаться с настоящим мгновением и примериться к следующему. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что выслушивать объяснения было незачем, и у него даже не мелькнуло ни малейшего желания вникать в причины финансовых трудностей этого бродяги.

– Держи, выпьешь кофе, – обратился Эдди к не имеющему лица силуэту.

– Благодарю вас, сэр, – ответил ему равнодушный голос, и лицо на мгновение появилось из темноты. Загорелую и обветренную физиономию изрезали морщины, свидетельствовавшие об усталости и полном цинизма безразличии; глаза выдавали незаурядный ум. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. Впрочем, нет, не ужас, подумал он, бояться ему нечего: просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения; и все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди, как если бы знал, что он должен ощущать, более того, как если бы знал причину.

Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. Пора прекратить это, а то уже мерещиться начинает. А всегда ли с ним так было? Сейчас ему тридцать два. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда; однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. «Это все сумерки, – подумал он, – ненавижу сумерки».

Облака с вырисовавшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего с веками шедевра. Длинные потеки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей, застывшей молнией протянулась на десять этажей трещина. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами: одна сторона его была расцвечена закатом, с другой солнечная позолота давно осыпалась. Шпиль светился красным светом, подобным отражению огня: уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить.

Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным.

Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил себя поторопиться.

В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря.

Этот календарь мэра Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день, так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал: 2 сентября.

Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда не нравился ему, календарь раздражал Эдди, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге; в них угадывалось нечто общее.

Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, на что намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же наполнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не желали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей, оповещая с непрекаемой решительностью: 2 сентября.

Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груды яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинаясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности и странному, необъяснимому желанию защитить этот мир от давящей пустоты неба.

Дойдя до Пятой авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужно, он ничего не хотел покупать; но ему нравились витрины с товарами, любыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно; здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины.

Не зная почему, он вспомнил дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Таггертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Таггертов, а теперь он работал в их корпорации, как его дед и отец работали у деда и отца Таггертов.

Огромный дуб высился на выходящем к Гудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте семи лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не одну сотню лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впились в холм, как ухватившая землю пятерня, и Эдди казалось, что, даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая повиснет на корнях дерева словно шарик на веревочке. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба: дерево не могло таить в себе угрозу, оно воплощало величайший, с точки зрения мальчика, символ силы.

Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым; сердцевина давным-давно сгнила, внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно.

Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений: от соприкосновения со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его; он испытал свою меру ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству – тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере, он знал это; речь шла о чем-то совершенно дру-

гом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад, к дому. Ни тогда, ни после он никому не рассказывал об этом.

Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали, но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака.

Он не хотел, чтобы с детскими воспоминаниями было связано нечто печальное; он любил все, связанное со своим детством: каждый из прежних дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего: впрочем, скорее, не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней.

Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было десять лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением и, когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления:

– Чем-нибудь правильным, – и добавил: – Надо бы совершить что-нибудь великое... Ну, то есть нам вдвоем.

– Что же именно? – спросила она.

Он ответил:

– Не знаю. Мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорила – про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь. Ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы.

– Зачем? – спросила она, и он ответил:

– В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим?

– Не знаю.

– Мы должны это узнать.

Она не ответила – потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи.

Эдди Уиллерс улыбнулся. Он произнес эти слова – «чем-нибудь правильным» – 22 года назад, и с тех пор они оставались для него аксиомой. Прочие вопросы тускнели в его памяти: он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильным; он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым: простым в том смысле, что все должно быть правильным, и непостижимым потому, что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию «*Таггерт Трансконтинентал*».

Оно было самым высоким и горделивым на всей улице. Глядя на него, Эдди Уиллерс всегда улыбался. В длинных рядах окон – ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Контуры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Казалось, здание возвышалось над годами, неподвластное времени. «Оно будет всегда здесь стоять», – думал Эдди Уиллерс.

Всякий раз, входя в корпорацию «*Таггерт*», он ощущал облегчение и чувствовал себя в безопасности. Здесь властвовали компетентность и порядок. Полированный мрамор пола сверкал. Матовые прямоугольные плафоны ламп излучали приятный ровный свет. По ту сторону стеклянных панелей сидели за пишущими машинками девушки, чьи барабаниющие по клавишам пальцы создавали в зале гул идущего поезда. И подобно ответному эху, время от времени по стенам здания пробегал слабый трепет, поднимавшийся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный

путь, как было из поколения в поколение. «От океана до океана» – так звучал гордый лозунг «*Таггерт Трансконтинентал*», куда более блистательный и священный, чем любая из библейских заповедей! «От океана до океана, и вовеки веков», – подумал Эдди Уиллерс, переосмысливая эти слова на пути по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Таггерта, президента «*Таггерт Трансконтинентал*».

Джеймс Таггерт сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к пятидесяти годам; создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски. В его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое бледное лицо и блеклые затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было тридцать девять лет.

Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери.

– Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня, – сказал Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс направился прямо к столу.

– Это важно, Джим, – сказал он, не повышая голоса.

– Ну, ладно, ладно, что там у тебя?

Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. Под стеклом краски ее казались блеклыми; интересно знать, сколько президентов компании «*Таггерт*» сидели под ней и сколько лет. Железные дороги «*Таггерт Трансконтинентал*» – сеть красных линий, покрывавшая бесцветную плоть страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов. Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки. Одна из красных дорожек «*Таггерт Трансконтинентал*», линия Рио-Норте, проложила себе путь от Шайенна в Вайоминге, до Эль-Пасо в Техасе. Недавно добавилась новая ветка, и красная полоса устремилась на юг за Эль-Пасо, но Эдди Уиллерс поспешно отвернулся, когда глаза его коснулись этой точки.

Посмотрев на Джеймса Таггерта, он сказал: «Неприятности на линии Рио-Норте. Новое крушение».

Взгляд Таггерта опустился вниз, на край стола.

– Аварии на железных дорогах случаются каждый день. Стоило ли беспокоить меня по таким пустякам?

– Ты знаешь, о чем я говорю, Джим. Рио-Норте разваливается на глазах. Ветка обветшала. Вся линия.

– Мы построим новые пути.

Эдди Уиллерс продолжил, словно не слыша ответа:

– Линия обречена, нет смысла пускать по ней поезда. Люди отказываются ездить в них.

– На мой взгляд, во всей стране не найдется ни одной железной дороги, несколько веток которой не работали бы в убыток. Мы здесь не единственные. В таком состоянии находится государство – временно, как я полагаю.

Эдди не проронил ни слова. Просто *посмотрел*. Таггерту никогда не нравилась привычка Эдди Уиллерса глядеть людям прямо в глаза. Большие голубые глаза на открытом лице Эдди вопросительно смотрели из-под светлой челки – ничем не примечательный облик, если не считать искреннего внимания и нескрываемого недоумения.

– Что тебе нужно? – отрезал Таггерт.

– Хочу сказать тебе то, что должен, ведь рано или поздно ты все равно узнаешь правду.

– То, что у нас новая авария?

– То, что мы не можем бросить Рио-Норте на произвол судьбы.

Джеймс Таггерт редко поднимал голову; глядя на людей, он просто поднимал тяжелые веки и смотрел вверх исподлобья.

– А кто собирается закрывать линию Рио-Норте? – спросил он. – Об этом никто и не думал. Жаль, что ты так говоришь. Очень жаль.

– Но вот уже полгода мы нарушаем расписание. У нас не проходит и рейса без какой-нибудь поломки, большой или малой. Мы теряем всех грузоотправителей, одного за другим. Сколько мы еще продержимся?

– Ты – пессимист, Эдди. Тебе не хватает веры. А это подтачивает дух фирмы.

– Ты хочешь сказать, что в отношении линии Рио-Норте ничего предприниматься не будет?

– Я не говорил этого. Как только мы проложим новую колею...

– Джим, новой колеи не будет. – Брови Таггерта неторопливо поползли вверх. – Я только что вернулся из конторы «*Ассошиэйтед Стил*». Я разговаривал с Орреном Бойлем.

– И что он сказал?

– Говорил полтора часа, но так и не дал мне прямого и ясного ответа.

– Зачем ты его побеспокоил? По-моему, первая партия рельсов должна поступить только в следующем месяце.

– Она должна была прийти три месяца назад.

– Непредвиденные обстоятельства. Абсолютно не зависящие от Оррена.

– А первый срок поставки был назначен еще на полгода раньше. Джим, мы ждем эти рельсы от «*Ассошиэйтед Стил*» уже тринадцать месяцев.

– И чего ты от меня хочешь? Я не могу вмешиваться в дела Оррена Бойля.

– Я хочу, чтобы ты понял: ждать больше нельзя.

Негромким голосом, насмешливым и осторожным, Таггерт осведомился:

– И что же сказала моя сестрица?

– Она вернется только завтра.

– Ну и что, по-твоему, мне надо делать?

– Решать тебе.

– Ну, что бы ты ни сказал далее, ты не упомянешь о «*Риарден Стил*».

Немного помедлив, Эдди невозмутимо произнес:

– Хорошо, Джим. Я не стану упоминать об этой компании.

– Оррен – мой друг. – Таггерт не услышал ответа. – И мне обидна твоя позиция. Оррен Бойль поставит нам эти рельсы при первой возможности. И пока он не может этого сделать, никто не вправе обвинять нас.

– Джим! О чем ты говоришь? Разве ты не понимаешь, что линия Рио-Норте рассыпается вне зависимости от того, обвиняют нас в этом или нет?

– Нас непременно начнут обвинять, даже без «*Феникс-Дуранго*». – Он заметил, как напряглось лицо Эдди. – Никто еще не жаловался на линию Рио-Норте, пока на сцене не появилась компания «*Феникс-Дуранго*».

– «*Феникс-Дуранго*» работает просто прекрасно.

– Представь себе, такая мелюзга, как «*Феникс-Дуранго*», конкурирует с «*Таггерт Транс-континентал*»! Всего-то десять лет назад эта компания была сельской веткой.

– Теперь им принадлежат почти все грузовые перевозки Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. – Таггерт не ответил. – Джим, мы не можем терять Колорадо. Это наша последняя надежда. И не только наша. Если мы не соберемся, то уступим «*Феникс-Дуранго*» всех крупных грузоотправителей штата. Мы и так потеряли нефтяные месторождения Уайэтта.

– Не понимаю, почему все вокруг только и говорят, что о нефтяных месторождениях Уайэтта.

– Потому что Эллис Уайэтт – чудо...

– К черту Эллиса Уайэтта!

«А нет ли у этих нефтяных месторождений, – вдруг пришло в голову Эдди, – чего-то общего с кровеносными сосудами, нарисованными на карте? И не случайно ли когда-то красный ручей «*Таггерт Трансконтинентал*» пересек всю страну, совершив невозможное?» Ему представились скважины, выбрасывающие нефтяные потоки, черными реками разливающиеся по континенту едва ли не быстрее, чем поезда «*Феникс-Дуранго*». Это месторождение занимало скалистый пятачок в горах Колорадо и уже давно считалось выработанным и заброшенным. Отец Эллиса Уайэтта умел выжимать из задыхавшихся скважин скромный доход до конца своих дней. А теперь словно бы кто-то впрыснул адреналин в самое сердце горы, и оно забилося по-новому, гоняя черную кровь. Конечно же, кровь, подумал Эдди Уиллерс, ибо кровь питает, животворит, и это сделала нефть «*Уайэтт Ойл*». Она дала пустынным склонам новую жизнь, дала району, ничем прежде не отмеченному ни на одной карте, новые города, новые электростанции, новые фабрики. «Новые фабрики в то самое время, когда доходы от перевозок продукции всех знаменитых прежде предприятий год за годом постепенно сокращались; богатые новые месторождения, в то время, когда один за другим останавливались насосы скважин известных месторождений; новый промышленный штат там, где всякий рассчитывал обнаружить разве что несколько коров и засаженный свеклой огород. Это сделал один человек, причем всего за восемь лет», – размышлял Эдди Уиллерс, вспоминая невероятные истории, которые ему приходилось читать в школьных учебниках и которым он не слишком доверял, – рассказы о людях, живших в период становления этой страны. Ему хотелось бы познакомиться с Эллисом Уайэттом. Об этом человеке часто говорили, но встречались с ним немногие, поскольку он редко приезжал в Нью-Йорк. Будто ему тридцать три года, и он обладает буйным нравом. Он обнаружил какой-то способ возрождать истощенные нефтяные месторождения, чем и занимался по сию пору.

– Эллис Уайэтт – жадный ублюдок, не интересующийся ничем, кроме денег, – промолвил Джеймс Таггерт. – На мой взгляд, в жизни есть занятия поважнее, чем делать деньги.

– О чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к...

– К тому же он дважды подвел нас. Мы много лет весьма исправно обслуживали нефтяные месторождения Уайэтта. При самом старике Уайэтте мы отправляли состав цистерн раз в неделю.

– Сейчас не те времена, Джим. «*Феникс-Дуранго*» отправляет оттуда два состава цистерн ежедневно, и ходят они по расписанию.

– Если бы он позволил нам угнаться за ним...

– Он не может тратить время понапрасну.

– Чего же он ожидает? Чтобы мы отказались от всех прочих отправителей, принесли в жертву интересы всей страны и предоставили ему все наши поезда?

– С какой стати? Он ничего не ждет. Просто работает с «*Феникс-Дуранго*».

– По-моему, он – беспринципный, неразборчивый в средствах негодяй. Я вижу в нем безответственного, явно переоцененного выскочку. – Подобная вспышка эмоций в безжизненном голосе Джеймса Таггерта казалась даже неестественной. – И я совсем не уверен, что его нефтяные разработки представляют собой такое уж благо. На мой взгляд, он вывел из равновесия экономику целой страны. Никто не ожидал, что Колорадо делается промышленным штатом. Разве можно быть в чем-то уверенным или планировать наперед, если все так быстро меняется?

– Великий боже, Джим! Он...

– Да знаю я, знаю: он делает деньги. Но только мне кажется, что не этим надлежит измерять пользу человека для общества. А что касается его нефти, он приполз бы к нам и ждал своей очереди вместе с другими отправителями, не требуя при этом ничего свыше своей честной доли перевозок, если бы не «*Феникс – Дуранго*».

Что-то давит на грудь и виски, подумал Эдди Уиллерс, наверно, из-за усилий, которые он прилагал, дабы сдержаться. Он решил выяснить все раз и навсегда; и необходимость этого была настолько остра, что просто не могла остаться за пределами понимания Таггерта, если только он, Эдди, сумеет убедительно изложить факты. Потому-то он так и старался, но снова явно терпел неудачу, как и в большинстве их споров: всегда казалось, что они говорили о разных вещах.

– Джим, да о чем ты? Какая разница, будут нас обвинять или нет, если дорога все равно разваливается?

На лице Таггерта появилась едва заметная холодная усмешка.

– Как это мило, Эдди, – сказал он. – Как меня трогает твоя преданность «*Таггерт Трансконтинентал*». Смотри, если не поостережешься, то неминуемо превратишься в самого безропотного крепостного или раба.

– Я уже стал им, Джим.

– Но позволь мне тогда спросить, имеешь ли ты право обсуждать со мной подобные вопросы?

– Не имею.

– А почему бы тебе не вспомнить, что *подобные вопросы* решаются у нас на уровне начальников отделов? Почему бы тебе не обратиться к коллегам, решающим такие задачи? Или не выплакаться на плече моей драгоценной сестрицы?

– Вот что, Джим, я знаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что тебе говорят твои штатные советники и почему они не в состоянии должным образом держать тебя в курсе, поэтому я попытался сделать это сам.

– Я ценю нашу детскую дружбу, Эдди, но неужели ты считаешь, что она позволяет тебе являться в мой кабинет без вызова, по собственному желанию? У тебя есть определенный статус, но не забывай, что президент «*Таггерт Трансконтинентал*» пока еще я.

Итак, попытка не удалась. Эдди Уиллерс привычно, даже как-то равнодушно посмотрел на него и спросил:

– Так, значит, ты не собираешься делать что-либо для спасения Рио-Норте?

– Я этого не говорил. Я этого совсем не говорил. – Таггерт уставился на карту, на красную полосу к югу от Эль-Пасо. – Как только заработают рудники Сан-Себастьян и начнет окупаться наша мексиканская ветка...

– Давай не будем об этом, Джим.

Таггерт резко повернулся, удивленный неожиданно жестким тоном Эдди:

– В чем дело?

– Ты знаешь. Твоя сестра сказала...

– К черту мою сестру! – воскликнул Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс не шевельнулся. И не ответил. Он стоял и смотрел прямо перед собой, не видя никого в этом кабинете, не замечая более Джеймса Таггерта.

Спустя мгновение он поклонился и вышел.

Сотрудники «*Таггерт Трансконтинентал*» уже выключали лампы, собираясь отправляться по домам после завершения рабочего дня. Только Поп Харпер, старший клерк, еще сидел за столом, вертя рычажки полуразобранной пишущей машинки. По общему мнению сотрудников компании, Поп Харпер родился в этом уголке кабинета, за этим самым столом, и не намеревается покидать его. Он был главным клерком еще у отца Джеймса Таггерта.

Поп Харпер поднял глаза от машинки и посмотрел на Эдди Уиллерса, вышедшего из кабинета президента. Мудрый и неторопливый взгляд будто намекал, что ему известно: визит Эдди в эту часть здания означал неприятности на одной из веток, равно как и то, что визит этот оказался бесплодным. Но Попу Харперу все вышеперечисленное было совер-

шенно безразлично. То же самое циничное безразличие Эдди Уиллерс видел и в глазах бродяги на уличном перекрестке.

– А скажи-ка, Эдди, где сейчас можно купить шерстяное белье? – спросил Поп. – Обыскал весь город, но нигде не нашел.

– Не знаю, – произнес Эдди, останавливаясь. – Но почему вы *меня* об этом спрашиваете?

– А я у всех спрашиваю. Может, хоть кто-то скажет.

Эдди настороженно посмотрел на седую шевелюру и на морщинистое равнодушное лицо Харпера.

– Холодно в этой лавочке, – проговорил Поп Харпер. – А зимой будет еще холоднее.

– Что вы делаете? – спросил Эдди, указывая на детали пишущей машинки.

– Проклятая штуковина снова сломалась. Посылать в ремонт бесполезно, в прошлый раз провозились три месяца. Вот я и решил починить ее сам. Ненадолго, конечно...

Рука его легла на клавиши.

– Пора тебе на свалку, старина. Твои дни сочтены.

Эдди вздрогнул. Именно эту фразу он пытался вспомнить: «*Твои дни сочтены*». Однако он забыл, в связи с чем.

– Бесполезно, Эдди, – произнес Поп Харпер.

– Что бесполезно?

– Все. Все, что угодно.

– О чем ты, Поп?

– Я не собираюсь подавать заявку на приобретение новой пишущей машинки. Новые штампуют из жести. И когда сдохнут старые, придет конец машинописным текстам. Сегодня в подземке была авария, тормоза не сработали. Ступай-ка ты домой, Эдди, включи радио и послушай хорошую музыку. А о делах забудь, парень. Беда твоя в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня дома кто-то опять украл с лестницы все лампочки. И грудь болит. Сегодня утром не смог купить капель от кашля: аптека у нас на углу разорилась на прошлой неделе. И железнодорожная компания «*Техас-Вестерн*» разорилась в прошлом месяце. Вчера закрыли на ремонт мост Квинсборо. О чем это я? И вообще, кто такой Джон Голт?

* * *

Она сидела в поезде возле окна, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Скорость движения заставляла подрагивать оконную раму, за которой висела темная пустота, и лишь фонари время от времени прочерчивали по стеклу яркие полосы.

Изящество ее ног и элегантность туфель на высоком каблуке казались неуместными в пыльном вагоне поезда и странным образом не гармонировали с ее обликом. Мешковатое, некогда дорогое пальто из верблюжьей шерсти, укутывало стройное тело. Воротник пальто был поднят к отогнутым вниз полям шляпки. Каре каштановых волос почти касалось плеч. Лицо казалось составленным из ломаных линий, с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она была недовольна своей неподвижностью, и что-то неженственное, будто она не чувствовала собственного тела.

Она сидела и слушала музыку. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь, они повествовали о восхождении и были его воплощением, сутью и формой движения вверх. Эта музыка олицетворяла собой те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был взрыв звука, вырвавшегося из укрытия и хлынувшего во все стороны. Восторг обретения свободы соединялся с напряженным стремлением к цели. Звук преодолевал пространство, не оставляя в нем ничего, кроме счастья несдерживаемого порыва. Лишь сла-

бое эхо шептало о былом заточении звуков, но эта музыка жила радостным удивлением перед открытием: нет ни уродства, ни боли, нет и никогда не было. Звучала песнь Великого Высвобождения.

Всего на несколько мгновений, пока длится музыка, можно отдаться ей полностью – все забыть и разрешить себе погрузиться в ощущения: давай, отпускай тормоза – вот оно.

Где-то на краю сознания, за музыкой, стучали колеса поезда. Они выбивали ровный ритм, подчеркивая каждый четвертый удар, словно выражая тем самым осознанную цель. Она могла расслабиться, потому что слышала стук колес. Она внимала симфонии, думая: вот почему должны вращаться колеса, вот куда они несут нас.

Она никогда прежде не слышала эту симфонию, но знала, что ее написал Ричард Халлей. Она узнала и эту бурную силу, и необычайную напряженность звучания. Она узнала его стиль: это была чистая и сложная мелодия – в то время, когда никто более не писал мелодий... Она сидела, глядя в потолок вагона, но не видела его, потому что забыла, где находится. Она не знала, слышит ли полный симфонический оркестр или только тему; быть может, оркестровка звучала только в ее голове.

Ей казалось, что предварительные отзвуки этой темы можно уловить во всех произведениях Ричарда Халлея, созданных за долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него вдруг обрушилось бремя славы, которое и погубило его. «Это, – подумала она, прислушиваясь к симфонии, – и было целью его борьбы». Она вспомнила полунамеки его музыки, предвещавшие вот эти фразы, обрывки мелодий, начинавших эту тему, но не претворявшихся в нее; когда Ричард Халлей писал это, он... Она села прямо. Так когда же Ричард Халлей написал эту музыку?

И в то же мгновение поняла, где находится, и впервые заметила, откуда исходит звук.

В нескольких шагах от нее, в конце вагона, молодой светловолосый кондуктор регулировал настройку кондиционера, насвистывая тему симфонии. Она поняла, что свистит он уже давно и именно это она и слышала.

Не веря самой себе, она некоторое время прислушивалась, прежде чем решилась спросить:

– Пожалуйста, скажи мне, что ты высвистываешь?

Юноша повернулся к ней. Встретив его прямой взгляд, она увидела открытую энергичную улыбку, словно бы он обменивался взглядом с другом. Ей понравилось его лицо: напряженные и твердые линии не имели ничего общего с расслабленными мышцами, отрицающими всякое соответствие форме, которые она так привыкла видеть на лицах людей.

– Концерт Халлея, – ответил он с улыбкой.

– Который?

– Пятый.

Позволив мгновению затянуться, она, наконец, произнесла неторопливо и весьма осторожно.

– Ричард Халлей написал только четыре концерта.

Улыбка на лице юноши исчезла. Его словно рывком вернули к реальности, как ее саму несколько мгновений назад. Словно бы щелкнул затвор, и перед ней осталось лицо, не имеющее выражения, безразличное и пустое.

– Да, конечно, – промямлил он. – Я не прав. Я ошибся.

– Тогда что же это было?

– Мелодия, которую я где-то слышал.

– Какая мелодия?

– Не знаю.

– Где ты подхватил ее?

– Не помню.

Она беспомощно смолкла; а юноша уже отворачивался от нее, не проявляя более интереса.

– Тема напомнила мне Халлея, – сказала она. – Но я знаю все симфонии, которые он когда-либо написал, и такого мотива у него нет.

Без какого-либо выражения на лице, всего лишь с легкой заинтересованностью, юноша повернулся к ней и спросил:

– А вам нравится музыка Ричарда Халлея?

– Да, – проговорила она. – Очень нравится.

Внимательно посмотрев на нее словно бы в нерешительности, он отвернулся и продолжил работу. Она отметила слаженность его движений. Работал он молча.

Она не спала две ночи, потому что не могла позволить себе уснуть; слишком многое следовало обдумать за короткое время: поезд прибывал в Нью-Йорк завтра рано утром. Ей нужно было время, тем не менее, она хотела, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была «*Комета Таггера*» – самый быстрый поезд во всей стране.

Она пыталась думать о чем-то, однако музыка оставалась на грани ее разума и звучала полными аккордами, подобными неумолимому шествию того, что остановить нельзя... Гневно качнув головой, она сбросила шляпу, достала сигарету и закурила.

Она решила не спать; вполне можно продержаться до завтрашней ночи... Колеса поезда выбивали акцентированный ритм. Она настолько привыкла к нему, что более уже не замечала, но сам звук превратился в душе ее в ощущение покоя. Погасив окурок, она поняла, что должна закурить новую сигарету, однако решила дать себе передышку, минуту, может быть, несколько, прежде чем...

Внезапно пробудившись, она почувствовала что-то неладное, прежде чем поняла: поезд остановился. Освещенный синими ночниками, вагон застыл на месте. Она посмотрела на часы: причин для остановки не было. Она поглядела в окно: поезд стоял посреди чистого поля.

Кто-то шевельнулся на сиденье по ту сторону прохода, и она спросила:

– Давно стоим?

Безразличный мужской голос ответил:

– Около часа.

Мужчина проводил ее взглядом, полным сонного удивления, когда она вскочила с места и рванулась к двери. Снаружи задувал прохладный ветер, пустынное поле раскинулось под столь же пустынным небом. Ночная тьма шелестела травой. Далеко впереди она заметила людей, стоявших возле паровоза, – а над ними в небе повис красный глазок семафора.

Она торопливо направилась к ним вдоль вереницы неподвижных колес. На нее не обратили никакого внимания. Поездная бригада вместе с несколькими пассажирами стояла под красным огоньком. Разговора не было, все застыли в безмолвном ожидании.

– В чем дело? – спросила она.

Машинист удивленно повернулся к ней. Слетевший с ее уст вопрос звучал, скорее, как приказ, а не как подобающее пассажиру любопытство. Она стояла, держа руки в карманах, подняв воротник пальто, ветер развевал волосы.

– Красный свет, леди, – указал он пальцем на семафор.

– И давно он горит?

– Уже час.

– Мы не на главной колее, так ведь?

– Правильно.

– Почему?

– Не знаю.

Заговорил проводник:

– Не думаю, что нас специально перевели на боковой путь, просто стрелка забарахлила, как и эта штукавина. – Он указал головой на красный глазок.

– Едва ли сигнал переменится. Я думаю, он просто сломался.

– Тогда что вы тут делаете?

– Ждем, пока свет переключится.

Пока ее раздражение переходило в гнев, кочегар усмехнулся:

– На прошлой неделе экстренный «Южно-атлантический» простоял на боковом пути два часа по чьей-то ошибке.

– Это «Комета Таггерта», – проговорила она. – «Комета» еще никогда не опаздывала.

– Только одна во всей стране, – отозвался машинист.

– Все когда-то случается в первый раз, – прокомментировал кочегар.

– Не знаете вы железных дорог, леди, – сказал один из пассажиров, – на всей железной дороге в этих сельских краях не найдется ни одного стоящего диспетчера.

Словно и не замечая его, она обратилась к машинисту.

– Если семафор сломан, что вы намерены предпринять?

Ему не понравился ее властный тон; он не понимал, отчего эта нотка звучит в голосе простой пассажирки столь *естественно*. Она выглядела как юная девушка, но рот и глаза свидетельствовали, что этой женщине за тридцать. Прямой взгляд темно-серых глаз смущал, он словно бы прорезал предметы до самой сути, отбрасывая в сторону незначительные подробности. Лицо ее показалось механику странно знакомым, хотя он не мог припомнить, где именно видел эту особу.

– Леди, я не желаю рисковать, – проговорил он.

– Он хочет сказать, – сказал кочегар, – что наше дело – ждать приказа.

– Ваше дело – вести этот поезд.

– Не на красный свет. Если семафор говорит нам стоять, мы стоим.

– Красный свет указывает на опасность, леди, – сказал пассажир.

– Мы не вправе рисковать, – поддакнул машинист. – Кто бы ни был сейчас виноват, если мы сдвинемся с места, то станем виноватыми сами. Поэтому мы останемся на месте до получения соответствующего распоряжения.

– А если такового не поступит?

– Рано или поздно кто-нибудь да появится.

– И как долго вы намерены ждать?

Машинист пожал плечами:

– А кто такой Джон Голт?

– Он хочет сказать, – пояснил кочегар, – что не надо задавать бесполезных вопросов.

Она посмотрела на красный свет, на рельсы, терявшиеся в черной, нетронутой дали.

– Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если он в порядке, возвращайтесь на главный путь. А там остановитесь на первой же станции.

– Да ну? И кто же мне это говорит?

– Я.

– Кто это, *вы*?

Последовала кратчайшая из пауз, мгновенное удивление вопросу, которого она не ожидала, но машинист внимательнее присмотрелся к ее лицу и только ахнул:

– Великий боже!

Она ответила без обиды, просто как человек, которому нечасто приходится слышать такой вопрос:

– Дагни Таггерт.

– Ну, ей-богу, – проворчал кочегар, и все сразу смолкли. Она продолжила столь же непреклонно властным тоном:

– Возвращайтесь на основной путь и остановите поезд на первой же открытой станции.

– Да, мисс Таггерт.

– Вам придется нагнать опоздание. У вас для этого есть весь остаток ночи. *«Комета»* должна прийти по расписанию.

– Да, мисс Таггерт.

Она повернулась, чтобы уйти, когда машинист осторожно поинтересовался:

– В случае любых неприятностей вы берете ответственность на себя, мисс Таггерт?

– Беру.

Проводник проводил ее до вагона. Он волновался и говорил:

– Но... простое место в сидячем вагоне, мисс Таггерт? Как же так вышло? Почему вы не дали нам знать?

Она непринужденно улыбнулась:

– У меня не было времени на формальности. Мой персональный вагон был присоединен к чикагскому поезду номер 22, но я сошла в Кливленде, а двадцать второй возвращался слишком поздно, поэтому я не стала его ждать. Первой пришла *«Комета»*, и я воспользовалась ею, а в спальнях вагонов не было мест.

Проводник покачал головой:

– Ваш брат так не поступил бы.

Она рассмеялась:

– Да, вы правы.

Стоявшие у паровоза люди проводили ее глазами. Среди них был и юный кондуктор, кивнувший ей вслед:

– Кто это?

– Хозяйка *«Таггерт Трансконтинентал»*, – ответил машинист полным неподдельного уважения голосом, – вице-президент, руководитель производственного отдела.

Поезд тронулся, звук паровозного свистка прокатился над полями и смолк. Она сидела возле окна, раскуривая новую сигарету, и думала: «Все разваливается на части, по всей стране, неприятностей можно ожидать повсюду и в любой момент». Однако она не чувствовала гнева или тревоги, у нее не было времени для этого.

Это всего только один вопрос, который следует разрешить вместе со всеми остальными. Она знала, что управляющий отделением фирмы в Огайо никуда не годится, но он приятель Джеймса Таггерта. Она еще не настояла на том, чтобы управляющего выставили с работы, только потому, что ей нечем было его заменить. Хороших работников трудно найти. Однако теперь придется отделаться от него, и место это она отдаст Оуэну Келлогу, молодому инженеру, блестяще проявившему себя в качестве одного из помощников управляющего вокзалом *«Таггерт»* в Нью-Йорке; по сути дела, он и руководил всем. Некоторое время она следила за его работой; она всегда искала проблески таланта, подобно охотнику за алмазами на ничем не примечательной пустоши. Келлог был еще слишком молод для руководителя отделом, и она хотела предложить ему новый пост через год, но времени на размышления уже не оставалось. Ей придется поговорить с ним сразу после возвращения.

Едва различимая полоска земли за окном теперь бежала быстрее, превращаясь в серый ручей. За сухими вычислениями, занимавшими ее ум, Дагни отметила, что может еще что-то чувствовать: это было сильное, опьяняющее желание действовать.

* * *

«Комета» со свистом нырнула в тоннель вокзала *«Таггерт»* под Нью-Йорком, и Дагни Таггерт выпрямилась в кресле. Когда поезд уходил под землю, она всегда ощущала чувство решимости, надежды и скрытого волнения. Казалось, что обыденное существование было рас-

плавчатой, грубо раскрашенной фотографией, но здесь становилось наброском, сделанным несколькими резкими движениями кисти, превращавшими изображение в нечто чистое, важное, стоящее.

За окном бежали стены тоннеля: голый бетон, покрытый переплетением проводов и кабелей, сетка рельсов, исчезающих во мгле тоннелей, из которых цветными каплями посвечивали далекие красные и зеленые огни семафоров. Здесь не было ничего лишнего, ничто не разбавляло реальность, так что оставалось только восхищаться чистой целесообразностью и человеческой изобретательностью, благодаря которой это стало возможным. На мгновение Дагни представилось высящееся сейчас над ее головой, рвущееся к небу здание компании «*Таггерт*». И она подумала: это – корни здания, полые, выющиеся под землей корни, питающие весь город.

Она вышла на вокзале; бетонный перрон давал ощущение надежности, а это вселяло в сердце легкость, подъем, стремление действовать. Она прибавила шагу, словно бы скорость могла придать форму тому, что она чувствовала. И лишь через несколько мгновений поняла, что насвистывает мелодию и что это тема Пятого концерта Халлея. Чей-то взгляд заставил ее обернуться: молодой кондуктор пристально смотрел ей вслед.

* * *

Дагни Таггерт сидела на ручке просторного кресла, повернутого к столу Джеймса Таггерта, в расстегнутом пальто поверх мятого дорожного костюма. Эдди Уиллерс расположился в другом конце кабинета и время от времени делал какие-то заметки. Он занимал должность специального помощника вице-президента по грузовым перевозкам, и основной обязанностью его было оберегать Дагни от пустой траты времени. Она всегда просила его присутствовать при разговорах подобного рода, поскольку в этом случае ей ничего не нужно было впоследствии ему объяснять. Джеймс Таггерт сидел за столом, втянув голову в плечи.

– Линия Рио-Норте – сплошная груда мусора, от начала до конца, – проговорила Дагни. – Положение много хуже, чем я предполагала. Однако нам придется спасать ее.

– Конечно, – согласился Джеймс Таггерт.

– Часть рельсов можно сохранить. Но немного и ненадолго. Мы начнем укладывать новую колею в горных районах, начиная с Колорадо. Новые рельсы мы получим через два месяца.

– Но Оррен Бойль сказал, что он...

– Я заказала рельсы у «*Риарден Стил*».

Легкий полузадушенный вздох, долетевший со стороны Эдди Уиллерса, свидетельствовал о чуть было не сорвавшемся с его губ вопле радости.

Джеймс Таггерт ответил не сразу.

– Дагни, почему бы тебе не сесть, как положено, в кресло? – наконец, проговорил он воинственным тоном. – никто не проводит деловые совещания таким вот образом.

– Я провожу.

Она ждала. И Таггерт спросил, стараясь не смотреть ей в глаза:

– Ты, кажется, говорила, что заказала рельсы у Риардена?

– Вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда.

– Но правление не давало на это согласия. И я тоже. Ты даже не посоветовалась со мной.

Протянув руку, она подняла трубку со стоявшего на столе брата телефонного аппарата и подала ему.

– Позвони Риардену и отмени заказ.

Джеймс Таггерт откинулся назад в своем кресле.

– Этого я не говорил, – сердито ответил он, – вовсе я этого не говорил.

– Значит, ты согласен?

– Этого я тоже не говорил.

Она повернулась.

– Эдди, распорядись, пусть составят контракт с «*Риарден Стил*». Джим подпишет.

Дагни извлекла из кармана мятый листок бумаги и перебросила его Эдди:

– Тут цифры и условия.

Таггерт проговорил:

– Но правление не...

– Правление не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Ты получил от него разрешение купить рельсы тринадцать месяцев назад. А где покупать, зависит от тебя.

– На мой взгляд, едва ли стоит принимать такое решение, не предоставив правлению шанса выразить *собственное* мнение. И я не вижу причины, почему нужно заставлять меня брать всю ответственность на себя.

– Ответственность я беру на себя.

– А как насчет расходов, которые...

– Риарден просит меньше, чем «*Ассошиэйтед Стил*» Оррена Бойля.

– Да, но что делать с Орреном Бойлем?

– Я разорвала контракт. Мы имели право на это еще шесть месяцев назад.

– Когда ты сделала это?

– Вчера.

– Однако он не звонил мне, чтобы я подтвердил...

– И не позвонит.

Таггерт сидел, уставившись в стол. Дагни пыталась понять, почему брату так не хочется иметь дело с Риарденом и почему нежелание это принимает вид столь странный и нерешительный. Компания «*Риарден Стил*» была главным поставщиком «*Таггерт Трансконтинентал*» в течение десяти лет, с того дня, как Риарден зажег свою первую печь, когда их отец еще был председателем Правления железной дороги. Десять лет большую часть рельсов Таггертам поставляла «*Риарден Стил*». В стране насчитывалось совсем немного фирм, исполнявших заказы строго в срок и в соответствии со всеми требованиями. Компания «*Риарден Стил*» принадлежала к их числу.

Будь я не в своем уме, подумала Дагни, то пришла бы к выводу, что брат терпеть не может вести дела с Риарденом, поскольку тот *слишком* скрупулезно исполнял свои обязанности; однако она отбросила эту мысль, поскольку, на ее взгляд, такое отношение попросту выходило за рамки здравого смысла.

– Это нечестно, – объявил Джеймс Таггерт.

– Что нечестно?

– Что мы всегда заказываем Риардену. По-моему, мы могли бы предоставить шанс и кому-то другому. Риарден не нуждается в нас; он и так крупная шишка. Нам следовало бы помочь мелким фирмам. А так мы попросту содействуем монополии.

– Джим, не надо нести чушь.

– Почему мы все и всегда заказываем у Риардена?

– Потому что так повелось.

– Генри Риарден мне не нравится.

– А мне нравится. Однако какая разница, нравится он нам или нет? Нам нужны рельсы, и только он может поставить их.

– Важно учитывать и человеческий фактор. А ты совсем не считаешься с ним.

– Джим, мы говорим о том, как спасти железную дорогу.

– Да-да, конечно-конечно, но ты абсолютно не учитываешь человеческий фактор.

– Нет. Не учитываю.

– Если мы дадим Риардену такой крупный заказ на стальные рельсы...

– Это будет не сталь, а риарден-металл.

Дагни всегда старалась строго контролировать свои эмоции, однако на этот раз ей это не удалось. Увидев выражение лица Таггерта, она расхохоталась.

Риарден-металлом назывался новый сплав, выпущенный Риарденом после десяти лет экспериментов. Он лишь недавно появился на рынке, однако не находил покупателей. Заказов на него не было.

Таггерт опешил от резкого перехода: смех вдруг сменился прежней интонацией в голосе Дагни – холодной и резкой:

– Не надо слов, Джим. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Никто еще не использовал этот сплав. На риарден-металл нет положительных отзывов. Им никто не интересуется. Он никому не нужен. Тем не менее, наши рельсы будут изготовлены из риарден-металла.

– Но... – проговорил Таггерт, – но... никто еще не использовал его!

Он отметил с удовлетворением, что гнев лишил ее дара речи. Ему вообще нравилось замечать проявления чужих эмоций: они красным фонариком освещали темное и неизведанное поле чужой личности, отмечая ранимые места. Однако как можно испытывать *такие* чувства по отношению к, извините за выражение, *металлическому сплаву*, было для него непостижимо; да, он сделал своего рода открытие, но воспользоваться им все равно не мог.

– Лучшие специалисты в области металлургии, – произнес он, – единодушно проявляют крайний скептицизм в отношении риарден-металла...

– Оставь это, Джим.

– Ну так на чье же мнение ты полагаешься?

– Чужие мнения меня не интересуют.

– И чем же ты руководишься?

– Суждением.

– И к чьему же суждению ты прислушиваешься?

– К своему собственному.

– Но с кем ты консультировалась по этому поводу?

– Ни с кем.

– Тогда скажи на милость, что вообще известно тебе о риарден-металле?

– То, что это величайшая находка нашего рынка.

– Почему?

– Потому что сплав этот прочнее и дешевле стали; кроме того, рельсы из него переживут век любого известного нам металла.

– Но кто может утверждать это?

– Джим, в колледже я изучала инженерное дело. И берусь утверждать это, потому что вижу стоящую вещь.

– И что же ты увидела?

– Состав сплава и результаты экспериментов, которые показал мне Риарден.

– Ну если бы этот сплав на что-то годился, его уже использовали бы, а это не так, – заметив нарастающую вспышку гнева, он нервным тоном поправился: – Откуда тебе может быть известно, что это хорошо? Откуда такая уверенность? Как ты можешь принять такое решение?

– Кому-то приходится брать на себя ответственность, Джим. Кому же, по-твоему?

– Но я не понимаю, почему мы должны оказаться здесь первыми. Я совершенно этого не понимаю.

– Так ты хочешь спасти ветку Рио-Норте или нет? – Таггерт не ответил. – Если бы дорога могла это позволить, я сняла бы вообще все рельсы и заменила их на риарден-металл. Все пути пора менять. Долго они не продержатся. Но это нам пока не по карману. Сперва нам необходимо выбраться из дыры. Ты хочешь этого или нет?

– Мы по-прежнему остаемся лучшей железной дорогой страны. Дела других компаний складываются много хуже.

– Значит, ты хочешь, чтобы мы оставались в дыре?

– Я не говорил этого! Почему ты всегда все упрощаешь? И если тебя так волнуют деньги, не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «Феникс-Дуранго» нагло отобрала у нас все перевозки по ней. Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента, способного воспользоваться нашими вложениями?

– Потому что «Феникс-Дуранго» – отличная компания, но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Потому что я рассчитываю победить «Феникс-Дуранго» – но только если это станет необходимо, потому что в Колорадо хватит места не только двум, но и трем железнодорожным компаниям. Потому что я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Эллиса Уайэтта.

– Меня тошнит от одного имени Эллиса Уайэтта.

Таггерту совсем не понравился взгляд Дагни.

– Я не вижу необходимости в немедленных действиях, – проговорил он обиженным тоном. – Например, почему ты считаешь настоящее положение «Таггерт Трансконтинентал» настолько уж тревожным?

– Из-за твоей политики, Джим.

– Какой политики?

– Во-первых этого тринадцатимесячного эксперимента с «Ассошиэйтед Стил». И во-вторых, твоей мексиканской катастрофы.

– Правление одобрило контракт с «Ассошиэйтед Стил», – торопливо проговорил он. – Правление проголосовало и за строительство линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой.

– Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию.

– Это ложь! – Он едва не кричал. – Это просто злобные сплетни! Опираясь на совершенно надежный внутренний источник, я готов...

– Не надо демонстрировать свой испуг, Джим, – презрительно бросила Дагни.

Он промолчал.

– Сейчас паниковать бесполезно, – сказала она. – Мы можем только попытаться смягчить удар. А он будет крепким. От потери сорока миллионов долларов легко не оправишься. Однако «Таггерт Трансконтинентал» пришлось выдержать в прошлом много ударов, и я позабочусь, чтобы наша компания выдержала и этот.

– Я отказываюсь, просто отказываюсь обсуждать саму возможность национализации линии Сан-Себастьян!

– Отлично. Значит, мы ее не обсуждаем.

Она молчала. И он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово.

– Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Эллису Уайэтту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны, которая никогда не получит такого шанса.

– Эллис Уайэтт никого не просил предоставить ему шанс. Потом, предоставлять шансы не мое дело. Я руковожу железной дорогой.

– На мой взгляд, это чрезвычайно узкая точка зрения. И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.

– Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги.

– Это негодная позиция. Эгоистичная жажда личной выгоды отошла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое...

- И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?
- Какого решения?
- Относительно заказа на риарден-металл.

Таггерт не отвечал. Он молча разглядывал сестру. Ей было трудно скрывать усталость, но гордую осанку подчеркивала прямая, четкая линия плеч, а плечи удерживало усилие воли, рожденное сознанием собственной правоты. Лицо ее нравилось немногим: оно было слишком холодным, а глаза чересчур внимательными и строгими; ничто и никогда не могло смягчить их взгляд. Точеные ноги раздражали Таггерта, поскольку никак не соответствовали столь неженственному образу.

Она молчала, и ему пришлось спросить:

- Ты сделала этот заказ, повинуясь минутному настроению, по телефону?
- Я приняла это решение полгода назад. И ждала, когда Хэнк Риарден запустит сплав в производство.

- Не зови Риардена Хэнком. Это вульгарно.
- Так все его называют. И не отклоняйся от темы.
- Почему тебе пришлось звонить ему по телефону вчера вечером?
- Нужно было поскорее договориться.
- Разве ты не могла подождать, пока не вернешься в Нью-Йорк, и тогда...
- Потому что я видела линию Рио-Норте.
- Ну мне необходимо время, чтобы подумать, поставить вопрос перед правлением, обратиться к лучшим...

- Времени нет.
- Ты не даешь мне возможности сосредоточиться, составить собственное мнение о...
- Твое мнение меня не интересует. Я не намерена спорить с тобой, твоим правлением или профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажешь «да» или «нет».

- Это совершенно нелепый, полный произвола и высокомерия способ ведения дел...
- Да или нет?
- Вечно с тобой одна и та же история. Тебе все хочется разделить на белое и черное.

Но мир устроен совсем не так. В нем нет ничего абсолютного.

- Кроме металлических рельсов. Или мы покупаем их, или нет.

Она ждала. Таггерт безмолвствовал.

- Ну? – спросила она.
- Ты берешь ответственность на себя?
- Беру.
- Тогда действуй, – проговорил он и поспешно добавил: – только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риарденом, но и не стану защищать его на заседании правления.
- Дело твое.

Дагни поднялась, чтобы уйти. Таггерт склонился над столом, явно не решаясь закончить встречу столь резко.

– Ты, конечно, понимаешь, что для проведения решения потребуется более продолжительная процедура, – сказал он, чуть ли не с надеждой в голосе. – Одним разговором со мной ты не отделаешься.

– О конечно, – проговорила она. – Я пришлю тебе подробный отчет, который подготовит Эдди и который ты читать не будешь. Эдди поможет тебе провести его по инстанциям. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риарденом. Нам с ним придется как следует потрудиться, – и добавила: – Все просто, Джим.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил снова, и слова его казались совершенно не относящимися к делу:

– Тебе все сходит с рук, потому что тебе везет. Другим это не удастся.

– Что не удастся?

– Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвящать всю свою жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло – чувств у тебя нет никаких. И никогда не было.

Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось спокойствием, а потом странным выражением, скорее напоминавшим усталость, если не считать того, что читалось в нем нечто большее, чем просто принятие истины настоящего момента.

– Да, Джим, – ответила она негромко, – действительно, чувств у меня нет и никогда не было.

Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Она вернулась, и он ощутил, что мир сделался ясным, простым и вполне приемлемым и что можно забыть о смятении и неопределенности. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни – женщина – занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Еще когда ему было десять лет, она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне.

Когда они оказались в ее кабинете, когда она села за стол и бросила взгляд на приготовленные им бумаги, Эдди почувствовал себя как в собственной машине: двигатель уже заработал, колеса готовы рвануться вперед.

Он уже собрался уйти, когда вспомнил, что не доложил об одном деле.

– Оуэн Келлог из Вокзального отдела просил принять его.

Она удивленно вскинула глаза.

– Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет. Он мне нужен...

– Эдди, – добавила она вдруг, – прежде чем я займусь делами, попроси, чтобы меня связали по телефону с Эйерсом из «*Эйерс Мьюзик Паблшинг Компани*».

– Музыкальным издательством? – с недоумением повторил он.

– Да. У меня есть к нему один вопрос.

Когда любезный голос мистера Эйерса осведомился о той услуге, которую может оказать ей, она спросила:

– Скажите мне, не написал ли Ричард Халлей новый, Пятый концерт для фортепьяно с оркестром?

– Пятый концерт, мисс Таггерт? Нет, конечно же, нет.

– Вы уверены в этом?

– Совершенно уверен, мисс Таггерт. Он не писал ничего уже восемь лет.

– Так, значит, он жив?

– Ну да... то есть я не могу гарантировать этого, он совершенно удалился от общества, но не сомневаюсь, о его смерти мы бы обязательно услышали.

– И если бы он что-нибудь написал, вы, конечно, узнали бы об этом?

– Конечно. Причем первыми. Мы публиковали все его произведения. Но он прекратил писать.

– Понимаю. Благодарю вас.

Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она правильно запомнила его внешность, – лицо его напоминало молодого кондуктора, это было лицо человека, с которым она была готова иметь дело.

– Садитесь, мистер Келлог, – предложила она, однако он остался стоять перед ее столом.

– Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт, – проговорил он, – поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня.

Она ожидала услышать что угодно, но только не это; после мгновенного замешательства она спросила:

- Почему?
- По личным причинам.
- Вы чем-то не удовлетворены?
- Нет.
- Вы получили лучшее предложение?
- Нет.
- На какую железную дорогу вы переходите?
- Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт.
- Тогда какую же работу вы подыскивали себе?
- Я еще не принял решения.

Дагни с некоторой неловкостью рассматривала его. На лице его не было никакой вражды; он смотрел ей в глаза, отвечал просто и прямо; говорил как человек, которому нечего скрывать или выдумывать; вежливое лицо было нейтральным.

- Тогда почему вы решили уволиться?
- Это мое личное дело.
- Вы заболели? У вас неприятности со здоровьем?
- Нет.
- Вы хотите покинуть город?
- Нет.
- Вам досталось наследство, которое позволяет вам отойти от дел?
- Нет.
- Вы намереваетесь продолжать зарабатывать на жизнь?
- Да.
- Но вы не хотите работать на «*Таггерт Трансконтинентал*»?
- Не хочу.
- В таком случае здесь должно было случиться нечто, определившее ваше решение.

Что именно?

- Ничего, мисс Таггерт.
- Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. У меня есть причины знать.
- Поверите ли вы мне на слово, мисс Таггерт?
- Да.
- Никакое лицо, дело или событие, связанное с моей работой у вас, не оказало никакого влияния на мое решение.
- Итак, у вас нет никаких претензий к «*Таггерт Трансконтинентал*»?
- Никаких.
- Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я.

- Простите, мисс Таггерт. Я не могу этого сделать.
- Может быть, я все-таки сделаю вам свое предложение?
- Да, если вам угодно.
- Поверите ли вы мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам некий пост еще до того, как вы попросили меня принять вас? Я хочу, чтобы вы знали это.
- Я всегда верю вам на слово, мисс Таггерт.
- Я хочу предложить вам место управляющего отделением Огайо нашей дороги. Если хотите, оно – ваше.

На лице Келлога не отразилось никакой реакции, слова эти, похоже, значили для него не больше, чем для дикаря, никогда не слыхавшего о железной дороге.

– Я не хочу этого места, мисс Таггерт, – просто ответил он.

Сделав паузу, она проговорила напряженным голосом:

– Назовите свои условия, Келлог. Скажите, сколько вы хотите получать, вы нужны мне.

Я могу дать вам больше, чем предложит любая другая железная дорога.

– Я не намереваюсь работать на железных дорогах.

– Мне казалось, вы любите свою работу.

За время этого разговора он впервые обнаружил какие-то признаки чувств: глаза его чуть расширились, и со странным тихим упорством в голосе он ответил:

– Люблю.

– Тогда скажите мне, чем я могу удержать вас? – слова эти прозвучали столь непосредственно и откровенно, что явно проняли его.

– Наверно, я поступил неправильно, явившись к вам с просьбой об увольнении, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы хотели услышать от меня причины моего решения, чтобы сделать мне контрпредложение. Поэтому мое появление здесь выглядит так, будто я готов к сделке. Но это не так. Я пришел к вам только потому что... потому что хотел сдержать свое слово.

Внезапная пауза, словно мгновение озарения, открыла Дагни, как много значили для Келлога ее интерес и просьба и что решение далось ему не просто.

– Послушайте, Келлог, неужели мне нечего предложить вам? – спросила она.

– Нечего, мисс Таггерт. Увы, ничего.

Он повернулся, чтобы уйти. И впервые в жизни Дагни ощутила свое поражение и беспомощность.

– Но почему? – спросила она, обращаясь в пространство.

Молодой человек остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил, и более странной улыбки ей еще не приходилось видеть: в ней было и тайное веселье, и сердечный надлом, и бесконечная горечь. Он ответил вопросом:

– А кто такой Джон Голт?

ГЛАВА II. ЦЕПЬ

Все началось с нескольких огоньков. Когда поезд линии «*Таггерт*» подъезжал к Филадельфии, в темноте появилась редкая россыпь ослепительных огней. Они казались бессмысленными на пустынной равнине, но были слишком яркими, чтобы не иметь значения. Пассажиры лениво, без особого интереса смотрели на них.

Затем появился черный силуэт строения, едва угадывавшийся на фоне неба, потом возле путей выросло высокое здание; в окнах его не было света, и отражения освещенных вагонов скользили по стеклам.

Встречный товарный поезд закрыл собой окна, заливая вагон торопливой кляксой шума. В промежутках между вагонами пассажиры могли разглядеть силуэты далеких зданий, вырисовывавшихся на красноватом горизонте. Багровое зарево неровно пульсировало, словно бы дома дышали.

Когда поезд промчался, пассажиры увидели угловатые здания, окутанные кольцами пара. Лучи нескольких сильных прожекторов нарезали кольца дольками. Пар был пурпурным, как и небо.

Далее появилось нечто, похожее, скорее, не на здание, а на оболочку из стеклянных шахматных клеток, охватывавшую балки, краны и фермы единой ослепительной полосой огня.

Пассажиры не могли осознать всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обнаруживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, похожие на скрученные небоскребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах виднелись раны, извергавшие огонь. Потом сквозь ночь поползла вереница багровых цилиндров; это горел раскаленный металл.

Возле путей появилось конторское здание. Крупное неоновое панно на его крыше освещало внутренности пролетающих мимо вагонов. Оно гласило: *РИАРДЕН СТИЛ*.

Один из пассажиров, профессор экономики, обратился к своему спутнику: «Какое значение имеет отдельная личность в титанических коллективных достижениях нашего индустриального века?»

Другой, журналист, уже вносил в свой блокнот заметку для будущей статьи: «Хэнк Риарден принадлежит к той разновидности людей, которые лепят свое имя на все, к чему прикасаются. Уже из этой фразы читатель может составить представление о характере Хэнка Риардена».

Поезд все спешил во тьму, когда за длинным зданием рванулся к небу язык красного пламени. Пассажиры не обратили на вспышку никакого внимания; новую плавку, разлив раскаленного металла никак нельзя было отнести к числу событий, которые их учили замечать.

Это была первая плавка риарден-металла, первый заказ на него.

Прорыв жидкого металла на волю казался подобием наступившего вдруг утра для людей, стоявших у жерла печи. Хлынувший раскаленный добела поток металла светился чистым, солнечным огнем. Облака черного пара, подсвеченного багрянцем, клубились над печью. Неровными вспышками рассыпались фонтаны искр, казавшихся каплями крови, вытекающей из разорванной артерии. Воздух был растерзан в клочья, он обдавал ярым пламенем, красные пятна кружили и рвались вон из пространства, словно не желая оставаться внутри созданной человеком конструкции, словно стремясь разрушить колонны, балки, мосты кранов над головой. Однако металл не обнаруживал никакой агрессивности. Длинная белая полоса напоминала атлас и празднично блестела. Она покорно текла из глиняного устья между двумя хрупкими берегами. А потом падала на двадцать футов вниз, в ковш, вмещавший две сотни тонн металла. Поток рассыпал звезды, выпрыгивавшие из его ровной глади и казавшиеся столь же ласковыми и невинными, как искры, брызжащие из детских бенгальских огней.

Только в самой близости становилось заметно, что белый атлас кипит. Время от времени из него вылетали брызги, падавшие на землю у желоба; жидкий металл, соприкасаясь с землей, остывал, вспыхивая огнем.

Две сотни тонн металла, более твердого, чем сталь, и ставшего жидким при температуре четыре тысячи градусов, могли разрушить любую стену здания, убить всех, кто работал возле потока. Однако каждый дюйм его пути, каждая молекула были покорны воле изобретателя.

Мечущийся под навесом красный свет выхватывал из темноты лицо человека, застывшего в дальнем углу. Прислонившись к колонне, он ждал. Яркая вспышка на мгновение бросила отблеск света в его глаза, цветом и видом напоминая голубой лед, потом на черное переплетение металла колонны и пепельные пряди его волос, потом на пояс спортивного плаща и карманы, в которых он держал руки. Высокий и стройный, он всегда превосходил ростом окружающих. Лицо его состояло из выступающих скул и нескольких резких морщин, оставленных, однако, не старостью. Так было всегда, и потому в молодости он казался старым, а сейчас, в сорок пять, молодым.

Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо – потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был Хэнк Риарден.

Металл поднимался к краю ковша и щедро переливался через край. Ослепительно-белые струйки быстро темнели, а еще через мгновение превращались в готовые отломиться черные металлические сосульки. Шлак застывал толстыми бурыми гребнями, похожими на земную кору. Корка толстела, в ней вскрывались редкие трещины, внутри все еще кипела расплавленная масса.

Высоко в воздухе проплыла кабина крана. Непринужденным движением руки крановщик двинул рычажок: подвешенные на цепи стальные крючья опустились вниз, подцепили ручки ковша, аккуратно, словно ведро с молоком, подняли две сотни тонн металла и понесли к ряду форм, ждавших, когда их наполнят.

Хэнк Риарден откинулся назад и закрыл глаза. Колонна за спиной его подрагивала в такт движениям крана. Работа окончена, подумал он.

Заметивший его рабочий одобрительно ухмыльнулся, как собрат и участник великого праздника, знавший, почему высокий белокурый человек должен был оказаться здесь в этот момент. Риарден улыбнулся в ответ и направился в свой кабинет, вновь превратившись в наделенного невыразительным лицом человека.

В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему хотелось пройтись – без особых на то причин.

Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из риарден-металла. Десять лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Десять лет, подумал он, долгий срок. Вдоль темной дороги выстроились деревья. Всякий раз, поглядев вверх, он замечал несколько листьев на фоне звездного неба; сухие и скрученные, они были готовы упасть на землю.

В окнах разбросанных по сельской местности домов светились огоньки, делавшие, как ни странно, дорогу еще более пустынной.

Риарден никогда не ощущал одиночества, кроме тех мгновений, когда бывал счастлив. Он оглядывался на багровое зарево, стоявшее над заводом. Он не думал о прошедших десяти годах. Сегодня от них осталось неясное послевкусие, которому он не мог дать имени или определения, но его чувства были умиротворенными и торжественными. Чувство это являло собой известную сумму, и ему не нужно было считать слагаемые, из которых она состояла. Это были ночи, проведенные возле пышущих жаром печей исследовательской лаборатории завода... ночи, проведенные в его домашнем кабинете над заполненными формулами листами бумаги,

разлетающимися в клочья после очередной неудачи... дни, когда молодые ученые, составлявшие тот небольшой штаб, который он избрал себе в помощь, истощив собственную изобретательность, ожидали от него инструкций, как солдаты, готовые к безнадежной битве, еще способные сопротивляться, но уже притихшие, будто в воздухе висел непронесенный приговор: мистер Риарден, этого сделать нельзя... трапезы, прерванные и забытые после очередного озарения, после мысли, которую следовало немедленно проверить, испробовать, положить в основание растянувшихся на месяцы и месяцы работ, а потом отвергнуть после очередной неудачи... мгновения, отнятые от конференций, от контрактов, от обязанностей директора лучшего сталелитейного завода страны, оторванные едва ли не с виноватой улыбкой, как от тайной любви... и единственная мысль, растянувшаяся на десять лет, пронизывавшая все, что он делал, все, что он видел, мысль, возникавшая в его уме всякий раз, когда он смотрел на городские дома, на колею железной дороги, на свет в окнах далекого сельского дома, на нож в руках красавицы, разрезавшей фрукты на банкете, мысль о сплаве металлов, который будет способен на то, что выходит за пределы возможностей стали, металле, который станет для стали тем, чем стала она сама для железа... мгновения самобичевания, когда он отвергал надежду или образец, не позволяя себе ощутить усталость, не давая себе времени на это, заставляя себя испытывать мучительную неудовлетворенность... продвижение вперед, не имевшее другого мотора, кроме уверенности в том, что это *можно* сделать... и, наконец, день, когда это *было* сделано, и результат его трудов получил название риарден-металла... Все это сейчас в белом огне плавилось и смешивалось в его душе, и сплав этот превращался в странное и спокойное ощущение, которое заставляло его улыбаться на этой темной загородной дороге и удивляться тому, что счастье может ранить.

Потом он понял, что прошлое представляется ему в виде разложенных перед ним дней, требующих просмотра. Он не хотел этого делать; он презирал воспоминания, видя в них бесцельное потворство собственным желаниям. И все же, решил он, сегодня прошлое раскрылось перед ним в честь того металлического изделия, что сейчас находится в его кармане. И он позволил себе погрузиться в воспоминания.

Риарден увидел себя на гребне скалы, вспомнил струйку пота, стекавшую с его виска на шею. Ему было тогда четырнадцать лет, шел первый день его работы на железном руднике в Миннесоте. Он пытался научиться преодолевать жгучую боль в груди и стоял, ругая себя, потому что заранее решил заставить себя не устать. Потом он вернулся к работе, потому что боль, на его взгляд, не была достаточной причиной, чтобы прекращать дело. Он увидел еще один день, когда стоял возле окна своего кабинета и смотрел на тот же рудник, который приобрел в тот самый день. Ему было тридцать лет. И неважно, чем занимался он в прошедшие годы, как ничего не значила и давняя боль. Продвигаясь к намеченной цели, он работал на рудниках, сталелитейных заводах, металлургических комбинатах севера страны. Об этих своих работах он помнил лишь то, что окружавшие его люди, похоже, никогда не знали, что делать, в то время как он всегда имел четкое представление обо всем. Он вспомнил, что всегда удивлялся тому, как много рудников вокруг закрывается, впрочем, собирались закрыть и приобретенный им рудник. Он посмотрел на высившиеся вдали скалы. Рабочие устанавливали над воротами в конце дороги новую вывеску: *Руда Риардена*.

Он увидел другой вечер и себя самого, сторбившегося над столом в том самом кабинете.

Было поздно, и служащие уже отправились по домам, так что он имел полную возможность расслабиться без свидетелей. Он устал. Казалось, что он состязался с собственным телом, и все утомление предшествующих лет, в котором он отказывался признать себе, разом обрушилось на него и придавило к креслу. Он не ощущал ничего, даже желания двигаться. Он не ощущал в себе сил ни на что – даже на страдание. Он выжег в себе все, что могло гореть; он, рассыпавший вокруг себя столько искр, затеяв новые дела, теперь гадал, найдется ли кто-нибудь, способный заронить в него самого ту искру, в которой он так отчаянно нуждался

именно в этот момент, когда он не ощущал в себе возможности шевельнуться. Он спросил себя: кто привел его в движение и не позволил остановиться? И тогда он поднял голову. Неторопливо, величайшим в своей жизни усилием он заставил себя разогнуться, сесть прямо, опустив руку на стол, поддерживая тело другой дрожащей ладонью.

Больше он не задавал себе этого вопроса. Он увидел новый день, когда стоял на холме, разглядывая унылый пейзаж, мрачную пустошь, заставленную зданиями, прежде представлявшими собой сталелитейный завод. Предприятие разорилось и было закрыто. Он купил его предыдущим вечером. Задувал сильный ветер, серый свет просачивался сквозь облака. И в этой серости красно-бурые пятна ржавчины на стали огромных кранов казались подобием запекшейся крови, а ярко-зеленые травы пиршеством каннибалов тянулись над горами битого стекла к пустым глазницам окон. У далеких ворот маячили черные силуэты людей. Это были безработные, обитавшие в гнилых лачугах, в которые превратился некогда процветавший городок.

Они стояли, безмолвно разглядывая сверкающую машину, которую он оставил у заводской проходной; они гадали, точно ли тот человек на холме является Хэнком Риарденом, о котором столько говорили вокруг, и верно ли, что завод будет снова открыт. «Исторический цикл производства стали в Пенсильвании катится под уклон, — настаивала газета, — и эксперты утверждают, что обращение Генри Риардена к производству стали не имеет перспектив. Скоро вы станете свидетелями сенсационного финала сенсационной деятельности Генри Риардена». Это было десять лет назад. И сегодняшний ветер, холодивший его лицо, ничем не отличался от ветра того дня. Он обернулся. Над заводом полыхало багровое зарево, такой же знак жизни, как восход солнца. На пути его были остановки, станции, которые миновал его экспресс. Он не мог сказать ничего определенного о тех годах, что разделяли их; годы слились воедино, в сплошное пятно.

Как бы то ни было, подумал он, все эти муки и напряжение оправдали себя, потому что позволили ему дожить до сего дня — дня первой промышленной плавки риарден-металла, первого заказа на этот сплав, которому суждено было стать рельсами для «*Таггерт Трансконтинентал*».

Он прикоснулся к лежавшему в кармане браслету, сделанному из первой партии металла. Браслет предназначался его жене. Коснувшись вещицы, он понял, что думает о некоей абстракции, именуемой женой, а не о женщине, на которой был женат.

Он почувствовал легкое недовольство тем, что распорядился сделать этот браслет, а затем укорил себя за подобное сожаление. Он покачал головой. Не время для старых сомнений. Он чувствовал, что способен простить все, что угодно и кому угодно, потому что счастье — источник благородства. Он не сомневался в том, что в эту ночь все вокруг желают ему добра. Ему хотелось встретить сейчас кого-нибудь, обратиться к первому незнакомцу, стать перед ним открытым и безоружным и сказать: «Посмотри на меня».

Люди, думал Риарден, в той же мере, как и я, изголодались по радости — по мгновению освобождения от серого гнета страдания, необъяснимого и напрасного. Он никогда не мог понять, почему люди должны быть несчастными.

Темная дорога незаметно поднялась на вершину холма. Он остановился и оглянулся. Красное зарево на западе превратилось в еле заметную узкую полоску. Над ней мелкими на таком расстоянии буквами на черном небе читался неоновый знак: *РИАРДЕН СТИЛ*. Он распрямился, как перед судом. Он вспомнил другие знаки, горевшие когда-то в ночи: *Риарден-Руда*, *Риарден-Уголь*, *Риарден-Известняк*. Он подумал о прожитых днях и о том, что неплохо бы зажечь над ними всеми неоновое табло со словами: *Риарден-Жизнь*.

Резко повернувшись, он направился вперед. По мере того как дорога приближалась к дому, он отметил, что шаги его как бы сами собой замедляются, что настроение делается менее приподнятым. Он ощущал смутное нежелание возвращаться домой, но не хотел испы-

тивать это чувство. Нет, подумал он, нет, не сегодня; в такой день они поймут. Однако он не знал, даже не задумывался над тем, что, собственно, должны они понять.

Приблизившись к дому, он заметил освещенные окна в гостиной. Дом стоял на пригорке, поднимавшемся перед Риарденом белой тушей; он казался голым, его в некоторой степени украшали лишь несколько колонн в псевдоколониальном стиле; и было видно, что наготу эту являть не стоило.

Риарден не был уверен в том, что жена заметила его появление в гостиной. Она сидела возле камина, сопровождая изящным движением руки плавное течение слов. Голос ее на мгновение стих, и Риарден подумал, что жена заметила его, однако, поскольку она не подняла глаз и речь потекла своим чередом, в этом оставались сомнения.

– ...дело в том, что культурному человеку скучны сомнительные чудеса чисто материальной изобретательности, – говорила она. – Он просто отказывается восхищаться водопроводными трубами.

Потом она повернула голову, посмотрела на Риардена, стоявшего на противоположной стороне длинной комнаты, и руки ее взмыли к потолку двумя лебедиными шеями.

– Дорогой мой, – бодрым тоном осведомилась она, – не рано ли ты явился домой? Неужели не нашлось слитка, который надо очистить, или формы, которую следует отполировать?

Все повернулись к Риардену: его мать, его брат Филипп и Пол Ларкин, старинный друг.

– Простите, – проговорил он. – Я понимаю, что опоздал.

– Нечего извиняться, – сказала его мать. – Мог бы и позвонить.

Он поглядел на нее, пытаясь что-то припомнить.

– Ты обещал быть сегодня дома к обеду.

– Ах да, действительно обещал. Но сегодня на заводе была плавка... – он смолк, не понимая, что мешает ему произнести ту единственную вещь, ради которой шел домой, и только добавил: – просто я... забыл.

– Именно это и хочет сказать мама, – проговорил Филипп.

– Ах, пусть он придет в себя, он еще не очнулся, он по-прежнему на своем заводе, – веселым голосом произнесла жена.

– Снимай пальто, Генри.

Пол Ларкин смотрел на него преданными глазами больной собаки.

– Привет, Пол, – сказал Риарден, – когда ты приехал?

– О, я подскочил на нью-йоркском, пять тридцать пять, – благодарный за внимание, Ларкин расплылся в улыбке.

– У тебя неприятности?

– А у кого их нет в наши дни? – улыбка Ларкина сделалась отстраненной, это должно было подчеркнуть, что реплика его имела исключительно философские основания. – Нет, на сей раз никаких особенных неприятностей. Я просто подумал, что неплохо бы заскочить и повидаться с вами.

Жена Риардена рассмеялась.

– Ты разочаровал его, Пол, – она повернулась к Риардену. – Что это, комплекс неполноценности или мания величия, Генри? Неужели ты думаешь, что никто не способен повидаться с тобой ради самого процесса, или же ты полагаешь, что без твоей помощи совершенно невозможно обойтись?

Риарден хотел ответить сердитым отрицанием, однако жена улыбалась ему так, словно бы только что произвела шуточный выпад; он не хотел вступать в подобного рода двусмысленные разговоры, а потому промолчал. Застыв на месте, он разглядывал жену, пытаясь, наконец, понять то, чего до сих пор так и не удосужился сделать.

Все считали Лилиан Риарден красавицей. Она была высокой и грациозной и выглядела особенно привлекательно в платьях с высокой талией, в стиле ампир, которые она привыкла носить. Ее благородный профиль будто сошел с камеи той же поры: чистые, гордые линии и блестящие светло-каштановые волны волос, причесанные с классической простотой, говорили о строгой царственной красоте. Однако когда она поворачивалась анфас, люди испытывали легкое разочарование.

Лицо ее нельзя было назвать прекрасным. Дефект крылся в глазах – блеклых, не серых и не карих, безжизненных и невыразительных. Риарден часто удивлялся тому, что при всей привычной внешней оживленности, радости в ее взоре не бывало никогда.

– Мы с тобой уже знакомы, дорогой, – ответила она на его испытующий взгляд, – хотя ты, кажется, в этом не уверен.

– Генри, ты хотя бы обедал? – спросила его мать укоризненным и полным нетерпения тоном, словно его голод являлся для нее личным оскорблением.

– Да... нет... я не был голоден.

– Тогда я позвоню, чтобы...

– Не надо, мама, потом, это неважно.

– Вечно с тобой одни неприятности. – Она не смотрела на него и говорила, обращаясь в пространство: – Незачем даже пытаться что-нибудь сделать для тебя, ты этого не оценишь. Я так и не сумела научить тебя правильно питаться.

– Генри, ты слишком много работаешь, – объявил Филипп. – Это вредно для здоровья.

Риарден рассмеялся:

– А мне нравится.

– Ты просто утешаешь себя этими словами. Видишь ли, на самом деле это нечто вроде невроза. Если человек с головой уходит в работу, значит, он пытается бежать от чего-то. Тебе надо завести хобби.

– Перестань, Фил, ради Христа, не надо! – бросил Риарден и тут же пожалел о прозвучавшем в его голосе раздражении.

Филипп не мог похвастаться крепким здоровьем, хотя врачи не обнаруживали особых дефектов в его долговязом, хилом теле. Ему было тридцать восемь лет, однако хроническая усталость по временам заставляла людей подозревать, что он старше своего брата.

– Тебе нужно научиться как-нибудь развлекаться, – продолжил Филипп, – иначе ты станешь скучным и неинтересным. Точнее, узколобым. Пора выбраться из личной скорлупки и посмотреть на мир. Если ты не изменишь образ жизни, настоящая жизнь пройдет мимо тебя.

Сопrotивляясь гневу, Риарден напомнил себе, что такова манера его брата заботиться о нем. Несправедливо чувствовать обиду на близких: они пытаются проявить беспокойство – жаль только, что довольно неприятным образом.

– Я сегодня провел время достаточно интересно, Фил, – улыбнулся Риарден, заметив, однако, с некоторой досадой, что Филипп даже спрашивать не стал, как именно.

Ему хотелось, чтобы кто-то из них задал ему этот вопрос. Ему трудно было облечь свои ощущения в слова. Поток текущего металла еще горел в его памяти, наполнял собой все сознание, не оставлял места ни для чего другого.

– Ты вполне мог бы и извиниться, только я извинений от тебя уже и не жду. – Голос принадлежал его матери.

Риарден повернулся: она смотрела на него беззащитным взором, свидетельствующим об оскорбленном терпении бесправного существа.

– К нам на обед приезжала миссис Бичэм, – сказала она с укоризной.

– Кто?

– Миссис Бичэм. Моя подруга, миссис Бичэм.

– И что же?

– Я рассказывала тебе о ней, рассказывала много раз, только ты не запоминаешь ничего из того, что я тебе говорю. Миссис Бичэм хотела повидаться с тобой, но ей пришлось уехать сразу после обеда, она не могла ждать. Миссис Бичэм – очень занятая особа. Она хотела столько рассказать тебе о той великолепной работе, которой мы заняты в нашей приходской школе, и о занятиях по слесарному делу, и о том, какие изумительные дверные ручки самостоятельно делают трущобные мальчишки.

Ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы заставить себя ответить ровным тоном:

– Прости, если я разочаровал тебя, мама.

– Тебя это нисколько не расстраивает. Если бы ты захотел, то мог бы вовремя оказаться дома. Но разве ты когда-нибудь старался для кого-нибудь, кроме самого себя? Тебя не интересуем ни мы сами, ни все, что мы делаем. Ты полагаешь, что раз оплачиваешь наши счета, то этого уже довольно, не правда ли? Деньги! Это все, что тебя интересует. И ты даешь нам только деньги. А время свое ты когда-нибудь уделял нам?

«Если слова эти свидетельствуют о том, что ей не хватает общения со мной, это говорит о привязанности ко мне, – подумал он, – а если так, то я не вправе позволять себе противиться тяжелому и смутному чувству, заставлявшему меня молчать, чтобы голосом не выдать то, что обычно называют досадой».

– Тебе все равно, – в ее голосе презрение смешивалось с просьбой. – Лилиан хотела обсудить с тобой очень важную проблему, но я сказала ей, что бесполезно рассчитывать на разговор с тобой.

– Ах, мама, это не важно! – сказала Лилиан. – Во всяком случае, для Генри.

Риарден повернулся к жене. Он все еще стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно запутавшись в мире нереальном, никак не желавшем становиться реальностью.

– Это совсем не важно, – повторила Лилиан бодрым тоном; он не понимал, чего больше в ее голосе – извинения или хвастовства. – Речь идет не о бизнесе. Мое дело не представляет собой никакого коммерческого интереса.

– Что ты имеешь в виду?

– Прием, который я намереваюсь устроить.

– Прием?

– Не пугайся, он состоится не завтра вечером. Понимаю, ты очень занят, но я хочу созвать гостей через три месяца по очень важному и совершенно особенному поводу, поэтому обещаю тебе, что в назначенный вечер окажешься дома, а не где-нибудь в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии!

Жена смотрела на него как-то по-особенному. Она говорила одновременно и слишком непринужденно, и излишне целеустремленно, невинность ее улыбки явно сочеталась с припрятанным в рукаве козырем.

– Ровно через три месяца? – переспросил он. – Но ты же знаешь, что какое-нибудь срочное дело всегда может увести меня из города.

– Ну, конечно, знаю! Но разве я не могу заранее договориться с тобой о встрече, как железнодорожный чин, хозяин автозавода или старьевщик... то есть сборщик металлолома? Они утверждают, что ты никогда не пропускаешь деловые встречи. Конечно, я могу предложить тебе выбрать самую удобную для тебя дату. – Она посмотрела на него снизу вверх исподлобья с ноткой кокетства и спросила, пожалуй, слишком непринужденно и чересчур острожно: – Я имею в виду десятое декабря, но, быть может, ты предпочтешь девятое или одиннадцатое?

– Мне все равно.

Она аккуратно напомнила:

– Десятое декабря – годовщина нашей свадьбы, Генри.

Все теперь вглядывались в его лицо. Но если они рассчитывали заметить на нем признаки вины, то увидели лишь слабую недоуменную улыбку. Лилиан не заманит его в ловушку, подумал он, поскольку из нее так легко ускользнуть, отказавшись признавать какую-либо вину в своей забывчивости и не согласившись на вечеринку; она понимала, что единственным ее оружием является его чувство к ней. Она хотела, решил он, косвенным образом и не теряя самолюбия, испытать его чувства и признаться в собственных. Прием он не считал праздничным, но Лилиан относилась к таким событиям иначе. С его точки зрения, подобное мероприятие ничего не значило; в ее глазах оно было высшим даром, который она могла принести и ему, и их браку. Следовало уважать желания жены, пусть даже образ ее мыслей и не отвечает его нормам, пусть даже он не уверен, нужны ли ему от нее какие-либо знаки внимания, она вправе получить то, что хочет. И Риарден улыбнулся, широко и открыто, признавая ее победу.

– Хорошо, Лилиан, – проговорил он негромко, – обещаю быть дома вечером десятого декабря.

– Спасибо тебе, дорогой. – В замкнутой улыбке ее таилось нечто загадочное, и Риарден удивился тому, что на мгновение ему показалось, будто ответ его разочаровал всех присутствующих.

«Если она доверяет мне, – думал он, – значит, ее чувство ко мне еще не умерло, и, следовательно, я не вправе обмануть эту веру». Он должен был произнести эти слова, ибо они, как линза, позволяли сфокусировать мысли, а других слов на сегодня у него просто не было.

– Прости меня за сегодняшнее опоздание, Лилиан, просто сегодня у нас на заводе была первая плавка риарден-металла.

После общей паузы Филипп произнес:

– Вот здорово.

Остальные промолчали.

Риарден опустил руку в карман. И когда он вновь прикоснулся к браслету, знакомое ощущение мгновенно вытеснило из его головы все на свете; он вновь почувствовал то самое, что и там, перед струей расплавленного металла.

– Я принес тебе подарок.

Роняя металлическую цепочку на колени Лилиан, он не знал, что держится нарочито прямо и что движение его руки повторяет жест крестоносца, вернувшегося с трофеями к любимой.

Лилиан Риарден подобрала вещицу, растянула ее между двумя пальцами и поднесла к свету. Тяжелые, грубой работы звенья отливали странным иссиня-зеленым блеском.

– Что это? – спросила она.

– Первая вещь, сделанная из риарден-металла первой плавки.

– Ты хочешь сказать, – проговорила она, – что цена ей такая же, как и куску железнодорожного рельса?

Риарден недоуменно посмотрел на нее.

Лилиан позвенела браслетом, блеснувшим на свету.

– А знаешь, Генри, чудесная мысль! Чудесная и оригинальная! Я стану сенсацией в Нью-Йорке, когда начну носить украшения, сделанные из того же материала, что балки мостов, моторы автомобилей, кухонные печи, пишущие машинки, и – как это ты сам говорил вчера, дорогой, – суповые кастрюльки?

– Боже, Генри, да ты просто зазнайка! – проговорил Филипп.

Лилиан рассмеялась:

– Он сентиментален. Как и всякий мужчина. Но, дорогой, я ценю твой подарок. Не сам дар, но намерение.

– Если ты спросишь меня, то я скажу, что намерение было самое эгоистичное, – сказала мать Риардена. – Другой мужчина, собравшись сделать жене подарок, принес бы брас-

лет с бриллиантами, который доставил бы удовольствие и ей, а не только ему самому. Однако Генри считает, что, раз уж он сделал новую разновидность жести, все вокруг должны ценить ее выше алмазов, просто потому что это *он* сделал ее. Таким он был с пяти лет – более самонадеянного ребенка я не встречала и, конечно, могла только предполагать, что из него вырастет самый эгоистичный мужчина на свете.

– Нет, это очень мило, – проговорила Лилиан, – просто очаровательно.

Она уронила браслет на стол, встала, опустила ладони на плечи Риардена и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку:

– Спасибо, дорогой.

Он не шевельнулся, не стал наклонять голову навстречу ласке. Чуть помедлив, он снял пальто и сел возле огня, в стороне от остальных. Риарден не ощущал ничего, кроме колоссальной усталости.

Он не прислушивался к их разговору, догадываясь, что там, вдалеке, Лилиан спорит с его матерью, защищая мужа.

– Я его лучше знаю, – возражала мать, – ни человек, ни зверь, ни растение не интересуют Хэнка Риардена, если только они каким-то образом не связаны с ним самим и его работой. Он способен думать только о ней. Я изо всех сил пыталась научить его некоторому смирению, пыталась всю свою жизнь, но мне не удалось этого сделать.

Риарден предлагал матери неограниченные средства, позволявшие жить где угодно и как заблагорассудится, и не понимал причин, по которым она настояла на совместном проживании с ним. Риарден предполагал, что его успех имел для нее какое-то значение и таким образом как-то связывал их, другой связи он не признавал; и если его мать захотела жить в доме преуспевающего сына, он не желал отказывать ей в этом праве.

– Мама, незачем делать из Генри святого, – проговорил Филипп. – Он не предназначен для этой роли.

– Ах, Филипп, ты ошибаешься! – отозвалась Лилиан. – Ты невероятно ошибаешься! У Генри есть все задатки святого. В этом-то и беда.

«Чего им нужно от меня? – думал Риарден. – Чего они добиваются?» Он никогда и ничего не просил ни у кого из них; это они стремились владеть им, это они предъявляли ему постоянные претензии, причем претензии эти имели облик привязанности, которую, впрочем, ему было труднее переносить, чем любую разновидность ненависти. Риарден презирал беспричинное сочувствие в такой же мере, в какой презирал незаслуженное богатство. По какой-то неведомой причине эти люди взялись любить его, не желая при этом знать, за что ему хотелось быть любимым. Интересно было бы знать, какого рода реакции с его стороны намеревались они добиться подобным путем, если, конечно, им вообще нужна была его реакция.

«А ведь она нужна им, – подумал Риарден, – даже любопытна; зачем иначе эти постоянные жалобы, непрекращающиеся обвинения в безразличии? Откуда эта хроническая подозрительность, словно им *хочется* почувствовать себя задетыми?» У него никогда не было желания сделать кому-нибудь из них больно, однако он всегда ощущал в них эту боязливую укоризну; их, похоже, ранило каждое его слово, и дело было не в его словах или действиях; получалось... да, получалось так, что их ранил уже сам факт его существования. «Не надо придумывать всякую чушь», – резко осадил он себя, пытаясь применить к решению этой загадки самые строгие критерии своего беспощадного чувства справедливости. Не поняв своих родственников, он не имел права судить их; а понять их он не мог.

Нравятся ли они ему? Нет, подумал Риарден; их надо *полюбить*, что не совсем одно и то же. Риарден хотел этого во имя некоего несформулированного потенциала, который когда-то пытался обнаружить в каждом человеческом существе. Теперь он ничего не ощущал по отношению к этим людям, ничего, кроме безжалостного нуля, безразличия... он даже не сожалел о потере. Нуждался ли он в том, чтобы какой-нибудь человек вошел как неотъем-

лемая часть в его собственную жизнь? Ощущал ли нехватку желанного чувства? Нет, подумал он. Тосковал ли по нему? Да, решил он, в годы юности; но не теперь.

Утомление нарастало. Риарден понял, что причиной его была скука.

Однако ее следовало скрывать, он обязан проявлять любезность по отношению к этим людям, подумал сидевший в неудобной позе Риарден, преодолевая желание уснуть, уже превращавшееся в физическую боль.

Глаза его уже закрывались, когда он ощутил на своей руке прикосновение двух мягких липких пальцев. Пол Ларкин придвинул к нему свое кресло и уже склонялся для приватного разговора:

– Хэнк, мне безразлично, что говорят на эту тему в отрасли, но риарден-металл – великая вещь, великая, и она принесет тебе состояние, как и все, к чему ты прикасаешься.

– Да, – согласился Риарден, – принесет.

– Просто... просто я надеюсь, что ты не попадешь с ним в беду.

– Какую беду?

– Ах, ну не знаю... просто сейчас... есть люди, которые... как бы это сказать... все может случиться...

– Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, молящие, ласковые глаза смотрели снизу вверх. Его короткое полное тело всегда казалось незащищенным и незавершенным, он словно бы нуждался в раковине, в которую можно было нырнуть при первом прикосновении неизвестной опасности. Тоскливые глаза, потерянная, беспомощная, просительная улыбка служили заменой этой раковине. Улыбка обезоруживала, она годилась разве что мальчишке, отдающемуся на милость непостижимой вселенной. Ларкину было пятьдесят три года.

– У тебя нет хорошей рекламы, Хэнк, – сказал он, – пресса всегда не жаловала тебя.

– Ну и что?

– Ты не популярен, Хэнк.

– Ни разу не слышал, чтобы мои заказчики были чем-то недовольны.

– Я не о том. Тебе нужно нанять хорошего пиарщика, чтобы он продавал тебя публике.

– Зачем? Я торгую сталью.

– Но ты же не хочешь, чтобы публика была настроена против тебя. Общественное мнение, знаешь ли, вещь ценная.

– Не думаю, чтобы общество было настроено против меня. И еще я считаю, что любят меня или нет, не имеет никакого значения.

– Газеты настроены против тебя.

– У них есть свободное время. У меня его нет.

– Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

– Что?

– То, что они пишут о тебе.

– И что же они пишут обо мне?

– Ну ты сам это знаешь. Что ты упрям. Что ты безжалостен. Что ты никому не позволяешь разделить с тобой участие в управлении своими заводами. Что единственная твоя цель – делать сталь и вместе с ней деньги.

– Но это и есть моя единственная цель.

– Ты не должен этого говорить.

– Почему же? И что должен я говорить?

– Ну не знаю... но твои заводы...

– Они ведь мои, не правда ли?

– Да, но... но ты не должен слишком громко напоминать об этом людям... Ты знаешь, как сейчас с этим... Они считают твою позицию антиобщественной.

– Их мнение мне абсолютно безразлично.

Пол Ларкин вздохнул.

– В чем дело, Пол? На что ты намекаешь?

– Ни на что... ни на что, в частности. Только в наше время никто не может сказать заранее, что может случиться... Приходится быть осторожным...

Риарден усмехнулся:

– Не пытаешься ли ты *позаботиться* обо мне, а?

– Просто я твой друг, Хэнк. Я тебе друг. И ты знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Пол Ларкин всегда был неудачником. Все, что он начинал, складывалось посредственным образом, не приводя ни к полному провалу, ни к успешному завершению. Он был бизнесменом, однако никак не мог надолго закрепиться в какой-нибудь отрасли. В настоящее время он пытался удержаться на плаву вместе со скромным заводом, производившим оборудование для рудников.

Пребывая в трепетном восхищении перед Риарденом, человек этот лип к нему многие годы. Он приходил за советом, иногда – не часто – просил займы; суммы были умеренными, и он всегда возвращал их, хотя и не всегда в срок. Похоже, что на подобную дружбу его подвигала присущая анемичной персоне потребность впитывать жизненные силы из непосредственного контакта с человеком, ими переполненного.

Наблюдая за деятельностью Ларкина, Риарден невольно вспоминал муравья, изнемогающего под тяжестью хвоинки. То, что трудно ему, не требует от меня никакого усилия, думал Риарден, наделяя друга советом, а также – при возможности – тактичным и терпеливым вниманием.

– Я твой друг, Хэнк.

Риарден вопросительно посмотрел на гостя.

Ларкин отвернулся, как бы что-то обдумывая, и после некоторой паузы осторожно спросил:

– А как дела у твоего человека в Вашингтоне?

– Нормально, надеюсь.

– В этом следует быть уверенным. Это важно. – Он посмотрел на Риардена и повторил с подчеркнутой настойчивостью, как бы исполняя трудный моральный долг: – Хэнк, это очень важно.

– Полагаю, что так.

– На самом деле, я приехал сюда, чтобы сказать тебе именно это.

– По какой-то конкретной причине?

Подумав, Ларкин решил, что выполнил свой долг:

– Нет.

Тема эта была неприятна Риардену. Он понимал, что следует иметь человека, который будет защищать его интересы в законодательных органах; все предприниматели располагали подобными людьми. Однако сам он никогда не уделял особого внимания этой стороне своего дела и никогда не мог убедить себя в том, что она действительно необходима.

Всякий раз, когда он пытался задуматься над тем, что некто за деньги должен лоббировать интересы компании в верхах, его останавливало некое отвращение, состоявшее из смеси скуки и брезгливости.

– К сожалению, Пол, – принялся он рассуждать вслух, – к этому делу приходится привлекать совершенно никчемных людей.

Отвернувшись в сторону, Ларкин произнес:

– Такова жизнь.

– И черт меня побери, если я понимаю причину. Ты способен назвать ее мне? *Что* в мире идет не так?

Ларкин скорбно пожал плечами:

– Зачем задавать бесполезные вопросы? Насколько глубок океан? Как высоко небо? И кто такой Джон Голт?

Риарден распрямился в кресле.

– Нет, – произнес он отрывисто. – Нет. Нельзя позволять себе подобные настроения.

Риарден встал. Утомление оставило его, едва речь зашла о деле. Он ощутил бунтарский порыв, потребность вернуть и заново утвердить свой собственный взгляд на бытие, смысл которого он так остро ощущал сегодня по дороге домой и которому ныне угрожало что-то безымянное.

Чувствуя возвращение энергии, Риарден зашагал по комнате. Он посмотрел на своих родных: бестолковые и несчастные дети, все, в том числе и его матушка; глупо обижаться на их недомыслие; оно является следствием беспомощности, а не злого умысла. И именно ему следует научиться понимать их – он может передать им свою радостную и беспредельную силу, которую они не в состоянии ощутить.

Он посмотрел на противоположную сторону комнаты. Его мать увлеченно разговаривала о чем-то с Филиппом; однако он отметил, что увлеченность эту нельзя было назвать подлинной, оба они были взволнованы. Филипп сидел в низком кресле – живот выступил вперед, спина сгорблена, – словно бы наказывая всех окружающих жалким неудобством своей позы.

– Что с тобой случилось, Фил? – спросил Риарден, подходя к брату. – Выглядишь усталым.

– Тяжелый выдался день, – ответил Филипп угрюмо.

– Не один ты на свете работаешь, – вступила в разговор мать. – У других тоже есть свои проблемы, пусть и не такие, как у тебя: транс-, суперконтинентальные и на миллион долларов.

– Ну это хорошо. Я всегда полагал, что Фил должен найти себе интересное дело.

– Хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе приятно видеть твоего брата надрывающимся на работе до потери пульса? Тебе это приятно, не так ли? Я всегда так считала.

– Ну что ты, мама. Я рад помочь.

– Тебе не придется помогать. Ты не обязан сочувствовать кому-нибудь из нас.

Риарден не знал, чем занимается или хочет заниматься его брат. Он посылал Филиппа в колледж, однако тот так и не сумел остановиться на какой-либо конкретной сфере деятельности. С точки зрения Риардена, если мужчина не стремится к прибыльной работе, то с ним что-то не так, однако он не чувствовал себя вправе внушать свои принципы Филиппу; он мог содержать своего брата, не замечая расходов. Пусть себе живет, считал Риарден, пусть получит шанс начать собственную карьеру, не борясь за существование.

– И чем же ты сегодня занимался, Фил? – спросил Риарден терпеливо.

– Это не интересует тебя.

– Я хочу знать и поэтому спрашиваю.

– Мне пришлось встретиться с двадцатью людьми по всему городу, от Реддинга до Уилмингтона.

– И зачем они тебе понадобились?

– Я пытаюсь собрать деньги для *«Друзей Глобального Прогресса»*.

Риарден никогда не мог упомянуть те многочисленные организации, с которыми связывался Филипп, или получить ясное представление об их деятельности. В последние несколько месяцев Филипп время от времени упоминал о неких *«Друзьях Прогресса»*. Братство это как будто бы занималось бесплатными лекциями по психологии, народной музыке и сельскохозяйственной кооперации. Риарден питал пренебрежение к подобного рода группам и не видел причин для более внимательного изучения их природы.

Он молчал. И Филипп добавил без приглашения с его стороны:

– Нам нужно собрать десять тысяч долларов для осуществления жизненно важной программы. Сбирать деньги – это муки мученические. В людях не осталось даже искорки общественного самосознания. И когда я вспоминаю тех раздувшихся денежных мешков, которых видел сегодня... на прихоти свои они тратят куда больше, однако я не сумел выжать ни из кого и сотни баксов, хотя больше не просил. У них не осталось чувства морали и долга... Чему ты смеешься?

Риарден стоял перед ним, ухмыляясь.

«Детская наивность, – подумал Риарден, – беспомощная и грубая работа: сразу и оскорбление, и намек. Филиппа нетрудно было бы раздавить, ответив на оскорбление оскорблением, которое будет смертоносным уже потому, что оно справедливо, – но произнести его невозможно. Бедный дуралей, конечно, понимает, что отдался на мою милость, понимает, что может получить суровый отпор, поэтому мне незачем оскорблять его, но, поступив иначе, я дам лучший ответ, который он не сумеет не оценить. В какой же нищете живет на самом деле Филипп, что она настолько исковеркала его?»

И тогда Риарден вдруг подумал, что может разом разрушить хроническое неудовольствие Филиппа, одарить его неожиданной радостью, исполнением безнадежного желания. Он думал: «Какая мне разница, чего именно он хочет? Желание принадлежит ему, как риарден-металл мне... и оно должно означать для него то же, что мой металл для меня... пусть хоть раз побудет счастливым, это чему –нибудь да научит его... разве не я говорил, что счастье делает благородным?.. Сегодня у меня праздник, пусть получит в нем свою долю – такую весомую для него и такую малую для меня».

– Филипп, – проговорил он с улыбкой, – завтра утром зайди ко мне в кабинет, к мисс Айвс. Она передаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп смотрел на него ничего не выражающими глазами, в которых не было ни потрясения, ни удовольствия, только одна остекленевшая пустота.

– О, – проговорил Филипп, а потом добавил: – Мы весьма ценим твой жест.

В голосе его не было никакого чувства, даже простейшей жадности.

Риарден не мог разобраться в собственных переживаниях: внутри него словно бы обрушивалась какая-то свинцовая пустота, он ощущал и этот вес, и этот вакуум. Он понимал, что испытывает разочарование, однако не знал, почему оно сделалось настолько серым и уродливым.

– Очень мило с твоей стороны, Генри, – сухо поблагодарил Филипп. – Я удивлен. Вот уж не ожидал от тебя.

– Разве ты ничего не понял, Фил? – произнесла Лилиан особенно чистым и певучим голосом. – Сегодня у Генри прошла плавка его металла.

Она повернулась к Риардену:

– Объявим этот день национальным праздником, дорогой?

– Ты – хороший человек, Генри, – проговорила его мать и добавила: – однако бываешь им не слишком часто.

Риарден стоял и смотрел на Филиппа, словно бы выжидая.

Филипп посмотрел в сторону, а потом взглянул Риардену прямо в глаза, отвечая на вызов.

– Тебе действительно интересно помогать неимущим? – спросил Филипп, и Риарден, не веря своим ушам, услышал в его голосе укоризну.

– Нет, Фил, они мне совершенно безразличны. Я просто хотел порадовать тебя.

– Но деньги предназначаются не мне. Я собираю их не по личным мотивам. В этом деле я не преследую ничего корыстного. – В холодном голосе его пела нотка горделивой добродетели.

Риарден отвернулся. Он ощутил внезапное отвращение: не потому что слова брата были полны ханжества, но потому, что тот говорил правду и сказал именно то, что думал.

– Кстати, Генри, – добавил Филипп, – можно я попрошу, чтобы мисс Айвз выдала мне эту сумму наличными?

Озадаченный Риарден повернулся к нему.

– Видишь ли, *«Друзья Глобального Прогресса»* – группа весьма прогрессивная, и они всегда видели в тебе самого черного ретрограда во всей стране; их смутит твое имя в наших подписных листах, потому что тогда нас могут обвинить, что мы находимся на содержании Хэнка Риардена.

Ему захотелось дать Филиппу пощечину. Однако почти непереносимое презрение заставило вместо этого зажмурить глаза.

– Хорошо, – сказал он негромко, – ты получишь деньги наличными.

Отойдя в дальний угол комнаты, к окну, он застыл возле него, вглядываясь в далекое зарево над заводом.

Ларкин простонал, обращаясь к нему:

– Черт побери, Хэнк, зачем ты даешь ему эти деньги?

Холодный и веселый голос Лилиан пропел возле него:

– Ты ошибаешься, Пол, как же ты ошибаешься! Что бы случилось с тщеславием Генри, если бы нас не было рядом, если бы вдруг оказалось, что некому швырнуть подаяние? Что стало бы с его силой, если бы рядом не оказалось слабых, над которыми можно властвовать? И что произойдет с ним самим, если не окажется рядом нас, зависящих от него? Это вполне справедливо, я не осуждаю его, такова человеческая природа.

Подобрав браслет, она подняла его – металл блеснул в свете люстры.

– Цепь, – проговорила она. – Как точно, не правда ли? Это и есть та самая цепь, которой он привязывает всех нас к себе.

ГЛАВА III. ВЕРХ И НИЗ

Потолок здесь был, как в погребе, такой тяжелый и низкий, что, пересекая комнату, люди пригибались, словно перекрытия лежали на их плечах. В каменных стенах, будто бы изъеденных веками и сыростью, были выдолблены округлые кабинки, обтянутые красной кожей. Окон не было, и из прорех в кладке сочился мертвенный синий свет, каким пользуются при затемнении. Сюда входили по сбегаящим вниз узким ступенькам, словно бы спускаясь под землю. Так выглядел самый дорогой бар Нью-Йорка, устроенный на крыше небоскреба.

За столиком сидело четверо мужчин. Вознесенные на шестьдесят этажей над городом, они говорили, но не громовыми голосами, которым подобает вещать из поднебесья; голоса их оставались приглушенными, как в каком-нибудь настоящем погребе.

– Условия и обстоятельства, Джим, – произнес Оррен Бойль, – условия и обстоятельства находятся вне всякого контроля со стороны человека. Мы сделали все, чтобы поставить эти рельсы, однако помешали непредвиденные обстоятельства, которых никто не мог ожидать. Если бы только, Джим, ты предоставил нам такую возможность...

– На мой взгляд, истинной причиной всех социальных проблем, – неторопливо проговорил Джеймс Таггерт, – является отсутствие единства. Моя сестрица пользуется известным авторитетом среди части наших акционеров. И мне не всегда удастся противостоять их подрывной тактике.

– Ты правильно сказал, Джим. Именно в отсутствии единства заключается наша беда. Я абсолютно уверен, что в современном сложном промышленном обществе ни одно деловое предприятие не способно преуспеть, не приняв на себя часть проблем других производств.

Таггерт отхлебнул из бокала и отставил его:

– Им надо уволить бармена.

– Возьмем, для примера, *«Ассошиэйтед Стил»*. Мы располагаем самым современным оборудованием в стране и лучшей организацией производства. С моей точки зрения, факт этот следует назвать неоспоримым, поскольку именно мы в прошлом году получили премию журнала *«Глоб»* за промышленную эффективность. И поэтому мы считаем, что сделали все возможное, и никто не вправе критиковать нас. Но что делать нам, если ситуация с железной рудой превратилась в общенациональную проблему. Мы не сумели найти руду, Джим.

Таггерт молчал. Он сидел, чуть наклонившись вперед, широко уложив оба локтя на крышку маленького стола и стесняя тем самым троих своих собеседников, однако те не оспаривали привилегию железнодорожного босса.

– Теперь никто не в состоянии отыскать руду, – говорил Бойль. – Естественное истощение залежей, износ оборудования, нехватка материалов, трудности с перевозкой и прочие неизбежные сложности.

– Горнорудная промышленность рушится. И при этом губит мой бизнес, поставку оборудования для рудников, – заявил Пол Ларкин.

– Доказано, что каждый бизнес зависит от всех прочих, – изрек Оррен Бойль. – Поэтому всем нам приходится нести часть чужого бремени.

– Святая истина, – поддакнул Уэсли Моуч. Однако на него, как всегда, никто не обратил никакого внимания.

– Моя цель, – продолжил Оррен Бойль, – заключается в сохранении свободной экономики. Принято считать, что в наше время она подвергается испытанию. Если она не докажет своей социальной ценности и не примет на себя обязанностей перед обществом, люди не станут ее поддерживать. Если она не заручится поддержкой в народе, с ней будет покончено, не ошайбаетесь на этот счет.

Оррен Бойль возник из ниоткуда пять лет назад, и с тех пор имя его не сходило с обложек всех журналов страны. Он начал с собственного капитала в сто тысяч долларов и правительственного займа в две сотни миллионов. В данный момент он возглавлял колоссальный концерн, поглотивший множество более мелких компаний. Этот факт, как он любил говорить, доказывал, что одаренная личность пока еще может преуспеть в этом мире.

– Единственным оправданием частной собственности, – проговорил Оррен Бойль, – является служба общественным интересам.

– В этом, на мой взгляд, нельзя усомниться, – сказал Уэсли Моуч.

Оррен Бойль звучно глотнул. Этот крупный мужчина наполнял все вокруг себя шумными, по-мужски широкими жестами; он производил впечатление человека, переполненного жизнью, если не смотреть в узкие черные щелочки глаз.

– Джим, – проговорил он, – риарден-металл – это просто колоссальная афера.

– Угу, – буркнул Таггерт.

– Я еще не слышал положительного отзыва о нем ни от одного эксперта.

– Да, ни от одного.

– Мы совершенствовали стальные рельсы не одно поколение, увеличивая при этом их вес. Верно ли, что рельсы из риарден-металла оказываются более легкими, чем изготовленные из самой дешевой стали?

– Верно, – кивнул Таггерт. – Легче.

– Но это же вздор, Джим. Это невозможно физически. Для твоей загруженной скоростной главной колеи?

– Именно так.

– Ты накликаешь на себя несчастье.

– Не я, а моя сестра.

Таггерт неторопливо покрутил между пальцами ножку бокала.

Все примолкли.

– Национальный совет металлургической промышленности, – сказал Оррен Бойль, – принял резолюцию, требующую назначить комиссию для расследования вопроса о риарден-металле, поскольку применение его может представлять собой угрозу для общества.

– С моей точки зрения, это чрезвычайно разумно, – сказал Уэсли Моуч.

– Если согласны все, – голос Таггерта вдруг сделался пронзительным, – если люди единодушны в своем мнении, как может возражать им один-единственный человек? По какому праву? Вот что хочу я знать: по какому праву?

Взгляд Бойля был устремлен прямо на Таггерта, однако в неярком свете черты его расплывались... он увидел только бледное, слегка голубоватое пятно.

– Когда мы думаем о природных ресурсах во времена их критической нехватки, – негромко промолвил Бойль, – когда мы думаем о том, что основное сырье расходуется на безответственные эксперименты частного предпринимателя, когда мы думаем о руде...

Не договорив, он вновь посмотрел на Таггерта. Однако тот явно понимал, что Бойль передает ему слово, и находил удовольствие в молчании.

– Общество, Джим, обладает правом решающего голоса, когда речь идет о природных ресурсах, таких как железная руда. Общество не может оставаться безразличным к неосмотрительной и эгоистичной трате сырья антиобщественным типом. В конце концов, частная собственность представляет собой всего лишь общественное попечение над производством, предпринимаемое ради блага всего общества.

Таггерт посмотрел на Бойля и улыбнулся; улыбка его как бы говорила, что мнение его в известной мере совпадает со словами собеседника:

– Здесь подают помой вместо коктейля. На мой взгляд, такую цену нам приходится платить за отсутствие здесь толпы, всякого сброда. Но мне хотелось бы дать им понять, что они

имеют дело со знатоками. Поскольку завязки моего кошелька находятся в моих руках, я полагаю, что могу тратить свои деньги по собственному усмотрению.

Бойль не ответил; лицо его сделалось угрюмым.

– Послушай, Джим... – начал было он.

Таггерт улыбнулся:

– Что? Я слушаю тебя.

– Джим, конечно, ты согласишься с тем, что нет ничего губительнее монополии.

– Это так, – произнес Таггерт, – с одной стороны. Но с другой – ничем не ограниченная конкуренция не менее опасна.

– Верно. Совершенно верно. Правильный курс, по моему мнению, всегда пролегает посередине между двумя крайностями. И поэтому, на мой взгляд, общество обязано обрезать крайности, не правда ли?

– Это так, – сказал Таггерт, – согласен.

– Рассмотрим состояние дел в железорудной промышленности. Общевазовая национальная добыча руды сокращается с непристойной быстротой, что угрожает самому существованию сталеплавильной промышленности. По всей стране закрываются сталелитейные заводы. И только одной горнодобывающей компании везет, только она одна не поражена общим кризисом. Ее продукция продается повсюду и всегда поставляется в соответствии с условиями договора. И кому это выгодно? Никому – кроме ее владельца. Честно это, по-твоему?

– Нет, – согласился Таггерт, – это нечестно.

– У основной доли производителей стали нет собственных рудников. И как мы можем конкурировать с человеком, который сумел отхватить внушительную долю созданных Богом природных ресурсов? Разве удивительно, что он всегда поставляет свою сталь, в то время как нам приходится бороться, ждать, терять клиентов, бросать свое дело? Разве интересы общества позволяют одному человеку губить целую отрасль?

– Нет, – согласился Таггерт, – не позволяют.

– Мне кажется, целью национальной политики должно быть предоставление каждому равных возможностей и собственной доли железной руды, что привело бы к сохранению всей отрасли в целом. Как ты считаешь?

– Я согласен с тобой.

Бойль вздохнул. А потом осторожно сказал:

– Но как мне кажется, в Вашингтоне не найдется достаточного количества людей, способных понять прогрессивные тенденции в общественной политике.

Таггерт неторопливо проговорил:

– Такие люди есть. Конечно, их немного, и не так уж легко к ним пробиться, однако они есть. Я могу поговорить с ними.

Взяв свой бокал, Бойль опорожнил его одним глотком, словно уже услышал то, что хотел бы услышать.

– Кстати, о прогрессивной политике, Оррен, – заметил Таггерт, – не задашься ли ты следующим вопросом: в интересах ли общества во время транспортных перебоев, когда одна за одной лопаются железные дороги и целые области остаются без железнодорожного сообщения, самым расточительным образом дублировать линии и затевать разрушительную – кто кого съест – конкуренцию в тех районах, где старые компании обладают историческим приоритетом?

– Ну вот, – бодрым тоном проговорил Бойль, – какой интересный вопрос ты поднял. Придется обсудить его с моими друзьями из Национального железнодорожного альянса.

– Дружба, – произнес Таггерт как бы в порядке праздной абстракции, – ценнее золота.

И он неожиданно повернулся к Ларкину:

– А ты как считаешь, Пол?

– Ну... да, – несколько удивленный тем, что к нему вообще обратились, согласился тот. – Да, конечно.

– Я рассчитываю на твою дружбу.

– Гм?

– Я рассчитываю и на твоих многочисленных друзей.

Все они, похоже, знали, почему Ларкин не ответил сразу; плечи его поникли, опустились к столу.

– Если все выступают за общую цель, тогда никто не пострадает! – вдруг воскликнул он голосом, полным совершенно неуместного в данной ситуации отчаяния и, поймав на себе взгляд Таггерта, с мольбой добавил: – Мне бы не хотелось причинить кому-нибудь вред.

– Это антиобщественная позиция, – с расстановкой произнес Таггерт. – Тот, кто боится принести в жертву другого человека, не имеет права говорить об общей цели.

– Но я изучаю историю, – торопливо произнес Ларкин. – И признаю историческую необходимость.

– Хорошо, – сказал Таггерт.

– Я же не могу сопротивляться общемировой тенденции, не так ли? – Ларкин словно просил, обращая свою просьбу неведомо к кому. – Не могу ведь?

– Не можете, мистер Ларкин, – проговорил Уэсли Моуч. – И нас с вами не будут винить, если мы...

Ларкин резко вздрогнул, его как током ударило; он просто не мог смотреть на Моуча.

– Кажется, ты неплохо провел время в Мексике, Оррен? – спросил Таггерт голосом, вдруг ставшим громким и непринужденным. Все понимали, что цель собрания достигнута: то, ради чего они здесь собрались, исчерпано.

– Чудесный край, эта Мексика, – бодрым тоном ответил Бойль. – Бодрит, рождает мысли. Правда, кормят ужасно. Я даже заболел. Но они изо всех сил стараются поставить страну на ноги.

– И как там идут дела?

– Великолепно, на мой взгляд, просто великолепно. Правда, в настоящий момент они... тем не менее мы ведем дела с прицелом на будущее. У Мексиканской Народной Республики огромное будущее. Через несколько лет они перегонят нас.

– А ты был на рудниках Сан-Себастьян?

Все четверо за столом выпрямились и напряглись; все они вложили немалые средства в эти рудники.

Бойль ответил не сразу, и потому голос его прозвучал неожиданно и неестественно громко:

– Ну конечно, именно этого я и хотел в первую очередь.

– Ну и?

– Что «ну и»?

– Как там идут дела?

– Отлично. Великолепно. Внутри этой горы, должно быть, спрятаны самые большие залежи меди на Земле!

– А как там насчет деловой активности?

– Никогда в жизни не видел большей.

– И чем же они там заняты с такой активностью?

– Ну, знаете ли, тамошний латинос-управляющий говорил на таком жутком английском, что я не понял и половины. Но работают они много, это точно.

– Э... какие-нибудь неприятности?

– Неприятности? Только не в Сан-Себастьяне. Это частная компания, последняя во всей Мексике, в этом и вся разница.

– Оррен, – осторожно спросил Таггерт, – а что это за слухи о планируемой национализации рудников Сан-Себастьян?

– Клевета, – сердитым тоном бросил Бойль, – явная и злобная клевета. Я точно знаю. Я ужинал с министром культуры и обедал с остальными парнями.

– Кажется, есть какой-то закон против распространителей безответственных слухов, – угрюмым тоном промолвил Таггерт. – Давайте пропустим еще по маленькой.

Он раздраженно махнул официанту. В темном уголке зала прятался небольшой бар, за которым давно, без всякого движения, застыл пожилой бармен. Отреагировав на призыв, он двинулся с места с высокомерной медлительностью. Хотя по долгу службы ему полагалось всячески помогать людям отдохнуть и получить удовольствие, он выглядел скорее как озлобленный эскулап, обслуживающий больных нехорошей болезнью.

Все четверо сохраняли молчание, пока официант не принес им напитки. Оставленные им на столе бокалы в полутьме превратились в голубые блики, похожие на слабое пламя газовой горелки. Протянув руку к своему бокалу, Таггерт вдруг улыбнулся.

– Давайте выпьем за жертвы, принесенные исторической необходимости, – сказал он, глядя на Ларкина.

На мгновение воцарилось молчание; в ярко освещенной комнате эта минута могла превратиться в состязание взглядов двоих мужчин, здесь же они попросту взирали в пустые глазницы друг друга. Наконец, Ларкин взял в руку бокал.

– Я угощаю, ребята, – сказал Таггерт, и они выпили.

Говорить было уже не о чем, и Бойль произнес без особого любопытства:

– Кстати, Джим, я хотел спросить, какая чертовщина происходит с твоими поездами на линии Сан-Себастьян?

– Что, собственно, ты имеешь в виду? Что такого с ними происходит?

– Ну, не знаю, но пускать только один пассажирский поезд в день...

– Один поезд?

– ...просто нелепо, на мой взгляд, и потом какой поезд! Должно быть, ты унаследовал эти вагоны еще от прадедушки, который гонял их и в хвост, и в гриву. И в каком медвежьем углу ты отыскал этот паровоз, работающий на дровах?

– Как это на дровах?

– Да вот так, на дровах. Мне еще не приходилось видеть такого, кроме как на фотографиях. Из какого музея ты его стащил?

И не пытайся изобразить неведение, просто скажи мне, что ты затеял?

– Да нет, конечно же, я в курсе, – заторопился с ответом Таггерт. – Просто... просто ты попал туда как раз в ту неделю, когда у нас были проблемы с локомотивами – мы заказали новые, однако вышла небольшая задержка, – ты знаешь, какие проблемы у нас с производителями локомотивов, но это временная задержка.

– Конечно, – согласился Бойль. – С задержками ничего не поделаешь. Но на более чудном поезде мне еще не доводилось ездить. Меня там едва не вывернуло наизнанку.

Через несколько минут они заметили, что Таггерт притих.

Казалось, он погрузился в себя. И когда он резким движением, без каких-либо объяснений, поднялся, все последовали его примеру, усмотрев в этом приказ.

Ларкин пробормотал с вымученной улыбкой:

– Мне было так приятно, Джим, очень приятно. Так рождаются великие проекты – за выпивкой с друзьями.

– Общественные реформы происходят медленно, – холодным тоном молвил Таггерт. – И нужно быть терпеливым и осторожным.

Он впервые повернулся к Уэсли Моучу:

– Что мне нравится в вас, Моуч, так это то, что вы не слишком говорливы.

Уэсли Моуч был человеком Риардена в Вашингтоне.

Закат еще не погас на небе, когда Таггерт и Бойль вышли на улицу у подножья небоскреба. Факт этот немного удивил обоих – от полумрака в баре создавалось впечатление, что на улице их ждет полночная тьма. На фоне заката вырисовывалось высокое здание, острое и прямое, как занесенный меч. Вдалеке за ним в воздухе висел календарь.

Таггерт с досадой принялся возиться с воротником, застегивая его, чтобы спастись от уличного холода. Он не намеревался возвращаться сегодня в контору, однако теперь это стало необходимым. Следовало повидать сестрицу.

– ...трудное предприятие ожидает нас, Джим, – говорил Бойль, – трудное предприятие, связанное со многими опасностями и сложностями, когда на кон поставлено так много...

– Все зависит... – медленно проговорил Джеймс Таггерт, – от знакомства с нужными людьми... Осталось только узнать, что это за люди.

* * *

Дагни Таггерт было девять лет, когда она обещала себе, что в свое время будет управлять железными дорогами «*Таггерт Трансконтинентал*». Она приняла такое решение, стоя в одиночестве между двух рельсов, глядя на две стальные прямые, уходившие к горизонту и встречавшиеся там в одной точке. Железнодорожная колея прорезала лес, абсолютно с ним не считаясь. Глядя на нее, Дагни испытывала высокомерное удовольствие: дорога была чужда чаще древних деревьев, зеленым ветвям, спускавшимся к вершинам кустов, одиноким диким цветам – однако она существовала. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные шпалы превращались в подобие лестницы, по которой ей надо было подняться.

Решение нельзя было назвать внезапным, скорее, оно было последней словесной печатью, скреплявшей то, что и так было давным-давно ей известно. И молча, не договариваясь, словно бы связанные совершенно излишним обетом, она и Эдди Уиллерс с самых юных лет посвятили себя железной дороге.

Взрослые и дети были скучны и неинтересны Дагни. И то, что жить ей приходится среди скучных людей, она воспринимала как некую грустную случайность, с которой надлежало терпеливо мириться какое-то время. Ей удалось заглянуть в другой мир, и она знала, что он где-то существует: мир, создавший поезда, мосты, телеграфные провода и мигающие в ночи огни семафоров. Надо подождать, решила она, и дорасти до этого мира.

Дагни никогда не пыталась объяснить, почему ей нравится железная дорога. Что бы ни чувствовали остальные, она знала, что такого ощущения им не понять, они попросту лишены его. Похожее чувство она испытывала в школе, на уроках математики. Это был единственный предмет, который она любила. Ей нравилось волнение, сопутствующее решению задачи, надменный восторг, с которым она принимала вызов и без труда находила решение, готовая к новым, более сложным испытаниям. Одновременно она ощущала все возрастающее уважение к своему сопернику, к науке, такой чистой, строгой и столь возвышенно рациональной. На занятиях математикой в голове ее сразу возникали две простые мысли: «Как здорово, что люди создали эту науку» и «Как прекрасно, что я хорошо в ней разбираюсь». Радость восхищения наукой и собственными способностями возрастала в ней одновременно. Таким же было и то чувство, которое она испытывала к железной дороге: почтение перед гением, создавшим ее; к изобретательности чьего-то логичного, тонкого интеллекта добавлялась тайная улыбка, означавшая, что однажды она поймет, как сделать лучше. Как подобает смиренному ученику, она крутилась возле путей и паровозных депо, однако в смирении этом угадывалась будущая гордость, которую еще следовало заслужить.

«Ты невыносимо самоуверенна» – таким было одно из двух мнений, которые она то и дело слышала о себе все свое детство, хотя никогда не говорила о своих способностях. Другая версия гласила: «Ты эгоистична». Она пыталась узнать, что значат эти два слова, но так и не получила на них ответа. И смотрела на взрослых, гадая, как им могло прийти в голову, что она будет чувствовать себя виноватой при столь неопределенном обвинении.

Ей было двенадцать, когда она сказала Эдди Уиллерсу, что будет руководить железной дорогой. В пятнадцать лет ей впервые открылось, что женщины железными дорогами не управляют и что люди будут возражать против ее стремления. К черту, решила Дагни, – и мысль эта более не смущала ее.

Она стала работать на «*Таггерт Трансконтинентал*» в шестнадцать лет.

Отец разрешил ей: ему было забавно и чуточку интересно. Она начала с должности ночной дежурной на небольшой сельской станции. Первые несколько лет она работала по ночам, а днем посещала инженерный колледж.

Джеймс Таггерт начал свою карьеру на железной дороге одновременно с сестрой, ему уже исполнился двадцать один год. Он начал свой трудовой путь в отделе по связям с общественностью.

Восхождение Дагни по служебной лестнице «*Таггерт Трансконтинентал*» произошло быстро и никем из мужчин не оспаривалось. Она занимала ответственные посты просто потому, что других кандидатов не было. В ее окружении попадались талантливые люди, но с каждым годом их становилось все меньше. Начальники Дагни боялись ответственности и не решались пользоваться своими полномочиями; они проводили время в попытках уклониться от решений, поэтому она брала на себя руководство, и ее распоряжения выполнялись.

На каждой ступени ее подъема она исполняла служебные обязанности задолго до того, как получала соответствующий пост. Карьера ее напоминала шествие по пустому дому: никто не пытался преградить ей путь, но никто и не одобрял повышений.

Отец удивлялся и гордился ее карьерой: он молчал, но с печалью в глазах смотрел на дочь, оказавшись в ее кабинете. Когда он умер, ей было двадцать девять. «Во главе железной дороги всегда стоял Таггерт» – таковы были его последние слова, обращенные к ней. В устремленных на дочь глазах отца читалось странное выражение: в нем было и приветствие равного, и сочувствие.

Контрольный пакет акций «*Таггерт Трансконтинентал*» перешел к Джеймсу Таггерту. Ему было тридцать четыре года, когда он стал президентом железной дороги. Дагни ожидала, что совет директоров выберет его, однако она так и не поняла, почему они так поторопились с решением. Они поговорили о традициях, о том, что президент всегда был старшим сыном семьи Таггертов, потом избрали Джеймса Таггерта, чтобы поскорее избежать неопределенности. Они поговорили о его умении «популяризировать железные дороги», его «хорошей прессе», его «вашингтонских контактах». Джеймс необычайно умело добивался расположения властей.

Дагни ничего не знала о его «вашингтонских контактах» и о тех способностях, которые требовались для их поддержания. Однако старания в этой области казались ей необходимыми, посему она отмахнулась от сомнений, решив, что на свете есть много видов работы, малоприятных, но нужных – как, например, чистка сточных труб; кому-то надо брать их на себя, и пусть Джим займется ими, раз ему не противно.

Она не претендовала на президентство, ее заботил только производственный отдел. Когда она стала выезжать на линию, ненавидевшие Джима старые железнодорожники дружно скакали:

«Во главе дороги всегда останется Таггерт», усмотрев в ней продолжательницу отцовского дела. Против Джима ее восстанавливала уверенность в том, что ему не хватает ума,

однако Дагни полагала, что брат не сможет нанести слишком большой ущерб железной дороге, потому что она всегда сумеет исправить последствия его ошибок.

В шестнадцать лет, сидя за столом телефонистки, Дагни провожала взглядом мелькавшие снаружи освещенные окна поездов «*Таггерта*» и думала, что попала в нужный ей мир. За прошедшие с тех пор годы Дагни успела убедиться в том, что это не так. Противник, с которым ей приходилось сражаться, не стоил ни поединка, ни победы; он не был достойным врагом, не был достоин соперничества. Врагом ее была всякая бестолочь, серая хлопковая вата, мягкая и бесформенная, не сопротивлявшаяся ничему и никому, и все же преградой лежавшая на ее пути. Обескураженная, она стояла перед этой загадкой, не понимая, как такое возможно. Ответа не было.

Только в те первые годы она иногда мысленно молила о встрече с интеллектом, умным, жестким и блистательно компетентным. Ее посещали приступы мучительной потребности в друге или враге, обладателе дарования, превышающего ее собственное. Однако со временем она забыла об этом. У нее было свое дело, но не было времени чувствовать боль, во всяком случае, часто.

Первым этапом железнодорожной политики Джеймса Таггерта стало сооружение линии Сан-Себастьян. Многие несли ответственность за него; но, с точки зрения Дагни, под предпринятием этим стояла единственная подпись, имя, сразу затмевавшее все прочие. Имя это стояло под пятью годами труда, под милями убыточной колеи, под листками бумаги с цифрами потерь «*Таггерт Трансконтинентал*», подобных струйке крови, сочащейся из незаживающей раны... Это имя на лентах биржевых аппаратов в тех странах, где еще оставались биржи, и на дымовых трубах, озаренных пламенем медеплавильных печей, стояло в заголовках скандальных статей, значилось оно на пергаментных страницах, сохранивших имена благородных предков, на карточках, вложенных в букеты цветов, попадавших в будуары женщин трех континентов.

Это имя было Франсиско д'Анкония.

В возрасте двадцати трех лет, унаследовав состояние, Франсиско д'Анкония стал известен как медный король всего мира. Теперь, в возрасте тридцати шести лет, он пользовался славой первого богача земли и вместе с тем разнузданного плебоя. Этому последнему потомку благороднейших семейств Аргентины принадлежали скотоводческие ранчо, кофейные плантации и большинство медных рудников Чили. Ему принадлежала половина Южной Америки, а в качестве разменной мелочи к этой крупной купюре прилагались рудники, рассыпанные по Соединенным Штатам.

Когда Франсиско д'Анкония вдруг приобрел многомильный участок пустынных мексиканских гор, в прессу просочились известия о том, что он обнаружил там огромные залежи меди. Он даже не пытался продавать акции своего нового предприятия; их в буквальном смысле слова добывались, и д'Анкония устаивал этой чести лишь тех, кого хотел выделить среди просителей. Его финансовое дарование считалось феноменальным; никто и никогда не мог обыграть его ни в одном деле, и он умножал свое немыслимое состояние с каждой очередной сделкой, вместе с каждым предпринятым шагом, когда благоволил сделать его. И те, кто более всех остальных порицал его, первыми старались ухватиться за возможность попользоваться его талантом, поживиться долей его нового дохода. Джеймс Таггерт, Оррен Бойль и их приятели принадлежали к числу самых крупных вкладчиков в проект, которому Франсиско д'Анкония дал имя «*Копи Сан-Себастьян*».

Дагни так и не сумела узнать, под чьим влиянием Джеймс Таггерт решил построить железнодорожную ветку из Техаса в глушь, к Сан-Себастьяну. Возможно, он и сам не знал этого: подобно полю, лишенному лесозащитной полосы, он был открыт для всякого дуновения, и итог определялся случаем. Несколько директоров «*Таггерт Трансконтинентал*» возражали против этой идеи. Компания нуждалась во всех своих ресурсах для возобновления линии Рио-

Норте и не могла осилить обе стройки одновременно. Однако Джеймс Таггерт был недавно избранным президентом дороги. Шел первый год его правления. И он победил.

Мексика была готова к сотрудничеству и подписала договор, на две сотни лет гарантировавший «*Таггерт Трансконтинентал*» право собственности на построенную железную дорогу, притом что в стране подобной частной собственности не существовало. Франсиско д'Анкония получил аналогичную гарантию на свои рудники.

Дагни упорно боролась против строительства линии Сан-Себастьян. Но в ту пору она была всего лишь ассистенткой в производственном отделе и по молодости лет еще не располагала авторитетом, посему желающих прислушаться к ее мнению не нашлось.

И в то время, и впоследствии она так и не сумела понять мотивы, которыми руководствовались сторонники сооружения линии. Присутствуя на одном из заседаний правления в качестве беспомощного наблюдателя, представителя меньшинства, она ощущала странную уклончивость в самой атмосфере собрания, в каждой речи, в каждом приведенном аргументе, словно бы реальная, определившая решение причина была известна всем, кроме нее самой, но так и не прозвучала вслух.

Там говорили о важности будущих торговых связей с Мексикой, об обильном потоке грузовых перевозок и о больших доходах, которые гарантированы монопольному владельцу права на транспортировку неистощимых запасов меди. Доказательствами служили прошлые достижения Франсиско д'Анкония. Геологические доказательства богатства рудников Сан-Себастьян не приводились. Информация ограничивалась несколькими фактами, которые обнаружил д'Анкония. В большем количестве доказательств здесь и не нуждались.

Было много речей о бедности мексиканцев и о том, как отчаянно нуждаются они в железных дорогах: «У них не будет другого шанса», «Наш долг – помочь слаборазвитому государству. Страна, на мой взгляд, должна приходить на помощь своим соседям».

Она сидела, слушала и думала о тех ветках, от которых «*Таггерт Трансконтинентал*» пришлось отказаться; доходы знаменитой железнодорожной компании год за годом неуклонно сокращались. Она думала о грозной необходимости ремонтов, самым зловещим образом подступившей ко всей дороге.

Политику компании в вопросах обслуживания можно было назвать игрой, точнее, кусочком резины, которую всегда можно растянуть сильнее, а потом еще сильнее.

«На мой взгляд, мексиканцы – очень старательный народ, угнетенный собственной примитивной экономикой. Разве может эта страна стать индустриальной, если никто не протянет ей руку?» «Обдумывая свои вложения, мы обязаны, по моему мнению, считаться, скорее, с людьми, а не с материальными факторами».

Ей представился паровоз, свалившийся в канаву возле линии Рио-Норте, потому что треснула соединявшая рельсы стяжка. Ей вспомнились те пять дней, на которые было остановлено все движение по линии Рио-Норте, потому что рухнула опалубка горного склона и на путях образовался многотонный завал из камней.

«Поскольку человек обязан заботиться о благе своих собратьев, прежде чем обратиться к размышлениям о собственном благе, мне кажется, что американскому народу надлежит подумывать о ближайших соседях, прежде чем обращаться к размышлениям о собственной выгоде».

Она думала о прежде неизвестном Эллисе Уайэтте, на которого начинали обращать внимание, поскольку в результате его трудов из умиравших доселе пустынь Колорадо начинал течь поток товаров. И линии Рио-Норте позволили прийти в полное запустение именно тогда, когда возникла потребность в ее максимальном использовании.

«Низменная жадность – это еще не все. Следует учитывать и нематериальные идеи». «Я со стыдом признаюсь себе в том, что мы располагаем огромной сетью железных дорог, в то время как у мексиканского народа насчитывается всего две жалкие линии». «Старинная тео-

рия экономической самодостаточности давным-давно рухнула. Одна страна не может процветать посреди умирающего от голода мира».

Дагни подумалось, что «*Таггерт Трансконтинентал*» стала такой, какой была прежде, задолго до ее рождения, когда на учете был каждый наличный рельс, костыль и доллар и когда отчаянно не хватало ни того, ни другого, ни третьего.

На том же самом заседании много было сказано об эффективности мексиканского правительства, полностью управлявшего всеми ресурсами. У Мексики великое будущее, говорили они, буквально через несколько лет страна эта превратится в опаснейшего конкурента. «В Мексике есть дисциплина», – говорили директора с ноткой зависти в голосе.

Джеймс Таггерт дал всем понять – недоговоренными фразами и неопределенными намеками, – что его друзья в Вашингтоне, которых он так и не назвал, хотели бы видеть в Мексике железнодорожную линию, что подобная линия окажет большое содействие в вопросах международной дипломатии, что добрая воля и мировое общественное мнение более чем оправдают вложения «*Таггерт Трансконтинентал*».

И директорат проголосовал за выделение тридцати миллионов долларов на строительство линии Сан-Себастьян.

Когда Дагни покинула кабинет, в котором проводилось заседание, и вышла на прохладный чистый уличный воздух, в ее опустошенном сознании были лишь два слова: «Уходи отсюда... уходи отсюда...»

«Уходи».

Дагни с изумлением прислушивалась к самой себе. Мысль об уходе из «*Таггерт Трансконтинентал*» не принадлежала к числу тех, которые она могла посчитать здравыми. Она ужаснулась, но не самой этой мысли, а той ситуации, которая породила ее. Гневно качнув головой, она сказала себе, что теперь «*Таггерт Трансконтинентал*» нуждается в ней куда больше, чем прежде.

Двое из директоров подали в отставку, так же поступил и вице-президент, руководивший производственным отделом. Его сменил один из приятелей Джеймса Таггерта. Стальные рельсы поползли через мексиканскую пустыню, был отдан приказ уменьшить скорость движения поездов по линии Рио-Норте из-за износа линии. На пыльной и немощенной центральной площади мексиканской деревушки возвели облицованный мрамором и украшенный зеркалами вокзал из железобетона, а на линии Рио-Норте свалился под откос целый состав цистерн с нефтью, превратившихся в обожженный пламенем металлолом, потому что в колее лопнул рельс. Эллис Уайэтт не стал дожидаться суда, чтобы усмотреть в случившемся волю Господню, как предлагал Джеймс Таггерт. Он просто передал все перевозки своей нефти «*Феникс-Дуранго*», компании незаметной, но педантичной и в своих стараниях преуспевавшей.

Этот факт и дал начальный толчок «*Феникс-Дуранго*». Теперь она росла, следуя росту «*Уайэтт Ойл*», чьи заводы возникали в соседних поселках, в то время как полоса рельс и шпал тянулась все дальше и дальше между жидких полей мексиканской кукурузы, прирастая со скоростью двух миль в месяц.

Дагни было тридцать два года, когда она сообщила Джеймсу Таггерту о своем намерении уйти в отставку. Последние три года она руководила производственным отделом, не имея официальной должности, доверия и власти. Ей надоело тратить часы, дни и ночи на попытки исправить плоды вмешательства приятеля Джима, занимавшего пост вице-президента и формального руководителя производственного отдела. У него не было собственной политики, любое принятое им решение подсказывала она, однако принимал он ее советы, только предвзвешенно предприняв все усилия, чтобы сделать исполнение их невозможным. Она предъявила своему брату ультиматум. Тот ахнул.

– Дагни, но ты ведь женщина! Женщина на посту вице-президента и руководителя производственного отдела? Это неслыханно! Правление даже не станет рассматривать подобный вопрос!

– Тогда я ухожу, – ответила она.

Дагни не размышляла о том, что будет делать остаток жизни.

Оставить «*Таггерт Трансконтинентал*» было для нее все равно, что позволить ампутировать себе обе ноги. Она подумала: будь что будет, потом разберемся.

Она так и не поняла, почему Правление единодушно проголосовало за то, чтобы назначить ее вице-президентом и руководителем производственного отдела.

Она собственными руками закончила строительство линии Сан-Себастьян. Когда она начала работу, стройка длилась уже три года, была проложена треть колеи, а текущая стоймость уже перевалила за установленную смету всей дороги. Она уволила всех друзей Джима и отыскала подрядчика, который закончил всю работу за год.

Линию Сан-Себастьян сдали в эксплуатацию. Однако из-за границы не потекли товары, не загромыхали на стыках груженные медной рудой поезда. Редкие, считанные вагоны спускались с гор Сан-Себастьяна. Рудники, говорил Франсиско д'Анкония, пока еще находятся в процессе разработки. «*Таггерт Трансконтинентал*» продолжала нести убытки.

И теперь Дагни сидела за столом в своем кабинете, где проводила долгие вечера, пытаясь определить, какие направления и когда могут выручить всю систему.

Перестроенная линия Рио-Норте могла бы спасти все остальное. Разглядывая листки бумаги, объявлявшие о новых и новых потерях, она не думала о долгой и бессмысленной агонии мексиканского предприятия. Она вспоминала свой телефонный звонок:

– Хэнк, ты можешь спасти нас? Можешь ли ты предоставить нам рельсы в кратчайший срок и в самый долгий кредит?

Спокойный и уверенный голос ответил:

– Конечно.

Мысль эта стала точкой опоры. Дагни склонилась над разложенными на столе листами бумаги, обнаружив, что теперь может сосредоточиться. У нее появилось хоть что-то, способное выстоять, не рухнуть, не рассыпаться в самый последний момент.

Джеймс Таггерт вступил в приемную кабинета Дагни, еще сохраняя известную долю той уверенности, которую полчаса назад ощущал в баре, в обществе своих друзей. Однако когда он открыл дверь, уверенность эта испарилась сама собой. И к столу сестры он подходил уже как нашкодивший ребенок, ожидающий наказания, память о котором сохранится на многие годы.

Голова Дагни была склонена над бумагами, в свете лампы поблескивали пряди растрепанных волос, белая блузка липла к плечам, свободными складками выдавая худобу тела.

– Что у тебя, Джим?

– Что ты устраиваешь на линии Сан-Себастьян?

Она приподняла голову:

– Устраиваю? Что ты имеешь в виду?

– Какое у нас там расписание и какие поезда там ходят?

Она рассмеялась; к веселью в голосе примешивалась усталость:

– Иногда стоило бы читать отчеты, которые кладут на стол президента, Джим.

– Что ты хочешь сказать?

– То, что мы придерживаемся такого расписания и пускаем такие поезда по линии Сан-Себастьян уже три месяца.

– Один пассажирский поезд в день?

– С утра. И один товарный состав ночью.

- Боже милостивый! И это на такой важной ветке?
- На такой важной ветке не окупается и эта пара поездов.
- Однако мексиканский народ ждет от нас настоящей помощи!
- Я в этом не сомневаюсь.
- Ему нужны поезда!
- Для чего?
- Чтобы... чтобы помочь развитию национальной промышленности. Как, по твоему мнению, сможет она развиваться, если мы не обеспечим Мексику транспортом?
- Я не ожидаю, что промышленность этой страны будет развиваться.
- Это всего лишь твое личное мнение. И я не понимаю, какое право имеешь ты собственной волей урезать расписание. Одни только перевозки меди окупят все.
- Когда?

Джеймс поглядел на сестру. На лице его появилось удовлетворение человека, получившего возможность сказать обидную вещь.

– Надеюсь, ты не собираешься усомниться в процветании этих медных рудников? Ведь они принадлежат Франсиско д'Анкония! – Он подчеркнул голосом это имя, не отводя взгляда от сестры.

Она проговорила:

- Возможно, он твой друг, но...
- Мой друг? А я думал, что твой.

Дагни ровным голосом произнесла:

- Уже десять лет как не мой.
- Плохо-то как. Ведь он один из самых удачливых бизнесменов в мире. Он никогда не проваливал предприятий, деловых, как ты понимаешь, и в рудники эти он вложил миллионы, так что мы можем положиться на его суждение.
- Когда ты, наконец, поймешь, что Франсиско д'Анкония превратился в ничтожного тунеядца?

Джеймс усмехнулся:

– Я всегда полагал, что как личность он неинтересен. Но ты не разделяла моего мнения. Ты возражала. О, еще как возражала! Помнишь, как мы ссорились на эту тему? Может, процитировать некоторые твои высказывания? И высказать догадку о причине некоторых твоих поступков?

- Ты хочешь поговорить о Франсиско д'Анкония? И пришел сюда ради этого?

На лице его появились признаки гнева и разочарования, потому что ее лицо оставалось бесстрастным.

– Тебе прекрасно известно, зачем я сюда пришел! – отрезал он. – Я услышал совершенно невероятные вещи о тех поездах, которые ходят у нас по Мексике.

- Какие вещи?
 - Какого рода подвижной состав ты там используешь?
 - Хуже которого у меня нет.
 - Ты это признаешь?
 - Я отмечала это в посланных тебе отчетах.
 - И это правда, что ты используешь дровяные паровозы?
 - Эдди отыскал их для меня в Луизиане, в чем-то заброшенном депо. Он не сумел даже выяснить название этой железной дороги.
 - И эта рухлядь носит имя поездов Таггерта?
 - Да.
 - В чем заключается великая идея? Что происходит? Я хочу знать, что происходит!
- Дагни проговорила ровным голосом, глядя в лицо брату:

– Если ты хочешь знать, я оставила на линии Сан-Себастьян одну только рухлядь и при-
том в минимальном количестве. Я забрала из Мексики все, что можно забрать: маневровые
паровозы, инструменты и оборудование, даже пишущие машинки и зеркала.

– А за каким чертом?

– Чтобы грабителям досталось поменьше добычи, когда они национализируют линию.

Он вскочил на ноги:

– Это тебе с рук не сойдет! На сей раз такая выходка выйдет тебе боком! Надо же иметь
совесть, чтобы обойтись столь низменным, подлым образом... просто из-за каких-то зловред-
ных слухов, когда мы располагаем контрактом на двести лет...

– Джим, – проговорила она неторопливо, – наша фирма не располагает ни одним лишним
вагоном, паровозом или тонной угля.

– Я не позволю, я самым решительным образом не позволю проводить такую бесстыдную
политику в отношении дружественного народа, нуждающегося в нашей помощи. Низменная
жадность не оправдание. В конце концов, существуют и высшие соображения, даже если ты
не способна понять их!

Дагни положила перед собой блокнот и взяла карандаш:

– Хорошо, Джим. Сколько поездов должна я по твоему указанию пустить по линии Сан-
Себастьян?

– Гм?

– Сколько поездов и на каких линиях я должна отменить, если ты хочешь иметь там
дизельные тепловозы и стальные вагоны?

– Я не хочу, чтобы ты отменяла поезда!

– Тогда откуда я возьму подвижной состав для Мексики?

– Это ты должна знать. Это твоя работа.

– Я не в состоянии выполнить ее. Так что решай.

– Опять твои гнилые штучки... хочешь переложить ответственность на меня!

– Я жду твоих распоряжений, Джим.

– Я не позволю тебе заманить меня в такую ловушку!

Она отбросила карандаш:

– Тогда расписание поездов на линии Сан-Себастьян остается без изменения.

– Хорошо, подождем до следующего месяца, до заседания правления. Я потребую, чтобы
там приняли решение. Чтобы раз и навсегда запретили производственному отделу превышать
рамки своих полномочий. И ты ответишь там за все.

– Отвечу.

Дагни вернулась к прерванной работе еще до того, как за Джеймсом Таггертом закрылась
дверь.

Когда она покончила с делами, отодвинула бумаги и посмотрела в окно, небо сделалось
черным и город превратился в россыпь освещенных окон на исчезающих стенах. Дагни под-
нялась без особой охоты. Она понимала, что устала сегодня, и видела в усталости свое мелкое
поражение.

Снаружи в офисе было темно и пусто. Сотрудники уже разошлись по домам, и лишь Эдди
Уиллерс находился на своем месте, за столом, располагавшимся за стеклянной перегородкой,
который казался теперь освещенным кубом в углу просторного помещения. Проходя мимо,
она помахала ему.

Она спустилась на лифте в вестибюль, но не здания, а расположенного под ним вокзала
«Таггерт». Ей нравилось проходить через вокзал по пути домой.

Ей всегда казалось, что вестибюль этот напоминает храм. Глядя вверх, на высокий пото-
лок, она видела неярко освещенные своды, опиравшиеся на огромные гранитные колонны,

и верхние абрисы застекленных тьмой окон. Своды, полные торжественной умиротворенности католического собора, защитным покровом простирались над людской кутерьмой.

Видное место в вестибюле занимала статуя основателя дороги Натаниэля Таггерта, не пользовавшаяся, впрочем, особым вниманием пассажиров.

Лишь одна Дагни не могла равнодушно пройти мимо нее, не отдав дань уважения изваянию великого предка. Взгляд, брошенный на него по пути через вестибюль, был единственной известной Дагни разновидностью молитвы.

Натаниэль Таггерт, авантюрист, без гроша в кармане явившийся из какого-то местечка Новой Англии, построил железную дорогу через континент в пору, когда появились первые стальные рельсы. Его дорога стояла по сию пору; битва за постройку ее превратилась в легенду, ибо люди предпочитали или не понимать ее значения, или попросту считать невозможной.

Человек этот никогда не признавал за другими права преграждать ему путь. Поставив себе цель, он неуклонно двигался к ней по пути, столь же прямому, как и железная дорога, уходящая за горизонт. Он никогда не пытался добиться от правительства никаких займов, ссуд, субсидий, земельных дотаций или законодательных льгот. Он брал деньги у тех, кто имел их, переходя от двери к двери – будь то выточенная из красного дерева дверь банкира или сколоченная из грубых досок дверь фермерского дома. Он никогда не брался толковать об общественном благе. Он просто говорил людям, что его железная дорога принесет им крупный доход, объяснял, откуда этот доход возьмется, и приводил аргументы. Веские аргументы.

И во все последующие поколения «*Таггерт Трансконтинентал*» оставалась в числе тех немногих дорог, которые не обанкротились, и единственной, контрольный пакет акций которой остался в руках потомков основателя.

При жизни имя Ната Таггерта пользовалось не то чтобы славой, но, скорее, печальной известностью; его повторяли не с уважением, но с брезгливым любопытством; а если и находился какой-нибудь почитатель, то почтение его было тем, с которым относятся к удачливому бандиту. И тем не менее ни один пенни его состояния не был нажит грабежом или обманом. На нем не было никакой вины, если не считать ею то, что свое состояние он заработал сам и никогда не забывал о том, что принадлежит оно ему и только ему.

Шепотком поговаривали о нем многое. Рассказывали, что где-то в глуши, на Среднем Западе, он пристрелил одного из местных законодателей, который попытался отозвать представленные ему разрешения, отозвать, когда железнодорожная колея уже пересекла половину штата; там решили заработать на акциях Таггерта, распродав их. Ната Таггерта обвинили в убийстве, однако обвинения так и не сумели доказать. С тех пор у него никогда не случалось проблем с местными властями.

Рассказывали, что Нат Таггерт неоднократно ставил свою жизнь на кон ради железной дороги; но однажды он поставил нечто большее, чем жизнь. Отчаянно нуждаясь в средствах, когда сооружение линии замедлилось, он спустил с трех пролетов лестницы почтенного джентльмена, предложившего ему правительственный заем. А потом выставил в качестве залога собственную жену, получив деньги у миллионера, ненавидевшего Ната и восхищавшегося красотой этой женщины. Таггерт вовремя расплатился с миллионером, и ему не потребовалось отдавать залог. Сделка была совершена с полного согласия супруги. Сказочная красавица эта происходила из благородного семейства одного южного штата, и родные отrekliлись от нее, когда она сбежала из дома с Натом Таггертом, тогда еще не имевшим ни гроша за душой молодым авантюристом.

Дагни иногда сожалела о том, что Нат Таггерт был ее предком. Ее любовь к нему трудно было вместиť в рамки семейных отношений. Она не хотела испытывать к нему чувство, с каким относятся к дядюшке или деду. Она не умела любить не избранный ею самой объект и возмущалась, когда от нее требовали этого. Тем не менее, если бы предков можно было

выбирать, она предпочла бы иметь таковым именно Ната Таггерта – добровольно и с полной благодарностью.

Основой для создания скульптурного изображения Ната Таггерта послужил некогда сделанный карандашный набросок, единственное сохранившееся изображение его внешности. Нат дожил до глубокой старости, однако никто не мог представить себе его иным, не таким, каким был он на этом наброске, – молодым человеком. В детские годы Дагни эта скульптура являлась для нее первым образцом воплощения высоты духа. Когда потом ее послали в церковь и школу и она слышала от людей эти слова, то сразу поняла, что они обозначают: эту статую. Это был молодой парень, худощавый, высокий, с угловатым лицом. Горделиво подняв голову, он принимал вызов и радовался тому, что способен принять его. Все, чего Дагни ждала от жизни, содержалось в этом желании держать голову так, как он.

Пересекая в тот вечер вестибюль, она снова посмотрела на памятник. Его присутствие давало мгновение отдыха; казалось, что с плеч ее сбросили бремя, имени которому не знала она сама, казалось, что легкий ветерок прикасается к разгоряченному лбу.

В уголке вестибюля, возле входа, располагался небольшой газетный киоск. Владелец его, тихий и любезный старик, провел за своим прилавком двадцать лет. Прежде он был хозяином сигаретной фабрики, однако она разорилась, и он обрек себя на забвение в этом крохотном киоске, расположенном посреди вечного водоворота приезжих. У него не было семьи, не было и друзей.

Единственное удовольствие ему приносило хобби: человек этот собирал сигареты, изготовлявшиеся во всех концах мира, и знал каждую марку, которая выпускалась прежде или в настоящее время.

Дагни любила останавливаться возле его киоска по пути домой. Он словно бы сделался частью вокзала «*Таггерта*», словно старый сторожевой пес, слишком одряхлевший, чтобы защищать его, однако вселяющий уверенность своим присутствием. Ее визиты были приятны и старику; ему нравилось размышлять о том, что лишь он один во всей этой толпе знает истинное предназначение этой молодой женщины в спортивном плаще и сдвинутой набок шляпке, неузнанной среди людского водоворота.

Дагни остановилась возле киоска, чтобы как всегда купить пачку сигарет.

– Ну, как поживает коллекция? – спросила она. – Есть что-нибудь новенькое?

Печально улыбнувшись, киоскер покачал головой.

– Увы, мисс Таггерт. В мире перестали выпускать новые марки. Даже старых больше не делают, исчезают одна за другой. В продаже осталось только пять или шесть. А были дюжины. Люди перестали делать новые вещи.

– Это пройдет. Такое положение не может длиться долго.

Он поглядел на нее, не отвечая. А потом сказал:

– Мне нравятся сигареты, мисс Таггерт. Мне приятно представлять себе огонь в руке человека. Огонь – опасная сила, и ее укрощают пальцы. Я часто задумываюсь о тех часах, которые человек проводит в одиночестве, вглядываясь в сигаретный дымок и размышляя. Хотелось бы знать, сколько великих идей рождено в такие часы. Когда человек мыслит, в разуме его загорается пламя, и огонек сигареты служит вполне уместным символом его.

– Но много ли людей вообще способны думать? – против собственной воли спросила она и смолкла. Вопрос этот давно мучил ее, и Дагни не хотелось обсуждать его с кем-то другим.

Старик посмотрел на нее так, как если бы понял причину внезапной паузы, однако он не стал отвечать, а вместо этого сказал:

– Мне не нравится то, что происходит теперь с людьми, мисс Таггерт.

– Что же?

– Не знаю. Но я наблюдаю за ними уже двадцать лет. И заметил перемену. Здесь люди всегда мчатся, и мне было приятно видеть спешку людей, понимающих, куда они спешат, и стара-

ющих добраться туда побыстрее. Теперь они торопятся, потому что боятся. Теперь их гонит вперед не цель, а страх. Они не находятся на пути куда-то, они спасаются. И я не уверен в том, что они понимают, от чего спасаются. Они не смотрят друг на друга. Они вздрагивают, ощутив прикосновение. Они слишком много улыбаются, но это уродливые улыбки: в них нет радости, только мольба. Я не понимаю, что происходит с миром. – Он пожал плечами. – Ах да, кто такой Джон Голт?

– Всего лишь пустая, бессмысленная фраза!

Дагни смутилась собственной резкости и извиняющимся тоном заметила:

– Не люблю бестолковые поговорки. Что она означает? И откуда взялась?

– Этого никто не знает, – неторопливо ответил ее собеседник.

– Почему люди повторяют эти слова? Никто не может объяснить их смысл, и, тем не менее, все пользуются ими так, как если бы знали его.

– Почему это смущает вас? – спросил киоскер.

– Мне не нравится тот смысл, которым они наделяют эти слова.

– И мне тоже, мисс Таггерт.

* * *

Эдди Уиллерс ужинал в рабочем кафетерии на вокзале «*Таггерт*». В здании находился ресторан, который предпочитали старшие служащие фирмы, однако ему там было неудобно. Кафетерий, напротив, казался частью железной дороги, и он ощущал себя здесь как дома.

Кафетерий располагался под землей. Свет электрических ламп отражался в белом кафеле стен, преобразовавшихся в подобие серебряной парчи. Высокий потолок, сверкающие хромом и стеклом прилавки создавали ощущение светлого простора.

Иногда в кафетерии Эдди Уиллерс встречался с одним из железнодорожников, рабочим. Лицо его было симпатично Эдди. Однажды они случайно завязали разговор, и теперь у них вошло в обычай ужинать вместе, если они встречались.

Эдди не помнил, интересовался ли он когда-либо именем рабочего или чем он занимается. Нетрудно было предположить, что знакомый его был из самых низов, грубая одежда его всегда лоснилась от масляных пятен. Человек этот был для него не личностью, только безмолвным представителем безликого множества лиц, главным интересом в жизни которых, как и у него самого, была компания «*Таггерт Трансконтинентал*».

Припозднившись сегодня, Эдди заметил своего рабочего за столиком в уголке наполовину опустевшего зала. Радостно улыбнувшись, Эдди помахал ему и понес поднос с тарелками к его столику.

Оказавшись в уютном уголке, Эдди сразу ощутил облегчение, расслабившись после долгого и напряженного дня. Здесь он мог говорить как нигде более, признавать вещи, которые не признал бы ни перед кем другим, думать вслух, вглядываясь во внимательные глаза сидевшего напротив рабочего.

– Линия Рио-Норте – наша последняя надежда, – проговорил Эдди Уиллерс. – Одна она спасет нас. Мы получим, по крайней мере, одну находящуюся в хорошем состоянии ветку там, где она нужна более всего, и она поможет нам сохранить все остальное... Забавно, не так ли? – говорить о последней надежде «*Таггерт Трансконтинентал*». Будешь ли ты серьезно слушать человека, который скажет тебе, что какой-то там метеорит вот-вот уничтожит Землю?.. Я лично не стану... «От океана до океана, вовеки» – вот что слышали мы о нашей железной дороге все детство. Нет, «вовeki» там не было, но это подразумевалось... Знаешь, я человек невеликий. Я не сумел бы построить эту железную дорогу. И если она уйдет в прошлое, я не сумею ее вернуть. Мне придется уйти вместе с ней... и не обращай на меня внимания. Не знаю, почему сегодня я говорю все это. Наверно, я сегодня слишком устал... Да, я засиделся

допоздна. Она не просила меня задержаться, однако под дверью ее кабинета горел свет, долго горел, уже после того, как все ушли... да, она тоже ушла домой... Неприятности? О, в конторе всегда неприятности. Но ее они не тревожат. Она знает, что сумеет вытащить нас... Конечно, это плохо. У нас было больше аварий, чем ты мог слышать. На прошлой неделе мы опять потеряли два дизеля. Один скончался от старости, другой погиб в лобовом столкновении... Да, мы заказали новые дизели на «*Юнайтед Локомотив*», но ждем их уже два года. Не знаю, получим ли мы их когда-нибудь или нет... Боже, как они нужны нам! Локомотивы – ты даже представить себе не можешь, насколько это важно. В них сердце железной дороги... Чему ты улыбаешься?.. Как я и говорил, дела плохи. Но, во всяком случае, линия Рио-Норте пойдет на поправку. Первая партия рельсов должна поступить через несколько недель. Через год мы пустим новый поезд по новой колее. На сей раз нас ничто не остановит... Конечно, я знаю, кто будет класть рельсы, – Макнамара из Кливленда, подрядчик, достраивавший для нас линию Сан-Себастьян. Во всяком случае, этот человек знает свое дело. Сомневаться не в чем. Мы можем рассчитывать на него. Хороших подрядчиков осталось не так много... нас загоняют на работе, но мне это нравится. Я прихожу на работу за час до начала, но она всегда является раньше. Она всегда первая... Что?.. Не знаю, что она делает по ночам. Ничего особенного, насколько я знаю... Нет, она никуда не ходит, никуда и ни с кем. Сидит у себя дома и слушает музыку. Пластинки крутит... Хочешь знать, чьи? Ричарда Халлея. Ей нравится музыка Ричарда Халлея. Кроме железной дороги она любит только его музыку.

ГЛАВА IV. НЕДВИЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ

«Локомотивы, – думала Дагни, рассматривая здание “*Таггерт Трансконтинентал*” в сумерках, – вот что было для него главным. Теперь моя цель в том, чтобы помочь этому зданию устоять, движение должно сохранить его прежним. Ведь покоится оно не на вбитых в гранит сваях – на локомотивах, пересекающих континент».

Дагни почувствовала смутную тревогу. Она вернулась из поездки в Нью-Джерси, на завод «*Юнайтед Локомотив Уоркс*», куда отправилась, чтобы лично встретиться с президентом этой компании. Она ничего не добилась и так и не узнала причин задержки поставок, ей даже не назвали точный срок, когда будут готовы необходимые ей дизельные локомотивы. Президент компании уделил беседе с ней два часа, но ответы не имели никакого отношения к ее вопросам. В его манере держаться странным образом сквозила некая снисходительная укоризна, словно бы Дагни проявляла предосудительную неблаговоспитанность, нарушая всем и каждому известные нормы пристойного поведения.

Проходя по заводу, она заметила огромный механизм, брошенный в углу двора. Некогда эта груда металла являлась прецизионным станком, и подобных ему теперь нельзя было приобрести ни за какие деньги. Станок не был изношен – его сгноило пренебрежение, он был покрыт пятнами ржавчины и черной, грязной смазки. Дагни отвернулась, чтобы не видеть его. Зрелища подобного рода всегда повергали ее в бешенство. Причин этому Дагни не знала, они попросту не поддавались определению. Она только понимала, что вопиет против несправедливости, и что реакция ее вызвана чем-то совсем иным, большим, чем просто очередной старый механизм.

Когда она вошла в свою приемную, люди уже разошлись, один только Эдди Уиллерс еще дожидался ее. По тому, как Эдди выглядел, и по тому, что он немедленно молча направился следом за ней в кабинет, Дагни немедленно поняла – что-то случилось:

– Что произошло, Эдди?

– Макнамара кончился.

Она в недоумении вскинула брови:

– Как это «кончился»?

– Ушел от дел. Вышел в отставку. Закрыв свое дело.

– Макнамара, наш подрядчик?

– Да.

– Но это невозможно!

– Знаю.

– Что случилось? Почему?

– Никто понятия не имеет.

Задумчиво, неторопливыми движениями, она расстегнула пальто, села за стол и принялась стаскивать с рук перчатки. А потом сказала:

– Начни сначала, Эдди. Садись.

Он ответил ей спокойным голосом, но остался стоять:

– Я разговаривал с его главным инженером, по междугородному. Он позвонил нам из Кливленда, чтобы известить о случившемся. Это все, что он сказал. Ничего больше ему не было известно.

– Ну и?

– Макнамара закрыл свое дело и уехал.

– Куда?

– Ему это неизвестно. Как и всем остальным.

Дагни вдруг заметила, что все еще держится за два стянутых пальца левой перчатки, забыв снять ее до конца. Сорвав перчатку с руки, она бросила ее на стол.

Эдди проговорил:

– Он оставил за собой груду заключенных контрактов, тянущих на целое состояние. Список клиентов у него был расписан на три года вперед...

Она молчала, и Эдди негромко добавил:

– Если бы я мог понять, что происходит, мне не было бы страшно... Однако поступить таким образом, не имея на то никакой причины...

Дагни по-прежнему молчала, и он продолжил:

– Макнамара был лучшим подрядчиком во всей стране.

Они смотрели друг на друга. Дагни хотелось сказать: «О боже, Эдди, о боже!»

Но вместо этого она произнесла ровным голосом:

– Не беспокойся. Мы найдем другого подрядчика для линии Рио-Норте.

Свой кабинет Дагни оставила поздно. И, оказавшись на тротуаре, возле входа в здание, беспомощно посмотрела сначала налево, затем направо. Она вдруг почувствовала, что силы, желания, стремления разом исчезли, словно внутри нее остановился сломавшийся мотор.

Слабое свечение поднималось к небу за спинами зданий, отражая движение тысяч неведомых огней, электрическое дыхание города.

Ей захотелось отдохнуть. Отдохнуть, подумала Дагни, и развлечься.

Работа предоставляла Дагни все, что было ей нужно, все, чего она хотела. Но иногда, как и в этот вечер, она ощущала внезапную и странную пустоту, даже не пустоту, а молчание, и не отчаяние, а неподвижность, словно бы ничто в ней не рушилось, но замерло на месте. И тогда приходило желание найти вне себя мгновение радости, оказаться пассивным созерцателем великого – будь то произведение чьих-то рук или просто зрелище. Ничего не созидать, думала она, но принимать; не начинать, но реагировать; не создавать, но восхищаться... только потом я смогу продолжить существование, ибо счастье – топливо для души.

Она всегда была – Дагни прищурилась и чуть улыбнулась с легкой горечью – движущей силой собственного счастья. И сейчас она хотела ощутить на себе силу чужих достижений. Как людям на темных просторах прерии было приятно видеть пролетающие мимо освещенные вагоны поезда, ее достижения, знак ее могущества, придававшего им уверенность посреди ночных просторов, так и она хотела в этот момент ощутить подобное чувство, пережить мимо-летную встречу, помахать рукой и сказать: «Кто-то проехал мимо...»

Она неторопливо пошла, опустив руки в карманы... тень чуть сдвинутой на лоб шляпки прикрывала лицо. Окружавшие ее дома вздымались на такие высоты, что глаза не могли отыскать небо. Дагни подумала: раз на постройку этого города было потрачено столько сил, он должен и многое предлагать человеку.

Черная дыра прикрепленного над дверью в магазин громкоговорителя извергала звуки. Транслировали концерт симфонической музыки, исполнявшийся где-то в городе. Протяжный визг не имел формы, он был подобен разорванной в клочья плоти или ткани. В обрывках этих не было мелодии, гармонии и ритма, удерживавших их воедино. Если музыка изображает эмоции, и притом эмоции, рожденные мыслью, то этот визг говорил об иррациональной беспомощности, об отречении человека от самого себя.

Дагни шла вперед. Она остановилась возле окна книжного магазина. В витрине высилась пирамида кирпичей в коричневатых-фиолетовых переплетах с надписью «*Коришун линияет*». «Роман столетия, – вещал рекламный плакат. – Исчерпывающее исследование природы жадности бизнесмена. Бесстрашное разоблачение порочности человека».

Она прошла мимо кинотеатра. За огнями его скрывалась половина квартала, а в воздухе пылало огромное фото с какими-то буквами. Снимок изображал улыбающуюся молодую женщину. При взгляде на нее немедленно становилось так тошно, словно ты видел ее много лет

каждый день, а не впервые в жизни. Буквы гласили: «...в монументальной драме, дающей ответ на извечный вопрос: должна ли женщина признаваться в *этом*?»

Дагни прошла мимо дверей ночного клуба. Парочка нетвердым шагом подходила к такси. Девушка озиралась мутными глазами. На ней было горностаевое манто и прекрасное вечернее платье, соскользнувшее с плеча подобно халату какой-нибудь домохозяйки и практически открывавшее грудь, что говорило не о смелой откровенности, а о пьяном безразличии. Спутник поддерживал ее под руку; и на лице его значилось отнюдь не предвкушение романтического приключения, а явно проступала шkodливая мина мальчишки, марающего забор непристойными словами.

«И что же ты рассчитываешь здесь увидеть?» – вопрошала себя Дагни, продолжая путь. Так жили рядом с ней люди, такую форму принимали их души, их культура, их развлечения. Сколько же лет она нигде не видела ничего другого?

Оказавшись на углу своей улицы, Дагни купила газету и повернула к дому.

Она занимала двухкомнатную квартиру на верхнем этаже небоскреба. Сходящиеся углом стекла окон гостиной превращали ее комнату в подобие движущегося корабля, преобразуя городские огни в фосфоресцирующие искорки на черных, сотканных из стали и камня волнах. Она включила лампу, и длинные треугольники света упали на голые стены; геометрический их узор нарушали лишь несколько угловатых предметов мебелировки.

Дагни остановилась посреди комнаты, одна между небом и городом.

Одна-единственная вещь приносила ей те ощущения, которые она хотела пережить сегодня; она знала одно-единственное развлечение.

Повернувшись к патефону, она поставила пластинку с записью музыки Ричарда Халлея.

Это был Четвертый концерт, последнее написанное им произведение. Гром и столкновение начальных аккордов вытеснили из памяти Дагни все, что видела она на улице.

Концерт можно было назвать криком великого возмущения. В нем слышалось «нет», сказанное какому-то чудовищному издевательству, отрицание страдания, звучащее посреди мучительной борьбы, стремления вырваться на свободу. Мелодия, словно человеческий голос, твердила: боль не является необходимым условием бытия, но почему же тогда худшая боль приберегается для тех, кто не признает ее неизбежности?.. К какой каре и кем приговорены мы, знающие тайну любви и радости?.. Звуки пытки превращались в ее отрицание, стон муки преображался в гимн далекому видению, ради которого можно было выстрадать все, даже это. Музыка пела песнь восстания и высокого поиска одновременно.

Она слушала, не шевелясь в кресле, закрыв глаза.

Никто не знал, что произошло с Ричардом Халлеем и почему. Повесть его жизни сделалась подобием назидательного рассказа, написанного, чтобы осудить величие, показав цену, которой оно достается. Повествование это говорило о чередѣ лет, прожитых на чердаках и в подвалах, годах, проведенных среди стен столь же серых, сколь ярка была музыка заточенного среди них человека.

Серость эта говорила о борьбе с длинными неосвещенными лестничными пролетами, с замерзшими трубами, с ценой сэндвича в зловонной продовольственной лавке, с лицами людей, внимавших музыке пустыми глазами. Это была битва, не имевшая облегчения во всплеске насилия, не имевшая олицетворенного врага, когда можно колотить только глухую стену, сложенную из самого надежного звукоизолятора: безразличия, поглощавшего удары, аккорды и вопли, – битва безмолвная, затеянная человеком, способным сделать звуки более красноречивыми, чем это умели до него; битва, проходившая в тиши забвения, одиночества, испытанного вечерами, когда один из симфонических оркестров изредка исполнял какое-нибудь из его произведений; и Халлей вглядывался во тьму, сознавая, что это душа его трепещущими, неровными кругами радиоволн разлетается над городом во все стороны от передающей антенны, но нет приемников, настроенных на ее волну.

– Музыка Ричарда Халлея проникнута героикой. Наш век перерос подобную чепуху, – вещал один критик.

– Музыка Ричарда Халлея несовременна. В ней есть нотка восторга. Но кто сейчас испытывает восторг? – вторил ему другой.

Жизнь Халлея была подобна жизням прочих творцов, наградой которым становится памятник в городском парке, воздвигнутый по прошествии ста лет после того, как подобный знак внимания перестает интересовать удостоенного такой награды, – однако Ричард Халлей не умер достаточно скоро для этого. И он дожил до того вечера, которого по принятым историей законам не должен был увидеть. Ему было сорок три года, шло первое представление «Фаэтона» – оперы, которую он написал в двадцать четыре года. Он перекроил древний греческий миф согласно собственному разумению и цели: Фаэтон, юный сын Гелиоса, укравший солнечную колесницу отца, чтобы в самоуверенном порыве провезти Солнце по небу, не погиб, как случилось в мифе; в опере Халлея Фаэтон добился желаемой цели. Опера эта была впервые поставлена девятнадцать лет назад и оглушительно провалилась после первого же представления, закончившегося свистом и негодующими воплями публики. В ту ночь Ричард Халлей до рассвета бродил по улицам города, пытаясь найти ответ на свой вопрос и не находя его.

После звуков, завершивших второе представление оперы, состоявшееся через девятнадцать лет после первого, разразилась такая овация, какой еще не слышали стены оперного театра. Древние стены не могли вместить эту бурю, звуки ее выплескивались в фойе, на лестницы, на улицы – к мальчишке, который брел по этой улице девятнадцать лет тому назад.

Дагни присутствовала на постановке в тот вечер триумфа. Она принадлежала к числу немногих, кто был уже знаком с музыкой Ричарда Халлея, но прежде не видела его. Она наблюдала, как его вытолкнули тогда на сцену, как стоял он перед массой ликующих рук и голов: неподвижный, высокий и худой человек с поседевшей головой. Он не кланялся, не улыбался; просто стоял и смотрел в толпу. На лице его застыл тихий и искренний вопрос недоумевающего человека.

– Музыка Ричарда Халлея, – писал на следующее утро критик, – принадлежит человечеству. Она создана величием народа и выражает его.

– Вдохновляющий пример, – говорил проповедник, – являет нам жизнь Ричарда Халлея. Он выдержал страшную битву, но какое это имеет значение? Как уместны, как благородны перенесенные им от рук братьев своих страдания и несправедливости, огорчения и оскорбления, иначе он не сумел бы обогатить их жизнь и научить красоте великой музыки.

Через день после триумфа Ричард Халлей исчез.

Он не дал никаких объяснений. Он просто сообщил звукозаписывающей компании, что считает свою карьеру завершенной, продал им права за скромную сумму, прекрасно зная, что проценты от издания его сочинений могли принести ему целое состояние. А потом уехал, не оставив адреса. Это произошло восемь лет назад; с тех пор композитора не видел никто.

Дагни слушала Четвертый концерт, запрокинув голову назад, закрыв глаза. Она откинулась на спинку дивана, расслабившись и отдыхая всем телом, однако чувственный, напряженный рот полными желания линиями выделялся на неподвижном лице.

Спустя некоторое время Дагни открыла глаза, заметила газету, которую бросила на диван, и рассеянным движением потянулась к ней. Она хотела убрать с глаз долой пошлые передовицы. Газета выпала из ее руки, и Дагни увидела фотографию знакомого лица и заголовок над ним. Сложив газету, она отбросила ее в сторону.

Это было лицо Франсиско д'Анкония. Заголовок объявлял о его прибытии в Нью-Йорк. «Ну и что?» – подумала она. Ей необязательно встречаться с ним. Она не видела его уже много лет.

Дагни посмотрела на упавшую на пол газету. Не надо читать ее, подумала она, не надо даже смотреть на нее. Но лицо, отметила она, не переменилось.

Однако как могло остаться прежним лицо, когда все остальное ушло? Она пожалела, что на снимке он изображен улыбающимся. Такого рода улыбка не должна появляться на страницах газет. Этот человек умел видеть, понимать и создавать, прославляя жизнь. Насмешливая и вызывающая улыбка сверкала ослепительным интеллектом.

Не читай, посоветовала себе она, не сейчас – не под эту музыку – только не под эту музыку!

Протянув руку к газете, Дагни развернула ее.

Статья гласила, что сеньор Франсиско д'Анкония изволил дать интервью прессе в своем номере в отеле «Уэйн-Фолкленд». Он объяснил, что прибыл в Нью-Йорк по двум важным причинам: ради свидания с девушкой, назначенного в клубе, и чтобы отведать ливерной колбасы в «Деликатесах Моу» на Третьей авеню. Он отказался комментировать предстоящий бракоразводный процесс мистера и миссис Гилберт Вэйл. Миссис Вэйл, дама весьма благородного происхождения и наделенная необычайной красотой, несколько месяцев назад огорчила своего достойного молодого мужа, публично объявив, что намеревается оставить его ради любовника, Франсиско д'Анкония. Она предала гласности подробное описание их тайного романа, присовокупив к нему описание ночи под прошлый Новый год, проведенной ею на вилле д'Анкония в Андах. Муж ее пережил эту выходку, но подал на развод.

Миссис Вэйл отреагировала встречным иском на половину принадлежавших мужу миллионов и описанием его личной жизни, рядом с которой ее увлечения выглядели вполне невинно.

Тема эта несколько недель не сходила со страниц газет, однако сеньору д'Анкония было нечего сказать обо всем этом репортерам. Его спросили, готов ли он опровергнуть рассказ миссис Вэйл. Он ответил: «Я никогда и ничего не опровергаю».

Репортеры были изумлены его внезапным появлением в городе; они предполагали, что он не захочет появляться в Нью-Йорке во время самого разгара скандала. Однако они ошиблись. Франсиско д'Анкония добавил еще одну причину своего появления.

– Я хочу быть свидетелем этого фарса, – сказал он.

Дагни уронила газету на пол. Она сидела, согнувшись, опустив голову на руки. Она не шевелилась, однако свисавшие на колени пряди волос время от времени вздрагивали.

Величественная музыка Халлея шествовала своим чередом, наполняя комнату, пронзая оконные стекла, вырываясь в город. Дагни впитывала звуки. В них воплощен был ее путь, ее слезы.

* * *

Джеймс Таггерт оглядел гостиную своих апартаментов, гадая, который час; ему не хотелось шевелиться, чтобы отыскать часы.

Он сидел в кресле, в мягкой пижаме, но с босыми ногами; искать шлепанцы было бы слишком хлопотно. Проливавшийся в окна свет пасмурного дня был неприятен для глаз, еще склеенных сном. Где-то внутри черепной коробки угадывалась противная тяжесть, явно собиравшаяся превратиться в головную боль. «Интересно, с чего бы это я оказался в гостинной, – подумал он. – Ах да, чтобы узнать время».

Согнувшись над подлокотником кресла, он посмотрел на часы на стене далекого здания: было уже двадцать минут первого.

За открытой дверью ванной было слышно, как Бетти Поуп чистит зубы. Пояс ее лежал на полу возле кресла вместе с прочей одеждой; пояс был блекло-розовый, с полопавшимися резинками.

– Поторопись, что ли? – раздраженным голосом буркнул он. – Мне надо одеться.

Бетти не ответила. Она оставила дверь ванной открытой; и теперь изнутри доносилось бульканье.

«Зачем мне все это нужно?» – подумал он, вспоминая вчерашнюю ночь. Однако докапываться до ответа было чересчур хлопотно.

Бетти Поуп вышла в гостиную, волоча за собой складки атласного пеньюара в оранжевую и фиолетовую клетку, подобающую арлекину. Пеньюар ей совсем не к лицу, отметил про себя Таггерт; костюм для верховой езды шел Бетти куда больше, если вспомнить фотоснимки в разделах светской хроники. Девушка была худощавая, и кости в разболтанных суставах двигались отнюдь не изящно.

К невзрачному лицу добавлялся нездоровый цвет кожи, однако держалась она с высокомерной снисходительностью, объяснявшейся принадлежностью к одной из самых лучших семей.

– Ах ты, черт! – проговорила она в пространство, потягиваясь. – Джим, а где у тебя маникюрные ножницы? Мне надо подрезать ногти на ногах.

– Не знаю. У меня болит голова. Отложи это дело до дома.

– Утром ты выглядишь совсем не аппетитно, – сказала она безразличным тоном. – Ты похож на слизняка.

– А тебе не хотелось бы заткнуться?

Девушка бесцельно бродила по комнате.

– Не хочу возвращаться домой, – проговорила она без особого чувства. – Ненавижу утро. За ним начинается день, когда нечего делать. Днем я приглашена на чай к Лиз Блейн. Там может быть весело, Лиз – изрядная сучка.

Взяв бокал, Бетти допила остатки вина:

– И почему ты не распорядишься, чтобы починили кондиционер? Здесь воняет.

– Ты закончила свои дела в ванной? – спросил он. – Мне нужно одеться. Сегодня у меня важное деловое свидание.

– Входи. Мне все равно. Мы можем одеваться вместе. Ненавижу, когда меня торопят.

Бреясь, он посматривал на то, как она одевалась перед открытой дверью. Она долго, извиваясь, влезла в пояс, пристегивала подвязки к чулкам, натягивала нескладный, но дорогой твидовый костюм.

Арлекинский пеньюар, приобретенный по объявлению в самом шикарном модном магазине, напоминал мундир, предназначенный для известных обстоятельств, в который она при означенных обстоятельствах и облачалась, а потом снимала и забывала.

Схожей была и природа их отношений. В ней не было страсти, желания, подлинного удовольствия, даже стыда.

Для них обоих половой акт не был ни радостью, ни грехом. Он просто ничего не значил. Им было известно, что мужчины и женщины спят вместе, и они поступали согласно общему обычаю.

– Джим, а почему бы тебе не сводить меня сегодня в армянский ресторан? – спросила Бетти. – Мне нравится шашлык.

– Не могу, – ответил он сердитым тоном сквозь мыльную пену на лице. – У меня сегодня очень плотный график.

– Но ты ведь можешь отложить свои дела?

– Что?

– Какими бы они ни были.

– У меня сегодня *очень* важное дело, моя дорогая, заседание совета директоров.

– Ой, опять ты о своей железной дороге. Какая тоска! Ненавижу бизнесменов. Они такие скучные.

Таггерт не ответил.

Бетти посмотрела на него с лукавством и уже более оживленным тоном произнесла, растягивая слова:

– А Джон Бенсон говорил, что позиции твои на этой железной дороге не слишком прочны, потому что все дела ведет твоя сестра.

– Значит, так прямо и сказал?

– По-моему, твоя сестрица – жуткая особа. Я считаю, что это ужасно, когда женщина изображает из себя сразу смазчика вагонов и руководителя фирмы. Это настолько неженственно! За кого она себя принимает, скажи на милость?

Таггерт остановился на пороге. Припав виском к косяку двери, он пристально посмотрел на Бетти Поуп. На лице его играла легкая улыбка, саркастичная и уверенная. Кое-что общее, подумал он, у нас есть.

– Возможно, тебя заинтересует, моя дорогая, – проговорил он, – что сегодня я как раз устраиваю подкоп под собственную сестрицу.

– Ну да? – спросила она уже с интересом. – В самом деле?

– И поэтому предстоящее заседание имеет такое значение для меня.

– Ты намереваешься выставить ее из дела?

– Нет. Это не нужно и не целесообразно. Я просто хочу поставить ее на место. Мне представлялся случай, которого я давно ждал.

– У тебя есть что-то против нее? Пахнет скандалом?

– Нет, нет. Ты не понимаешь меня. Просто дело в том, что она зашла слишком далеко и должна схлопотать за это. Ни с кем не посоветовавшись, она учинила непростительную выходку. Нанесла серьезное оскорбление нашим мексиканским соседям. Когда об этом узнают все члены правления, им придется принять несколько новых правил, которые моей сестрице как руководительнице производственного отдела не удастся так легко обойти.

– Ты умница, Джим, – сказала она.

– А теперь я, наконец, оденусь. – В голосе Таггерта прозвучала довольная нотка. Повернувшись к раковине умывальника, он произнес бодрым тоном: – Так что мне, может быть, удастся вывезти тебя в ресторан, чтобы угостить шашлыком.

Зазвонил телефон.

Таггерт поднял трубку. Телефонистка сообщила, что его вызывают из Мехико-Сити.

Донесшийся из трубки голос принадлежал защитнику его политических интересов в Мексике.

– Джим, я ничего не мог сделать! – пробубльнул он. – Ничего вообще!.. Нас не предупредили, клянусь Богом, никто не подозревал, никто не предвидел ничего подобного, я сделал все, что мог, тебе не в чем обвинить меня, Джим, все обрушилось на нас как гром с ясного неба! Декрет вышел сегодня утром, буквально пять минут назад, без всякого предупреждения! Правительство Мексиканской Народной Республики национализировало рудники и железную дорогу Сан-Себастьян.

* * *

– ...посему я могу заверить джентльменов, членов правления в том, что повода для паники нет. Утреннее событие, бесспорно, следует признать прискорбным, но я могу сказать с полной уверенностью, основанной на имеющихся у меня сведениях о внешней политике Вашингтона, что наше правительство сумеет добиться взаимовыгодного договора с правительством Мексики и что мы получим полную и справедливую компенсацию за нашу собственность.

Стоя во главе длинного стола, Джеймс Таггерт обращался к совету директоров. Голос его, четкий и монотонный, был пропитан уверенностью в благоприятном исходе:

– Могу вас обрадовать, однако, тем, что я предвидел подобный оборот событий и предпринял все меры, чтобы защитить интересы «*Таггерт Трансконтинентал*». Несколько месяцев назад я дал указание производственному отделу нашей фирмы сократить число поездов на линии Сан-Себастьян до одного в день и снять с нее наши лучшие локомотивы и подвижной состав. Мексиканскому правительству удалось захватить только несколько деревянных вагонов и один дряхлый паровоз. Мое решение сохранило компании многие миллионы долларов – после точного подсчета цифры будут представлены вам. Тем не менее я полагаю, что наши пайщики вправе рассчитывать на то, что люди, несущие основную ответственность за это предприятие, примут на себя и последствия собственной халатности. Поэтому я предлагаю, чтобы мы потребовали отставки мистера Кларенса Эддингтона, нашего экономического консультанта, рекомендовавшего фирме соорудить ветку Сан-Себастьян, и мистера Жюля Мотта, нашего представителя в Мехико-Сити.

Сидевшие за столом люди внимательно слушали его. Они думали не о том, что им придется сделать, но о том, что они будут говорить тем, чьи интересы представляют. Речь Таггерта вполне удовлетворяла их.

* * *

Когда Таггерт вернулся в свой кабинет, Оррен Бойль уже дожидался его. Как только они остались в одиночестве, самообладание оставило Таггерта. Он привалился к столу, плечи его поникли, лицо обмякло и побледнело.

– Ну? – спросил он.

Бойль беспомощно развел руками.

– Я все проверил, Джим, – проговорил он. – Все сходится; д'Анкония потерял на этих рудниках пятнадцать кровных миллионов. Никакой аферы там не было, все честно, он выложил свои деньги и потерял их.

– Ну и что же он теперь намеревается делать?

– Не знаю. И никто не знает.

– Но ведь он не собирается смириться с тем, что его ограбили, так ведь? Для этого он слишком умен. Должно быть, запасся каким-нибудь фокусом.

– Надеюсь на это.

– Д'Анкония сумел разгадать несколько комбинаций самых ловких на земле аферистов. Неужели же он смиритсЯ с декретом жалкой горстки политиканов-латинос? У него должна найтись какая-то управа на них; последнее слово останется за д'Анкония, и мы должны вовремя присоединиться к нему!

– Ну, это зависит от тебя, Джим. Ты же его друг.

– Ничего себе друг! Ненавижу его до мозга костей.

Таггерт нажал кнопку – вызвал секретаря. Тот вошел неуверенной походкой, с несчастным выражением лица. Это был молодой, не слишком, впрочем, человек, и на бескровном лице его оставили свой отпечаток благородное воспитание и не менее благородная бедность.

– Вы договорились о моей встрече с Франсиско д'Анкония? – резко осведомился Таггерт.

– Нет, сэр.

– Но, черт побери, я же велел вам связаться...

– Я не сумел этого сделать, сэр. Невзирая на все старания.

– Тогда попытайтесь еще раз.

– Я имею в виду, что не сумел договориться о встрече, мистер Таггерт.

– Почему же?

– Он отклонил ваше предложение.

– Вы хотите сказать, что он *отказался* встретиться со мной?

- Да, сэр, именно это я и хочу сказать.
 - Он не захотел принять меня?
 - Да, сэр, именно так.
 - Вы разговаривали с ним лично?
 - Нет, сэр, я говорил с его секретарем.
 - И что же он сказал вам? Что именно он сказал?
- Молодой человек молчал, лицо его сделалось еще более несчастным.
- Что он сказал?
 - Он сказал, что сеньор д'Анкония назвал вас скучным человеком, мистер Таггерт.

* * *

Принятое ими предложение получило название *Правило против хищнической конкуренции*. Проголосовав за него, члены Национального железнодорожного альянса, стараясь не смотреть друг на друга, сидели в просторном зале, в окна которого втекал блеклый свет осенних сумерек.

Национальный железнодорожный альянс представлял собой, как было объявлено, организацию, предназначенную для защиты интересов железнодорожной промышленности. Цели этой надлежало добиваться путем разработки методов сотрудничества при продвижении к общей цели; добиваться путем согласия каждого члена альянса подчинять свои личные интересы интересам всей отрасли в целом; интересы же отрасли в целом следовало определять путем общего большинства при голосовании; каждый член альянса обязывался соблюдать любое решение, принятое большинством.

– Коллеги по профессии или по отрасли должны держаться вместе, – утверждали организаторы альянса. – У нас одни и те же проблемы, одни и те же интересы, одни и те же враги. Мы только понапрасну расходуем силы на борьбу друг с другом вместо того, чтобы единым фронтом выступить против всех, кто чинит нам препоны. Мы способны достичь совместного процветания, соединив свои усилия.

– Против кого организован этот альянс? – спрашивал скептик. И получал ответ:

– Ни против кого, в частности. Но если вы хотите поставить вопрос под таким углом, что ж: мы выступаем против грузоотправителей и производителей железнодорожного оборудования, которые пытаются обмануть нас. Против кого бывает направлен всякий союз?

– Именно это мне и хотелось узнать, – отвечал скептик.

Правило против хищнической конкуренции было впервые упомянуто публично на ежегодном общем собрании Национального железнодорожного альянса, членам которого предложили проголосовать за него. Тем не менее все они уже знали о нем заранее; *Правило* давно обсуждалось в приватной обстановке, причем особенно настоятельно в последние месяцы. Места в зале собрания занимали президенты железных дорог. *Правило против хищнической конкуренции* не нравилось им; они надеялись, что вопрос о его принятии не возникнет.

Однако когда *Правило* было поставлено на голосование, они проголосовали «за».

В речах, произнесенных перед голосованием, не было упомянуто ни одной из железнодорожных компаний. В них говорилось исключительно об общественном благе. Говорилось о том, что в то время, когда общественному благополучию угрожает недостаток транспорта, железные дороги губят друг друга, прибегая к самой злобной конкуренции, политике поедания собственного собрата. И если железнодорожное сообщение в некоторых регионах оказывалось прерванным, существовали целые крупные области, где две или более железнодорожные компании конкурировали в борьбе за объем перевозок, едва достаточный для одной. Сказано было, что лишенные в данный момент железнодорожного транспорта регионы предоставляют огромные возможности компаниям, более молодым. И если в настоящий момент регионы эти

не сулят никакого дохода, обеспечение транспортом претерпевающего многие трудности населения должно стать основной целью думающей об общественном благе компании, поскольку основной целью существования железной дороги является служба обществу, а не извлечение дохода.

Далее говорилось, что крупные и устоявшиеся железнодорожные сети имеют существенное значение для благосостояния общества, и что крах любой из них станет национальной катастрофой, и что если одной из них пришлось пережить сокрушительный удар при исполнении миссии международной доброй воли, то она нуждается в общественной поддержке, чтобы пережить последствия его.

Названия железных дорог не упоминались. Но когда председатель собрания поднял руку, давая тем самым торжественный сигнал к началу голосования, все посмотрели на Дэна Конвея, президента «Феникс-Дуранго».

Нашлось всего пятеро инакомыслящих, голосовавших против предложенной меры. Тем не менее когда председательствовавший объявил о том, что *Правило* принято, не было слышно ни приветственных возгласов, ни одобрительного ропота, не было заметно даже движения – в зале воцарилась тяжелая тишина.

Все собравшиеся до последней минуты надеялись на то, что нечто непредвиденное избавит их от нововведения.

Правило против хищнической конкуренции называлось мерой добровольного самоограничения, призванной укреплять законы, давно принятые властями страны. *Правило* запрещало членам Национального железнодорожного альянса заниматься так называемой разрушительной конкуренцией; в определенных регионах запрещалась деятельность более чем одной железнодорожной компании; в таковых регионах право перевозок принадлежало старейшей компании, а новые пришельцы, нечестным образом пробравшиеся на ее территорию, должны были прекратить там свои перевозки в течение девяти месяцев после получения соответствующего указания. Право определять районы, где будет действовать ограничение конкуренции, предоставлялось исключительно Исполнительному комитету Национального железнодорожного альянса.

После окончания собрания все поторопились разойтись. Не было ни дружеских бесед, ни групповых обсуждений. Большой зал опустел за непривычно короткое время. Никто не заговорил с Дэном Конвеем, никто не посмотрел даже в его сторону.

В вестибюле здания Джеймс Таггерт встретил Оррена Бойля. Они не договаривались о встрече, но Таггерт заметил очертания внушительной фигуры возле мраморной стены и узнал Бойля, еще не видя лица. Они пошли навстречу друг другу, и Бойль произнес с не столь утешительной, как обычно, улыбкой:

- Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь, Джимми.
- Мог бы и не являться сюда. Зачем ты здесь? – угрюмо буркнул Таггерт.
- О, просто развлечения ради, – ответил Бойль.

Дэн Конвей в одиночестве сидел в опустевшем зале. Он не покинул своего места, пока не явилась уборщица. Когда она окликнула его, он покорно поднялся и побрел к выходу. Проходя мимо женщины, он запустил руку в карман и сунул ей пятидолларовую бумажку, молча, послушно, не глядя в лицо. Он как будто не понимал, что делает; он действовал так, как если бы полагал, что находится в таком месте, покинуть которое можно, только оставив чаевые.

Дагни все еще сидела за столом, когда дверь ее кабинета распахнулась, и внутрь влетел Джеймс Таггерт. Подобным образом он входил к ней впервые. Лицо его горело как в лихорадке.

Дагни еще не видела брата после национализации линии Сан-Себастьян. Он не пытался обсуждать с ней этот вопрос, и она не считала нужным что-то добавлять. Жизнь столь красноречиво продемонстрировала ее правоту, считала она, что всякие комментарии излишни. Отчасти любезность, отчасти милосердие помешали ей изложить брату то заключение, которое

непосредственно следовало из событий. Во всяком случае, по справедливости он может теперь сделать один-единственный вывод. Ей рассказали о речи, произнесенной им на совете директоров. Она лишь пожала плечами с пренебрежительным недоумением: если по каким-то причинам он считал себя вправе присваивать ее достижения, значит, во всяком случае, не будет мешать ей продвигаться дальше.

– И ты по-прежнему считаешь, что только сама трудишься на благо нашей железной дороги?

Дагни с удивлением поглядела на брата. Голос его сделался пронзительным; он стоял перед ее столом, напрягшись, как струна.

– И ты по-прежнему считаешь, что я погубил компанию, так ведь? – выкрикнул он. – И думаешь, что только ты одна способна спасти нас? Считаешь, что я не найду способа компенсировать мексиканскую потерю?

Она неторопливо произнесла:

– Что тебе нужно от меня?

– Я хочу рассказать тебе кое-какие новости. Помнишь *Правило против хищнической конкуренции*, предложенное Железнодорожным альянсом, о котором я рассказывал тебе несколько месяцев назад? Тебе не понравилась эта идея. Совсем не понравилась.

– Помню. Ну и что?

– Оно принято.

– Что принято?

– *Правило против хищнической конкуренции*. Всего несколько минут назад. На собрании. И через девять месяцев никакой компании «Феникс-Дуранго» в Колорадо не будет!

Дагни вскочила, пепельница, упавшая на пол, со звоном разбилась:

– Ах вы, грязные ублюдки!

Таггерт не шевельнулся. По лицу его расплывалась улыбка.

Дагни понимала, что ее трясет, что сейчас она открыта перед братом и беззащитна, что ее состояние приносит ему радость, но это ничего не значило для нее. А потом она вдруг заметила эту улыбку – и удушающий гнев вдруг отступил. Она более ничего не чувствовала. И принялась изучать эту улыбку с холодным и бесстрастным любопытством.

Они стояли лицом друг к другу. По внешнему виду Джеймса можно было понять, что он впервые не испытывает страха перед ней. Он торжествовал. Событие это означало для него нечто большее, чем победа над конкурентом. И конкурентом этим был не Дэн Конвей, а она сама. Она не понимала, как это может быть и почему, но не сомневалась в том, что брат знал об этом.

В мгновенном озарении ей показалось, что здесь, перед ней, в Джеймсе Таггерте и в том, что заставляло его улыбаться, таился крайне важный секрет, о существовании которого она и не подозревала, но теперь должна понять его буквально любой ценой. Однако мысль эта промелькнула и исчезла.

Метнувшись к дверце шкафа, она схватила пальто.

– Куда ты? – голос Таггерта сделался глуше; в нем звучали разочарование и легкое беспокойство.

Не отвечая, Дагни вылетела из кабинета.

* * *

– Дэн, вы должны сопротивляться. Я помогу вам. Я буду сражаться за вас изо всех своих сил.

Дэн Конвей покачал головой.

Он сидел за столом, уставившись на пустую папку для бумаг, слабая лампа горела в углу кабинета. Дагни немедленно отправилась в городское управление «Феникс-Дуранго». Конвей оказался на месте и даже не изменил позы, когда она вошла в его кабинет. Увидев Дагни, он улыбнулся и сказал тихим, безжизненным голосом:

– Забавно, я так и думал, что вы придете.

Они не были достаточно близко знакомы, однако несколько раз встречались в Колорадо.

– Только, – сказал он, – это бесполезно.

– Вы имеете в виду подписанное альянсом соглашение? Оно незаконно. Его не одобрит ни один суд. И если Джим попытается укрыться за любимым у грабителей лозунгом «общественного блага», я встану и присягну в том, что компания «Таггерт Трансконтинентал» не способна обеспечить все перевозки из Колорадо. И если любой суд вынесет решение против вас, вы можете оспорить его и подавать апелляции еще десять лет.

– Да, – согласился он, – могу... нельзя испытывать уверенности в победе, однако я могу попытаться и сохранить свою железную дорогу еще на несколько лет, однако... однако я думаю сейчас не о том, к каким законам прибегнуть. Дело не в этом.

– А в чем же тогда?

– Я не хочу бороться, Дагни.

Она посмотрела на него, не веря своим ушам. Можно было не сомневаться в том, что подобные слова еще не слетали с его губ; в таком возрасте человек уже не может переделать себя.

Дэну Конвею было под пятьдесят. Квадратное, бесстрастное и упрямое лицо, скорее, подобало мастеру, ведающему непосредственно погрузкой и разгрузкой, а не президенту компании; это было лицо бойца, еще молодое и загорелое под седеющей шевелюрой. Взяв под свой контроль ветхую железнодорожную линию в Аризоне, доход от которой не превышал суммы, приносимой хорошей бакалейной лавкой, он превратил ее в лучшую линию на всем Юго-Западе. Он говорил мало, редко читал книги, никогда не учился в колледже. И вся область человеческой деятельности за одним-единственным исключением откровенно не интересовала его; он не имел абсолютно никакого понятия о том, что люди называют культурой, однако знал толк в железных дорогах.

– Почему же вы не хотите бороться?

– Потому что у них есть право так поступать.

– Дэн, – спросила Дагни, – да в своем ли вы уме?

– Я ни разу в жизни не нарушал своего слова, – проговорил он бесцветным голосом. – И мне безразлично, какое решение примет суд. Я обещал повиноваться большинству. И должен сдерживать слово.

– Разве вы не ожидали, что большинство обойдется с вами именно так?

– Нет. – Бесстрастное лицо Конвея передернула легкая судорога. Он говорил негромко, не глядя на нее, еще не пережив случившееся. – Нет, этого я не ожидал. Я знал, что об этом правиле поговаривали уже около года, но не верил в то, что его примут. Не верил даже во время голосования.

– Чего же вы ожидали?

– Я думал... там говорили, что все мы должны трудиться на благо общества. И я полагал, что тружусь ради этого блага в Колорадо, так что всем вокруг хорошо.

– О какой же вы дурак! Разве вы не понимаете, что за это вас и наказывают – за то, что вы работали так хорошо?

Он покачал головой и проговорил:

– Ничего не понимаю. И не вижу, как выйти из положения.

– Но разве вы давали кому-то обещание погубить себя собственными руками?

– Похоже, что у всех нас теперь не остается никакого выбора.

– Что вы имеете в виду?

– То жуткое состояние, Дагни, в которое пришел теперь весь мир. Я не знаю, что именно произошло с ним, однако дела плохи, очень плохи. Людям нужно собраться вместе и найти выход из положения. Но кто еще может решить, каким нам следовать путем, если не большинство? По-моему, это единственно честный метод решения проблемы, другого я просто не вижу. На мой взгляд, кого-то придется принести в жертву. И если эта участь выпала мне, отказываться я не смею. Право на их стороне. Людям приходится держаться вместе.

Дагни попыталась говорить спокойно, гнев сотрясал ее.

– Если такую цену надо платить за совместное проживание, то черт меня побери, если я захочу жить на одной земле с такими людьми! Если все они могут выжить, только расправившись с нами, зачем нам желать, чтобы они уцелели? Ничто не может служить оправданием для принесения в жертву себя самого. Ничто не может дать им права превратить человека в жертвенное животное. Ничто не может оправдать уничтожение лучших. Нельзя наказывать человека за то, что он так хорош. Нельзя наказывать за способности. И если можно посчитать это справедливым, тогда уж лучше сразу начать уничтожать друг друга, поскольку в мире более не останется никакого права!

Конвей не отвечал. Он только смотрел на нее беспомощными глазами.

– Если мир действительно таков, как можно жить в нем? – спросила она.

– Не знаю... – прошептал он.

– Дэн, неужели, по-вашему, это действительно справедливо? Скажите откровенно, от самого сердца, неужели вы считаете это правильным?

Конвей закрыл глаза.

– Нет, – проговорил он. А потом поглядел на нее, и Дагни впервые заметила, что взгляд его полон боли. – Именно это я и пытаюсь постичь, сидя здесь. Я понимаю, что должен считать такое решение правильным, только язык мой не повернется сказать такое. Я вижу каждую шпалу, каждый семафор, каждый мост, помню каждую ночь, которую провел, когда...

Он уронил голову на руки:

– О боже, насколько же это несправедливо!

– Дэн, – проговорила она сквозь зубы, – сопротивляйтесь.

Конвей поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами.

– Нет, – проговорил он, – это неправильно. Я просто эгоистичен.

– Ах, эта тухлая чушь! Вы же знаете, что это не так!

– Не знаю... – Голос его был полон усталости. – Я сижу здесь, пытаюсь что-то понять...

И более не знаю, что справедливо, а что нет...

Он добавил:

– Не думаю, чтобы это было мне интересно.

Дагни вдруг поняла, что все слова теперь бесполезны и что Дэн Конвей никогда более не станет человеком дела. Она не знала, что именно заставляет ее думать так, и с недоумением произнесла:

– Но вы еще никогда не сдавались без боя.

– Да, не сдавался... – В голосе его звучала тихая и полная безразличия горечь. – Я сражался с бурями, наводнениями, горными обвалами и трещинами в рельсах... Там я знал, что нужно делать, и мне нравилось бороться. Но такого рода сражение... В таком бою мне победить не удастся.

– Почему?

– Не знаю. Кто может сказать, почему мир таков, каков есть? И вообще, кто такой Джон Голт?

Она вздрогнула:

– Тогда что же вы собираетесь делать?

– Не знаю...

– То есть... – она умолкла.

Конвей понял, что она хочет сказать.

– Ну, дело для меня всегда найдется...

В голосе его не было уверенности.

– Насколько я понимаю, закрыть для конкуренции собираются только Колорадо и Нью-Мексико. У меня остается еще линия в Аризоне... как и двадцать лет назад, – добавил он. – Мне будет, чем заняться. Я начинаю уставать, Дагни. У меня не было времени замечать это, однако я устал, можешь мне поверить.

Ей нечего было сказать.

– Я не намереваюсь строить новую линию через пришедший в упадок регион, – проговорил он прежним безразличным тоном. – Они хотели вручить мне такой вот утешительный приз, но я думаю, это всего лишь пустые разговоры. Зачем строить железную дорогу там, где на целую сотню миль найдется разве что пара фермеров, не способных даже прокормить себя самих. Нельзя построить дорогу и заставить ее окупиться. Но если ты не можешь этого добиться, кто сделает это за тебя? С моей точки зрения, это бессмыслица. Они сами не знают, что говорят.

– Да к чертям их упадочные районы! Я думаю о вас. – Она должна была это сказать. – Что вы будете делать с самим собой?

– Не знаю... есть целая уйма вещей, на которые у меня не находилось времени. Например, на рыбную ловлю. Мне всегда нравилось ловить рыбу. Может быть, начну читать книги, всегда хотел. Ничего, выживу. Наконец-то займусь рыбной ловлей. В Аризоне есть несколько прекрасных местечек, где тишина, покой и на мили и мили вокруг не встретишь ни одного человека...

Посмотрев на нее, он добавил:

– Забудем об этом. Зачем вам беспокоиться обо мне?

– Дело не в вас, просто... Дэн, – сказала она вдруг, – надеюсь, вы понимаете, что я хотела помочь вам сражаться не ради вас.

Он улыбнулся; улыбка получилась слабой и дружелюбной:

– Понимаю.

– Я руководствовалась не жалостью, благотворительностью или другой подобной им чепухой. Видите ли, я намеревалась дать вам в Колорадо бой не на жизнь, а на смерть. Я собиралась вклиниться в ваш бизнес, прижать к стенке, выставить с линии, если бы это оказалось необходимым.

Он с пониманием слабо усмехнулся:

– Вам пришлось бы хорошенько потрудиться.

– Только я не думаю, чтобы это было необходимо. По-моему, там хватило бы места для нас обоих.

– Да, – согласился он. – Хватило бы.

– Тем не менее, если бы это оказалось не так, я бы вступила с вами в борьбу и, если бы сумела сделать свою дорогу привлекательнее вашей, сломала бы вас, нисколько не задумываясь о том, какая участь вас ожидает. Но чтобы так... Дэн, не думаю, чтобы мне захотелось сейчас видеть нашу линию Рио-Норте. Я... Боже мой, Дэн, я не хочу оказаться грабителем!

Конвей молча посмотрел на нее странным, словно бы отстраненным взглядом и негромко проговорил:

– Девочка моя, вам следовало бы родиться лет сто назад. Тогда вы получили бы свой шанс.

– К черту. Я намереваюсь собственными руками создать свой шанс.

– Именно этого хотел и я в вашем возрасте.

– Но вы добились своего.

– Разве?

Она замерла на месте, почувствовав вдруг убийственную апатию.

Конвей распрямился и резким тоном проговорил, словно бы отдавая распоряжения:

– Займитесь лучше своей линией Рио-Норте и поторопитесь. Подготовьте ее к эксплуатации, потому что если вы этого не сделаете, придет конец Эллису Уайэтту и всем остальным, а лучше их людей в стране нет. Этого нельзя допустить, и вся ответственность теперь ложится на ваши плечи. Незачем даже пытаться объяснить вашему брату, что теперь вам придется сложнее, чем когда я мог составить вам конкуренцию. Но мы с вами это понимаем. Поэтому беритесь за дело. Что бы вы ни сделали, грабительницей вы не окажетесь. Ни один вор не сумеет эксплуатировать железную дорогу в этой части страны. Что бы вы там ни сделали, вы заслужили эту работу. А блохи, подобные вашему брату, не в счет. Теперь все зависит от вас.

Дагни смотрела на него, не понимая, что именно сокрушило человека такого масштаба; она могла только уверенно сказать, что не Джеймс Таггерт.

Она заметила на себе взгляд Конвея, полный невысказанного вопроса. Потом он улыбнулся, и, не веря себе самой, она заметила в этой улыбке печаль и жалость.

– Только не надо жалеть меня, – сказал он. – Мне кажется, что из нас двоих вас ожидает более тяжелое время. И я думаю, вам удастся преодолеть его с куда большими потерями, чем мне.

* * *

В тот же день она позвонила на завод и договорилась о встрече с Хэнком Риарденом. Дагни только что положила трубку и согнулась над разложенными на ее столе картами линии Рио-Норте, когда дверь в кабинет открылась. Она с удивлением подняла глаза: дверь в ее кабинет обыкновенно не открывали без предупреждения.

В двери появился незнакомец, молодой, высокий и отчасти даже опасный, хотя чем именно, сказать она не могла, потому что в этом человеке сразу же бросалось в глаза граничащее с надменностью умение владеть собой. Темноглазый и лохматый, он носил дорогой костюм, но так, словно бы не замечал или не придавал значения своему облику.

– Эллис Уайэтт, – представился он.

Дагни невольно вскочила на ноги. Теперь она поняла, почему его не задержали – да и не могли задержать – в приемной.

– Присаживайтесь, мистер Уайэтт, – проговорила она с вежливой улыбкой.

– Это излишне, – он не улыбнулся в ответ. – Я не веду продолжительных переговоров.

Нарочито медленно она опустилась в кресло и откинулась назад, не сводя с вошедшего взгляда.

– Итак? – спросила она.

– Я пришел к вам, потому что, насколько я понимаю, в этой гнилой конторе кроме вас не найдется ни одного наделенного мозгами человека.

– Что я могу сделать для вас?

– Выслушать ультиматум, – произнес он, четко выговаривая каждый слог. – Я рассчитываю на то, что через девять месяцев «*Таггерт Трансконтинентал*» начнет работать в Колорадо так, как этого требует мой бизнес. Если та жульническая афера, которую ваши люди провернули с «*Феникс-Дуранго*», была предпринята ради того, чтобы избавить себя от необходимости работать, я хочу вас известить о том, что со мной этот фокус не пройдет. Я не стал заваливать вас претензиями, когда вы не смогли обслужить меня так, как мне необходимо. Я нашел человека, который смог это сделать. Теперь вы пытаетесь заставить меня иметь дело с вами. Вы рассчитываете диктовать, не оставив мне другого выхода. Вы рассчитываете, что я снижу

свою деловую активность в соответствии с присущим вам уровнем некомпетентности. И я хочу сказать, что такие надежды напрасны.

Она неторопливо, с усилием проговорила:

– Не хотите ли вы услышать от меня, что я намереваюсь сделать с нашей линией в Колорадо?

– Нет. Намерения и обсуждения меня не интересуют. Мне нужны перевозки. Что вы будете делать для их обеспечения и как вы будете производить их – дело ваше. Я просто предупреждаю вас. Те, кто хотят иметь дело со мной, будут работать на моих условиях и только. Я не договариваюсь с бестолочами. Если вы надеетесь заработать на перевозке моей нефти, то должны разбираться в своем деле не хуже, чем я в своем. Это понятно?

Дагни негромко ответила:

– Я понимаю вас.

– Я не стану тратить свое время на доказательства, вам следует и без них воспринять мой ультиматум серьезно. Если у вас хватает интеллекта поддерживать в работоспособном состоянии эту прогнившую организацию, вы вполне способны это понять. Вы не хуже меня понимаете, что если «*Таггерт Трансконтинентал*» будет обслуживать свою линию в Колорадо так, как вы это делали пять лет назад, то я разорен. И я знаю, что именно этого вы и добиваетесь. Вы намереваетесь, насколько это будет возможно, кормиться за мой счет, а после, когда прикончите меня, подыскать еще кого-нибудь. Такой линии придерживается большая часть нынешнего человечества. Итак, вот мой ультиматум: теперь вы получили возможность разорить меня, быть может, мне придется уйти; но если это случится, знайте: я заберу всех вас с собой.

В глубине души Дагни, под немотой, удерживавшей ее на месте под ударами этого кнута, таилась острая боль, жгучая боль, подобная боли от ожога. Ей хотелось рассказать этому человеку о годах, потраченных ею на поиски людей, с которыми можно было бы работать так, как с ним; ей хотелось рассказать ему, что его враги являются и ее врагами, что она ведет ту же битву. Ей хотелось выкрикнуть: «Я не такая, как они!» Однако она понимала, что не вправе поступить так. На ней лежала ответственность за «*Таггерт Трансконтинентал*» и за все, что совершалось от имени компании, – у нее не было права на оправдания.

Сидя прямо, глядя ему в глаза, она ответила ровным тоном:

– Вы получите нужный вам объем перевозок, мистер Уайэтт.

По лицу его пробежало легкое удивление: такого прямого ответа он не ожидал. Быть может, его удивило не то, что она сказала, а то, что она не стала искать оправданий и извинений. Какое-то мгновение Уайэтт молча изучал ее. А потом проговорил уже не столь резким тоном:

– Хорошо. Благодарю вас. До свидания.

Дагни наклонила голову. Ответив ей легким поклоном, Уайэтт покинул кабинет.

* * *

– Такие вот дела, Хэнк. Я разработала почти невероятный план завершения реконструкции линии Рио-Норте за двенадцать месяцев. Теперь мне придется сделать это за девять месяцев. Вы должны были поставить нам рельсы за год. Можете ли вы справиться за девять месяцев? Если это в человеческих силах, сделайте. Если же нет, мне придется найти другой способ решения задачи.

Риарден сидел за столом. Холодные глаза синими горизонтальными щелями прорезали вытянутые плоскости его лица; они остались столь же полузакрытыми и бесстрастными, когда он произнес без какого-либо удара: «Я сделаю это».

Дагни откинулась на спинку кресла. Короткая фраза несла в себе потрясение. У нее словно камень с души свалился: не нужно никаких дополнительных гарантий, доказательств,

вопросов, объяснений; решение сложной проблемы вполне умещалось в нескольких слогах, произнесенных мужчиной, знающим цену своему слову.

– Не надо обнаруживать свое облегчение, – он усмехнулся. – Во всяком случае, так открыто. – Узкие глаза следили за ней сквозь непроницаемую улыбку: – А то я могу подумать, что «*Таггерт Трансконтинентал*» находится в моей власти.

– Вам это и так известно.

– Известно. И я намереваюсь заставить вас заплатить за это.

– Ясное дело. Сколько же?

– Дополнительные двадцать долларов с каждой тонны, поставленной после сегодняшнего дня.

– Крутовато, Хэнк. А скидку предоставить не можете?

– Нет. И я получу то, что прошу. Ведь я мог бы запросить в два раза больше и добиться своего.

– Да, и я заплатила бы. И вы могли бы запросить столько. Но вы этого не сделаете.

– Почему же?

– Потому что вам нужно, чтобы линию Рио-Норте построили. Она послужит рекламой вашему риарден-металлу.

Тот усмехнулся:

– Вы правы. Мне нравится иметь дело с человеком, который не просит себе льгот.

– А знаете, что заставило меня ощутить облегчение, когда вы решили воспользоваться своим преимуществом?

– Что же?

– То, что я имею дело с человеком, который не станет предоставлять льготы.

Улыбка его теперь обрела более конкретный характер: она сделалась веселой:

– И вы всегда играете в открытую, не так ли?

– Я еще не замечала, чтобы вы поступали иначе.

– Мне казалось, что лишь я один могу позволить себе это.

– В этом смысле я еще не настолько обеднела, Хэнк.

– Полагаю, что однажды я сумею разорить вас.

– Почему?

– Мне всегда хотелось это сделать.

– Разве вокруг вас недостаточно трюсов?

– Эта мысль мне потому так и приятна, что вы являетесь единственным исключением.

Итак, вы считаете справедливым мое желание выжать всю возможную прибыль из вашего затруднительного положения?

– Конечно. Я не дура. И не считаю, что вы занимаетесь своим делом исключительно ради меня.

– А вам хотелось бы, чтобы дело обстояло так?

– Я не попрошайка, Хэнк.

– А вам не будет, хм... затруднительно заплатить подобную сумму?

– Это уже моя проблема, а не ваша. Мне нужны эти рельсы.

– При двадцати лишних долларах за тонну?

– Идет, Хэнк.

– Отлично. Вы получите рельсы. А я могу получить свою сверхприбыль, если только «*Таггерт Трансконтинентал*» не лопнет прежде, чем вы переведете мне деньги.

Дагни ответила без улыбки:

– Если я не сумею завершить перестройку линии за девять месяцев, «*Таггерт Трансконтинентал*» разорится.

– Не разорится, пока у руля остаетесь вы.

Он не улыбнулся, и лицо его осталось бесстрастным, живыми казались только глаза, в которых сверкала холодная, алмазная чистота *восприятия*. Однако какие именно чувства рождали в нем *воспринятые* им вещи, знать не было дано никому, может быть, и ему самому, подумала она.

– Они постарались по возможности усложнить вашу задачу, не так ли? – спросил он.

– Да, я рассчитывала на Колорадо, чтобы спасти всю сеть компании «*Таггерт*». А теперь я должна спасать Колорадо. Через девять месяцев Дэн Конвей закроет свою дорогу. Если моя не окажется готовой к этому времени, достраивать ее не будет никакого смысла. Этих людей нельзя оставить без транспорта ни на один день, не говоря уже о неделе или месяце. При скорости их роста эту компанию нельзя остановить, а потом предположить, что они сумеют продолжить дело. Это все равно как рвануть все тормоза на тепловозе, едущем со скоростью двести миль в час.

– Понятно.

– Я могу управлять хорошей дорогой. Но я не могу провести ее по континенту, заполненному издолщиками, у которых не хватает ума вырастить себе достаточно репы. Мне нужны люди, подобные Эллису Уайэтту, которые производят то, чем можно загрузить мои поезда. И потому я обязана через девять месяцев предоставить ему поезда и колею, даже если для этого мне придется положить под рельсы всех нас!

Он не без удивления улыбнулся:

– А вы настроены весьма решительно, не так ли?

– А вы?

Риарден не ответил, однако улыбка не исчезла с его лица.

– А вас это не волнует? – спросила она едва ли не с гневом.

– Нет.

– Неужели вы не понимаете, что это будет означать?

– Я понимаю, что должен прокатать рельсы, а вы должны положить их в колею за девять месяцев.

Она улыбнулась – с легкой усталостью и ощущением доли собственной вины:

– Да. Мы сделаем это. Я понимаю, что бесполезно сердиться на таких людей, как Джим и его приятели. На это у нас нет времени. В первую очередь я должна ликвидировать плоды их стараний. А потом... – она смолкла, задумалась, тряхнула головой и пожала плечами, – ... а потом они не будут иметь никакого значения.

– Правильно. Не будут. Когда я услышал об этом собачьем правиле, меня чуть не стошнило. Однако эти сукины дети не достойны внимания.

Последнее предложение прозвучало особенно эмоционально, хотя лицо его и голос оставались спокойными.

– Мы с вами всегда останемся на своем месте и сумеем спасти страну от любых последствий их деятельности, – поднявшись с места, он принялся расхаживать по кабинету. – Развитие Колорадо нельзя останавливать. Вы должны вытянуть этот штат. Тогда вернется Дэн Конвей, а с ним и остальные. Все это безумие имеет временный характер. Оно не может затянуться надолго. Тот, у кого нет ума, терпит поражение от собственных рук. Просто нам с вами придется чуточку усерднее поработать, только и всего.

Дагни следила за его высокой фигурой, расхаживавшей по кабинету. Обстановка была ему под стать: лишь необходимая для дела мебель, до предела деловая в своем предназначении, и чрезвычайно дорогая с точки зрения материалов и искусной конструкции.

Комната эта напоминала мотор, уместившийся в стеклянной коробке широких окон. Удивляла одна только деталь: резная ваза из яшмы, стоявшая наверху шкафа с папками дел. Простые поверхности темно-зеленого камня, плавные изгибы слоев рождали непреодолимое

желание потрогать вазу. И рождаемая этим чувственность явно шла в разрез со строгостью прочей обстановки.

– Колорадо – великий край, – заметил Риарден. – Скоро он станет лучшим в стране. Вы еще не поняли, что его процветание заботит меня? Этот штат становится в один ряд с самыми крупными моими покупателями, о чем вы можете узнать, ознакомившись с отчетами о грузоперевозках.

– Мне это известно. Я читала их.

– Я подумываю о том, что через несколько лет можно будет построить там завод, чтобы избавиться от расходов на транспортировку, – он искоса поглядел на нее: – В таком случае вы потеряете внушительную долю заказов на перевозку стали.

– Действуйте. Мне хватит перевозок сырья, товаров для ваших рабочих, продукции тех фабрик, которые последуют туда за вами... Возможно, я даже не успею заметить, что мне не нужно возить вашу сталь... Почему вы смеетесь?

– Это чудесно.

– Что чудесно?

– То, что вы реагируете на мои слова не так, как это принято сегодня.

– И все же я вынуждена признать, что в настоящее время вы являетесь наиболее важным и крупным клиентом «*Таггерт Трансконтинентал*».

– Неужели вы думаете, что мне это неизвестно?

– И поэтому я не могу понять, почему Джим... – Дагни умолкла.

– ...изо всех сил старается навредить мне? Потому что он глуп.

– Это так. Но дело не только в этом. За его поведением кроется нечто большее, чем простая глупость.

– Не надо тратить времени понапрасну, пытаясь разгадать это. Пусть себе злопыхательствует. Он никому не опасен. Такие люди, как Джим Таггерт, – всего лишь сор на улицах этого мира.

– Увы, да.

– Кстати, что бы вы сделали, если бы я сказал, что не смогу поставить вам рельсы раньше срока?

– Я разобрала бы запасные пути или закрыла бы какую-нибудь ветку и использовала бы рельсы для того, чтобы вовремя завершить линию Рио-Норте.

Риарден усмехнулся:

– Вот поэтому-то участь «*Таггерт Трансконтинентал*» не беспокоит меня. Однако вам не придется разбирать на рельсы запасные пути. Пока я еще не оставил свое дело.

Дагни вдруг подумала, что лицо Риардена напрасно показалось ей бесстрастным: пожалуй, это было лишь манерой скрывать удовольствие. Она вдруг поняла, что всегда ощущала в его присутствии свободу и легкость, и что он разделял это чувство. Среди всех своих знакомых только с этим мужчиной она могла говорить непринужденно, без напряжения. В нем она видела достойный уважения ум и соперника, с которым стоило считаться. Тем не менее их всегда разделяло некоторое расстояние, закрытая дверь; Риарден неизменно держался отстраненно, она не могла приблизиться к нему.

Остановившись возле окна, он на мгновение посмотрел наружу.

– А вы знаете, что сегодня мы отгружаем вам первую партию рельсов? – спросил он.

– Конечно, знаю.

– Подойдите сюда.

Она приблизилась к нему. Риарден молча указал на далекую цепочку платформ, ожидавшую на железнодорожном пути.

Небо над вагонами перерезал мостовой кран. Он двигался. Огромным магнитом он удерживал груз – рельсы. Сквозь серое небо не пробивалось и лучика солнца, однако рельсы

блестели, словно металл впитывал свет из пространства. Они казались зеленовато-синими. Толстенная цепь остановилась над вагоном и коротко дернулась, освободив рельсы. Кран с величественным безразличием пополз назад, напоминая собой огромный чертеж геометрической теоремы, движущийся над людьми и землей.

Стоя возле окна, они наблюдали безмолвно и внимательно. Дагни молчала до тех пор, пока новая партия сине-зеленого металла не поползла по небу. И потом только проговорила – не о рельсах, будущей колее или завершенных вовремя поставках. Слова эти прозвучали приветствием нового явления природы:

– Риарден-металл...

Он это заметил, но ничего не сказал. Поглядев на нее, Риарден вновь отвернулся к окну.

– Хэнк, это великое дело.

– Да, – согласился он, открыто и просто. В голосе его не было ни удовлетворенного самодобия, ни скромности. И в этом, понимала она, состоял его долг перед ней, редчайшее право среди тех, что выпадает на долю человека: право признать собственное величие, зная, что тебя поймут правильно.

Дагни произнесла:

– Когда я думаю о том, на что способен этот металл, как много можно будет сделать с его помощью... Хэнк, мы видим сейчас самое важное из всего происходящего сегодня в мире, и никто этого не знает.

– Это известно нам.

Они не смотрели друг на друга. Оба молча следили за краном. Спереди на далеком тепловозе она могла различить две буквы: *ТТ*. Под ними находились пути самой загруженной из промышленных веток сети компании «Тагтерт».

– Как только я найду завод, способный на выполнение такого задания, – проговорила она, – я закажу там дизеля из риарден-металла.

– Вам они потребуются. Как быстро ходят ваши поезда на линии Рио-Норте?

– Сейчас? Мы считаем удачей, когда им удастся выжать двадцать миль в час.

Риарден показал на рельсы:

– Когда они лягут в колею, при желании вы сможете пускать поезда со скоростью двести пятьдесят миль в час.

– Так и будет через несколько лет, когда мы получим вагоны из риарден-металла, в два раза более легкие и прочные, чем стальные.

– Вам нужно будет заняться и авиацией. Мы работаем над самолетом из риарден-металла. Машина будет практически невесомой и сможет поднять все, что угодно. Впереди – время дальних грузовых воздушных перевозок.

– Я думаю о том, чем станет этот металл для двигателей, любых двигателей, и что можно сделать из него уже сейчас.

– А вы не думали, какую сетку для оград можно будет из него делать? Простейший забор из риарден-металла обойдется в несколько центов за милю и простоит две сотни лет. И еще про кухонную утварь, которую можно будет купить в грошовой лавчонке и передавать из поколения в поколение. И про океанские лайнеры, на которых ни одна торпеда не оставит даже вмятины.

– А я не рассказывал про эксперименты с проводными сетями из моего металла? Я провожу столько испытаний, что мне никак не удастся исчерпывающим образом показать людям, что и как можно сделать из него.

Они разговаривали о металле и его неистощимых возможностях. Казалось, оба они стояли на вершине горы, от которой во все стороны по беспредельной равнине разбегались пути. Однако речь шла только о цифрах: весах, давлениях, сопротивлении, ценах.

Дагни забыла и о своем брате, и о его Национальном альянсе. Она забыла обо всех своих проблемах, о связанных с ними людях и событиях; впрочем, они всегда не имели для нее первостепенной роли, мимо них можно было пройти, отодвинуть на второй план; они никогда не обретали окончательных, реальных очертаний. Такова на самом деле реальность, думала она, это ощущение четких очертаний, цели, легкости, надежды. Так она рассчитывала провести свою жизнь – чтобы в ней не было ни одного часа или поступка, наполненного меньшим содержанием.

Она обернулась к нему именно в тот самый момент, когда Риарден посмотрел на нее. Они стояли совсем рядом. Дагни читала в его глазах те же самые чувства, что переполняли и ее саму. Если счастье – действительно цель и смысл бытия, и если то, что способно принести наивысшее счастье, всегда старательно скрывается как величайшая тайна, значит, в тот миг они были нагими друг перед другом.

Риарден сделал шаг назад и с неким бесстрастным укором произнес:

– Вот так подобралась парочка негодяев, не правда ли?

– Почему это?

– У нас с вами нет никаких духовных целей и способностей. Нас интересует исключительно материальный мир. Ничто другое нас не занимает.

Не понимая, Дагни уставилась на него. Однако Риарден смотрел прямо перед собой, на далекий кран. Она пожалела о том, что он произнес эти слова. Обвинение не смущало ее, она никогда не воспринимала себя в подобных, довольно сложных для ее восприятия терминах и абсолютно не умела чувствовать за собой некую неизгладимую вину. И все же Дагни ощущала легкое смущение, причин которого не могла определить, она чувствовала в словах Риардена намек на серьезные последствия, даже опасность для него самого. Он произнес эти слова не просто так. Но в голосе его не было эмоций, не было мольбы о прощении или стыда. Он произнес эту фразу без интонации, просто констатируя факт.

Она смотрела на Риардена, и внезапное смятение понемногу утихло. Он смотрел из окна на свой завод; в лице его не было ни вины, ни сомнения – ничего, кроме нерушимой уверенности в себе.

– Дагни, – проговорил Риарден, – кем бы мы ни были, мы движем миром, и нам вести его вперед.

ГЛАВА V. ВЕРШИНА РОДА Д'АНКОНИЯ

Первым делом она заметила газету, зажатую в руке Эдди, появившегося в ее кабинете. Она посмотрела на него: лицо Эдди было напряженным и взволнованным.

– Дагни, ты очень занята?

– А что?

– Я знаю, что ты не любишь говорить о нем. Но кое-что тебе, по-моему, нужно просмотреть.

Она безмолвно протянула руку к газете.

Опубликованная на первой странице статья повествовала о том, что, взяв под свой контроль рудники Сан-Себастьян, правительство Мексиканской Народной Республики обнаружило, что цена им грош. Ничто не могло оправдать пять лет работы и потраченные миллионы – ничто, кроме трудолюбиво вскрытых разрезов. Скудные следы меди никак не стоили трудов, затраченных на их извлечение. Не существовало не только огромного месторождения, но даже каких-либо его признаков, способных ввести в заблуждение. Правительство Мексики собралось на экстренное заседание, пребывая в состоянии возмущения; государственные деятели считали себя обманутыми.

Не сводивший с нее глаз Эдди заметил, что Дагни продолжает смотреть на газету, даже закончив чтение. И понял, что испытывает вполне оправданный, хотя и не слишком понятный страх.

Он ждал. Дагни подняла голову. Она смотрела не на него. Глаза ее были устремлены вдаль, и предельно сконцентрированный взгляд пытался разглядеть нечто неведомое.

Он негромко проговорил:

– Франсиско не дурак. Кем бы ни был он по своей сути, в какие бы пороки ни погружался, – а причина этого мне по-прежнему неясна, – он не дурак. Он просто не мог сделать такую ошибку. Я просто ничего не понимаю.

– А я начинаю понимать.

Дагни распрямилась – резко, судорожно, как пружина:

– Позвони этому сукину сыну в «Уэйн-Фолкленд» и скажи, что я хочу его видеть.

– Дагни, – проговорил он с мягкой укоризной, – это же Фриско д'Анкония.

– Был когда-то.

* * *

Сквозь ранние сумерки она шла к отелю «Уэйн-Фолкленд».

– Он говорит, в любое время, когда тебе угодно, – сказал ей Эдди. В нескольких окнах под самыми облаками уже загорались первые огни.

Небоскребы казались заброшенными маяками, рассылавшими слабые, гаснущие сигналы в пустынное море, в котором нет кораблей.

Редкие снежные хлопья неторопливо падали мимо темных витрин опустевших магазинов, чтобы растаять на тротуаре. Цепочка красных фонариков пересекала улицу, растворяясь в туманной дали.

Дагни не могла понять, почему ей хотелось побегать, почему она должна была бежать; нет, не по этой улице, вниз по освещенному ослепительным солнцем зеленому склону к берегу Гудзона от особняка Таггертов. Так она всегда бегала, услышав от Эдди:

– Это Фриско д'Анкония! – И они оба бросались навстречу ехавшей вдоль реки машине.

Он был единственным гостем их детства, чье прибытие превращалось в праздник, становилось огромным событием. Этот бег навстречу ему превращался в соревнование между

ними троими. На склоне, на половине расстояния между дорогой и домом, росла береза; Дагни и Эдди пытались пробежать мимо дерева раньше, чем Франсиско успеет подняться к нему от дороги. И во все его многочисленные приезды, во все годы они ни разу не успевали первыми к березе; Франсиско оказывался около нее раньше них. Франсиско побеждал всегда. Всегда и во всем.

Родители его издавна дружили с семейством Таггертов. Он был их единственным сыном, и они воспитывали его в самых разных уголках земли; говорили, что отец его стремился этим приучить сына относиться к миру как к своему будущему владению.

Дагни и Эдди никогда не могли сказать заранее, где Франсиско будет проводить зиму; раз в году, летом, строгий южно-американский гувернер привозил мальчика на месяц в поместье Таггертов.

Франсиско находил вполне естественным для себя общение с детьми Таггертов: они были наследными принцами *«Таггерт Трансконтинентал»*, как и он был наследником *«Д'Анкония Коннер»*.

– Мы – единственная оставшаяся в мире аристократия, финансовая аристократия, – сказал он однажды Дагни в возрасте четырнадцати лет. – Единственная подлинная аристократия для тех, конечно, кто может понять, что это означает.

У него была собственная кастовая система: с точки зрения Фриско, детьми Таггертов были не Джим и Дагни, а Дагни и Эдди. Он редко замечал существование Джима. Эдди однажды спросил его:

– Франсиско, ты ведь принадлежишь к высшей знати, не так ли?

Тот ответил:

– Пока еще нет. Мой род сумел просуществовать так долго лишь потому, что ни одному из нас не было позволено думать, что он рожден д'Анкония. Все мы должны были заслужить свое имя.

И имя это он произносил так, как будто одни звуки его могли сделать собеседника дворянином.

Себастьян д'Анкония, его предок, покинул Испанию много веков назад, в те времена, когда страна эта была самой могущественной на свете, а он принадлежал к одному из самых гордых родов ее. Он покинул родину, потому что глава инквизиции не одобрял его манеру мышления и на одном из придворных пиршеств порекомендовал переменить образ мыслей. Себастьян д'Анкония выплеснул ему в лицо содержимое бокала и бежал из дворца, прежде чем его успели схватить. Оставив состояние, поместья, мраморный дворец и любимую девушку, он отплыл в Новый Свет.

Первым его поместьем в Аргентине стала деревянная хижина у подножья Анд. Солнце лучом маяка отражалось от серебряного герба рода д'Анкония, прибитого над дверью хижины, в то время как Себастьян д'Анкония искал медное месторождение своего первого рудника. Он провел годы с киркой в руке, ломая камень от рассвета до заката с помощью нескольких изгоев – дезертиров, оставивших армию соотечественников, беглых преступников, голодных индейцев.

Через пятнадцать лет после того, как он оставил Испанию, Себастьян д'Анкония послал на родину за своей любимой: она ждала его. Явившись к подножию Анд, она обнаружила серебряный герб над входом в окруженный садами мраморный дворец; вдали маячили горы, изрытые ямами, из которых извлекали красную руду. Через порог своего дома он перенес ее на руках. Себастьян показался ей даже моложе, чем во время их последней встречи.

– Наши предки, – однажды сказал Франсиско Дагни, – наверняка подружились бы.

Все свое детство Дагни обитала в будущем – в мире, который ожидала найти, где ей не придется скучать или ощущать презрение. Но один месяц в году она была свободной. Этот

единственный месяц она могла провести в настоящем. И, бросаясь вниз по склону холма навстречу Франсиско д'Анкония, она вырывалась из тюрьмы.

– Привет, Чушка!

– Привет, Фриско!

Прозвища не пришлись по вкусу обоим. Она недовольным тоном спросила:

– Что ты, собственно, имеешь в виду?

Он ответил:

– На тот случай, если ты не знаешь, «чушкой» называется раскаленный слиток металла.

– Откуда ты взял это слово?

– Я услышал его от джентльмена на таггеровской железке.

Франсиско владел пятью языками и разговаривал по-английски без тени акцента, преднамеренно подмешивая простонародные словечки к рафинированной лексике. Она отомстила ему прозвищем «Фриско». Он не без досады рассмеялся:

– Если вам, варварам, так уж нужно опорочить имя своего великого города, присвоив его мне, вы не добьетесь своей цели.

Однако оба постепенно привыкли к этим прозвищам.

Это началось на второе проведенное ими вместе лето, когда ему было двенадцать, а ей десять. В тот год Франсиско начал невесть где пропадать по утрам. Еще до рассвета он уезжал на своем велосипеде и возвращался как раз к накрытому на террасе для ланча белому, в хрустале, столу, всегда подчеркнуто вежливый и совершенно невозмутимый. На все расспросы Дагни и Эдди он отвечал смехом. Однажды в еще предутренних прохладных сумерках они попытались выследить его, но скоро сдались: никто не мог увязаться за Франсиско, если тот не хотел этого сам.

Спустя некоторое время миссис Таггерт по-настоящему обеспокоилась и провела расследование. Она так и не узнала, каким образом ему удалось обойти законы, запрещающие использовать детский труд, однако обнаружила, что Франсиско работает – по неофициальной договоренности с диспетчером – посыльным местного управления «*Таггерт Трансконтинентал*», расположенного в десяти милях от их летнего дома. Личный визит миссис Таггерт потряс диспетчера: он не имел ни малейшего представления о том, что его посыльный гостит в доме Таггеров. Железнодорожники звали мальчика Фрэнки, и миссис Таггерт предпочла не открывать им его подлинное имя. Она просто объяснила, что он устроился на работу без разрешения родителей, а потому должен быть немедленно уволен. Диспетчеру было жаль терять расторопного сотрудника; он сказал, что такого посыльного, как Фрэнки, у него не было никогда.

– Мне не хотелось бы расставаться с ним. Может, мне удастся договориться с его родителями? – предположил он.

– Боюсь, что нет, – слабым голосом молвила миссис Таггерт.

– Франсиско, – спросила она, вернувшись домой вместе с мальчиком, – что скажет твой отец, если узнает об этом?

– Он спросит, справлялся я с работой или нет. Ничто другое его не интересует.

– Не надо, я серьезно спрашиваю.

Франсиско смотрел на нее со всей вежливостью, унаследованной им от многих поколений предков, воспитанных в салонах и гостиных, однако в выражении его глаз было нечто, абсолютно не имевшее отношение к хорошему тону.

– Прошлой зимой, – ответил он, – я устроился юнгой на пароход, перевозящий медь нашей фирмы. Отец разыскивал меня три месяца, но когда я вернулся, спросил только об этом.

– Так вот каким, значит, образом ты проводишь зимы? – спросил Джим Таггерт. К улыбке его примешивалась нотка триумфа, личной победы, позволяющей ощутить свое превосходство.

– Это было прошлой зимой, – самым милым образом ответил Франсиско, не меняя невинного и непринужденного тона. – Предыдущую зиму я провел в Мадриде, в доме герцога Альбы.

– А почему ты захотел работать на железной дороге? – спросила Дагни.

Они смотрели друг на друга: взгляд ее был полон восхищения, а в его глазах читалась насмешка, не злобная, скорее, веселая, как приветствие.

– Чтобы узнать, на что это похоже, – ответил он, – и чтобы иметь потом возможность сказать, что я успел поработать на «*Таггерт Трансконтинентал*» еще до того, как это удалось сделать тебе.

Дагни и Эдди тратили свои зимы на приобретение нового умения, чтобы удивить им Франсиско и хотя бы однажды победить его. Им так и не удалось это сделать. Когда они показали ему, как надо ударять битой по мячу – Франсиско никогда еще не играл в бейсбол – некоторое время понаблюдав за ними, он сказал:

– Ну, кажется, понял. Дайте попробовать.

И, взяв биты, послал мяч за рядок дубков, росших в конце площадки.

Когда Джиму подарили на день рождения моторную лодку, все они выстроились на причале, следя за инструктором, показывавшим, как надо управлять ею. Никому из них еще не приходилось управлять моторкой. Ослепительно белое, очертаниями похожее на пулю суденышко, раскачиваясь, двигалось по воде, оставляя за собой вялую волну; мотор неровно пыхтел, задыхаясь, а сидевший возле Джима инструктор то и дело выхватывал руль из его рук. Вдруг повернув голову к Франсиско, Джим крикнул:

– Будешь говорить, что справишься лучше?

– Буду.

– Тогда попробуй!

Когда лодка причалила к пристани и Джим с инструктором вышли на настил, Франсиско сел за руль.

– Минуточку, – обратился он к инструктору, остававшемуся на причале. – Позвольте мне разобраться с управлением.

И тут же, хотя инструктор еще не получил даже возможности шевельнуться, лодка стрелой помчалась к середине реки, словно выпущенная из ружья. Они даже не успели ничего понять. Пока удалявшееся суденышко растворялось в солнечном свете, Дагни успела представить себе три оси координат: оставленный след на воде, протяжный гул мотора и избранное направление.

Она отметила странное выражение на лице отца, наблюдавшего за тем, как исчезала вдали моторка. Он не говорил ничего – просто смотрел. Она вспомнила, что уже видела такое выражение на его лице, когда он рассматривал сложную систему блоков, сооруженную Франсиско в возрасте двенадцати лет, чтобы подниматься на вершину скалы; он учил Дагни и Эдди нырять оттуда в Гудзон. Вокруг на земле валялись листки с вычислениями Франсиско; пододбрав, отец просмотрел их и спросил:

– Франсиско, сколько лет ты изучал алгебру?

– Два года.

– А кто научил тебя всему этому?

– О, это я прикинул самостоятельно.

Дагни не знала, что на смятых листках, остававшихся в руке отца, записано самостоятельно изобретенное дифференциальное уравнение.

Наследниками Себастьяна д'Анкония всегда были старшие сыновья, которые умели с честью носить имя своего рода. Согласно семейной традиции считалось, что род может опозорить только человек, после кончины которого семейное состояние останется таким, каким было, когда он принимал его из рук отца. Сменялись поколения, однако о подобном позоре

не могло быть и речи. Аргентинская легенда утверждала, что рука д'Анкония столь же чудотворна, как и рука святого, если речь идет не об исцелении, а об умении производить.

Все д'Анкония обладали необычайными способностями, но никто из них не мог бы соперничать с тем, чем обещал стать Франсиско. Похоже было, что века процедили семейные качества сквозь частое сито, пропустив ненужное, незначительное, слабое и оставив только чистые дарования; словно бы случай в порядке каприза очистил его существо от всего мелкого, от всяких инородных примесей.

Франсиско мог взяться за любое дело и выполнить его; он умел сделать это лучше, чем кто-либо другой, причем без малейших усилий. Однако и в манерах его, и в образе мыслей просто не было места сравнению. Его позицию можно было изложить следующими словами: «я могу сделать это», а не «я могу сделать это лучше тебя».

И если он что-то делал, то качество всегда оказывалось безукоризненным.

Какую бы дисциплину ни предстояло ему изучить согласно исчерпывающему плану отца, за какой бы предмет ему ни приходилось браться, Франсиско справлялся с ними непринужденно и без усилий. Его отец обожал сына, но старательно скрывал свои чувства, как прятал и гордость за то, что ему выпало воспитывать наиболее блестящего представителя и без того ослепительной семьи.

Во Франсиско многие видели вершину рода д'Анкония.

– Не знаю, какой девиз выбит на семейном гербе д'Анкония, – сказала однажды миссис Таггерт, – но я не сомневаюсь, что Франсиско сменит его на простое «Зачем?».

Именно этим вопросом он всегда отвечал на любое предложение – и ничто не могло заставить его даже пальцем шевельнуть, пока он не находил разумной причины. В тот месяц своего летнего отдыха Франсиско носился как ракета, однако когда удавалось остановить его на середине полета, всякий раз оказывалось, что он способен назвать цель любого отдельно взятого мгновения. Две вещи были равно невозможны для него: замереть на месте и двигаться без цели.

– Давайте узнаем, – так звучал для Дагни и Эдди мотив очередного его предприятия, или он говорил: – Давайте сделаем.

Других форм развлечения он не признавал.

– Я могу сделать это, – говорил он при сооружении своего подъемника, привалившись к скале и загоняя в нее металлические клинья; в движениях его рук угадывалась уверенность мастера, никем не замеченные капли крови сочились из-под повязки на запястье. – Нет, Эдди, мы не можем меняться, ты еще недостаточно вырос, чтобы справляться с молотом. Лучше обломай эти ветки, чтобы я мог лучше видеть скалу, я сам сделаю все остальное... Какая кровь? Ах, это? Ничего, просто порезался вчера. Дагни, сбегай домой и принеси мне чистый бинт.

Джим наблюдал за ними. Они оставляли его в одиночестве, но часто замечали стоящим поодаль и вглядывавшимся во Франсиско с особенным, странным вниманием.

Он редко открывал рот в присутствии Франсиско. Однако потом принимался с возмущенной улыбкой распекал Дагни:

– Нечего воображать, прикидываться самостоятельной железной леди, этакой себе на уме! Ты просто бесхребетная тряпка, и только. Отвратительно видеть, как ты позволяешь помыкать собой этому надменному прохвосту. Он может обвести тебя вокруг пальца. У тебя нет никакой гордости. Стоит ему только свистнуть, как ты уже мчишься прислуживать ему! И почему ты еще ботинки ему не чистишь?

– Потому что он не приказывал, – отвечала она.

Франсиско мог выиграть в любой игре, мог победить в любом соревновании. Но он никогда не участвовал в них. Он мог бы командовать молодежным загородным клубом. Он и близко не подходил к его зданию, игнорируя все попытки залучить к себе самого знаменитого в мире наследника. Единственными друзьями его были Дагни и Эдди. Они не могли понять, кто кому

принадлежит: они ему или он им. Разницы не было никакой: и в том, и в другом случае они были счастливы.

Каждое утро вся троица отправлялась на поиски каких-нибудь особенных приключений. Однажды пожилой профессор, преподававший литературу, приятель миссис Таггерт, заметил их на груде металлолома во дворе старьевщика, где они разбирали корпус автомобиля. Покачив головой, он остановился и обратился к Франсиско:

– Молодому человеку вашего общественного положения подобает проводить время в библиотеках, впитывать в себя мировую культуру.

– А чем же я сейчас занимаюсь? – ответил Франсиско.

Поблизости не было заводов, но Франсиско подговаривал Дагни и Эдди зайцами ездить на таггертовских поездах в далекие города, где они перелезали через забор на фабричный двор или липли к окнам, следя за тем, как работают станки, с той же увлеченностью, с которой другие дети смотрят кино.

– Когда я буду распоряжаться «*Таггерт Трансконтинентал*»... – говорила время от времени Дагни.

– Когда я буду командовать «*Д'Анкония Коппер*»... – откликался Франсиско. Остальное им не было нужды объяснять друг другу; каждый знал свою цель и средства добиться ее.

Время от времени их ловили железнодорожные контролеры. После этого очередной начальник станции звонил за сто миль миссис Таггерт:

– У нас находятся трое юных бродяг, уверяющих, что они...

– Да, – вздыхала миссис Таггерт, – они и есть. Пожалуйста, пришлите их домой.

– Франсиско, – спросил его однажды Эдди, когда они стояли возле путей таггертовского вокзала, – ты, наверно, успел повидать весь мир. Что важнее всего на земле?

– Вот это, – Франсиско указал на эмблему «*ТТ*», прикрепленную к паровозу. И добавил: – Мне хотелось бы повстречаться с Натом Таггертом.

Заметив на себе взгляд Дагни, он не стал продолжать. Но несколько минут спустя, когда они оказались в лесу, на темной, узкой и сырой тропке между купами папоротников, он сказал:

– Дагни, я всегда преклоняюсь перед чужим гербом. Я привык чтить знаки благородного происхождения. Разве я не аристократ? Только я гроша ломаного не дам за прошедший через десять рук замок и траченных молью единорогов. Гербы нашего времени следует искать на рекламных щитах и страницах объявлений популярных журналов.

– О чем ты? – спросил Эдди.

– О торговых марках, – ответил он.

В то лето Франсиско исполнилось пятнадцать лет.

«Когда я буду распоряжаться «*Д'Анкония Коппер*»... Я изучаю горное дело и минералогию, потому что мне нужно быть готовым к тому дню, когда я стану распоряжаться «*Д'Анкония Коппер*»... Я изучаю электродело, потому что энергетические компании являются лучшими клиентами «*Д'Анкония Коппер*»... Я намереваюсь заняться философией, потому что эти знания потребуются мне, чтобы защищать интересы «*Д'Анкония Коппер*»...»

– А тебе не случается думать о чем-то другом, кроме «*Д'Анкония Коппер*»? – спросил его однажды Джим.

– Нет.

– На мой взгляд, в мире полно всяких интересных вещей.

– Пусть об этих вещах думают другие люди.

– А не эгоистична ли такая точка зрения?

– Эгоистична.

– И что же тебе нужно?

– Деньги.

– Разве тебе мало?

– Каждый из моих предков увеличивал объем производства «Д’Анкония Коннер» примерно на десять процентов. Я намереваюсь увеличить его в два раза.

– Зачем? – спросил Джим, ехидно имитируя интонацию Франсиско.

– После смерти я намереваюсь отправиться на небо, где бы оно ни находилось, и хочу иметь возможность заплатить за вход.

– Туда пропускают только людей добродетельных, – высокомерно заметил Джим.

– Именно об этом я и говорю, Джеймс. Поэтому-то я намереваюсь претендовать на величайшую из добродетелей и предстать там в качестве человека, который умел делать деньги.

– Деньги делать может любой жулик.

– Джеймс, однажды тебе предстоит узнать, что каждое слово имеет свой смысл.

Франсиско улыбнулся, и улыбка его была полна веселой насмешки. Глядя на Франсиско и Джима, Дагни вдруг подумала о том, какие они разные. В улыбках обоих ощущался избыток иронии. Однако Франсиско смеялся потому, что видел за повседневностью нечто более великое. Джим же смеялся потому, что не хотел, чтобы нечто великое существовало.

Эту особенность улыбки Франсиско она вновь отметила однажды ночью, когда вместе с ним и Эдди сидела возле разведенного в лесу костра. Свет пламени ограждал их неровным подвижным забором, в котором небесными звездами посверкивали кусочки недогоревших ветвей.

Ей казалось, что за оградой этой нет ничего, кроме черной пустоты, полной захватывающего дух, пугающего обещания... похожего на будущее. И все же, подумала она, будущее будет подобно улыбке Франсиско. Ключ к природе грядущих лет, некое предупреждение угадывалось в его лице, освещенном светом костра под сосновыми ветвями; и Дагни вдруг ощутила невероятное счастье, невыносимое оттого, что оно было слишком велико, и она не умела выразить его. Дагни взглянула на Эдди. Тот тоже смотрел на Франсиско, явно разделяя, хотя бы отчасти, ее чувства.

– Почему тебе нравится Франсиско? – спросила она у него через несколько недель, когда Франсиско уехал.

Эдди был явно удивлен: ему в голову не приходило, что здесь возможны какие-то вопросы. Он ответил:

– В его присутствии мне нечего опасаться.

Она проговорила:

– А мне его присутствие сулит волнение и опасность.

На следующее лето Франсиско исполнилось шестнадцать, и в этот самый день они вдвоем стояли на вершине скалы над рекой, успев разодрать шорты и рубашки во время подъема. Они смотрели вниз по течению Гудзона. Рассказывали, что в ясные дни вдалеке можно разглядеть Нью-Йорк. Однако в тот день вдали виднелось только море, порожденное тремя источниками света: реки, неба и солнца.

Наклонившись вперед, Дагни оперлась коленом о камень, пытаясь все-таки разглядеть город. Ветер трепал ее волосы, то и дело прикрывая глаза. Оглянувшись через плечо, она заметила, что Франсиско смотрит не вдаль, а на нее. Взгляд был странным, пристальным и неулыбчивым. На мгновение она застыла на месте, упираясь ладонями в скалу: его взгляд заставил осознать свою довольно неловкую позу, напомнил о порванной на плече блузке, длинных, исцарапанных, загорелых ногах. Дагни порывисто выпрямилась и отодвинулась от Франсиско. Откинув голову назад, она посмотрела ему прямо в глаза – полные, как ей казалось тогда, осуждения и враждебности – и совершенно неожиданно для самой себя с кокетливым весельем спросила:

– Что же во мне так тебе понравилось?

Он рассмеялся; она же не знала, куда деваться от смущения – настолько нелепо прозвучал ее вопрос.

– Вот что мне нравится в тебе, – ответил он, указывая на железнодорожную колею, блестящую на солнце возле далекой станции линии «*Таггерт*».

– Она не моя, – с разочарованием вздохнула Дагни.

– Да, но будет твоей. Это-то мне и нравится.

Она улыбнулась, признавая его очередную победу. Дагни не понимала, почему он смотрит на нее столь странно, но какое-то десятое чувство подсказывало ей, что он нащупал некую, неясную пока для нее связь между ней и ее будущей способностью управлять этими рельсами.

Он отрывисто проговорил:

– Давай посмотрим, не виден ли отсюда Нью-Йорк, – и дернул за руку, пододвигая к краю утеса. Она подумала, что рука ее изогнулась случайно, сама собой, и прижалась к его боку; они стояли совсем рядом, и она ощущала своей ногой солнечное тепло его ноги. Они вглядывались вдаль, но так и не заметили ничего, кроме светлой дымки.

Когда Франсиско в то лето уехал, она подумала, что отъезд его подобен пересечению границы, за которой осталось его детство: осенью он поступал в колледж. В следующем году должна была прийти ее очередь. Она ощущала легкое нетерпение, к которому примешивался страх, как будто ее другу предстояло погрузиться в неизвестное. Мгновение напоминало давнишнее чувство, когда несколько лет назад она смотрела, как Франсиско первым прыгал со скалы в черную воду Гудзона, и знала, что он вот-вот вынырнет и настанет ее очередь.

Она отбросила страх. Опасности, с точки зрения Франсиско, всего лишь предоставляли еще одну возможность отличиться; ибо не было сражения, которое он мог проиграть, не было и врага, способного его победить. А потом она вспомнила реплику, которую слышала несколько лет назад. Фраза оказалась настолько странной, что слова запали в память, несмотря на то, что тогда она посчитала их бессмысленными. Произнес их старый профессор математики, друг ее отца, единственный раз посетивший их загородный дом. Дагни понравилось его лицо, и в тот вечер, на террасе, она заметила в его глазах особенную печаль, когда, указав на фигуру прогуливавшегося в саду Франсиско, профессор сказал:

– Какой ранимый мальчик. Как он нуждается в счастье. Что будет он делать в мире, где оно гостит так редко?

Франсиско пошел учиться в знаменитое американское учебное заведение, которое его отец уже давно выбрал для сына. Это был самый прославленный Кливлендский университет имени Патрика Генри.

В ту зиму он не приезжал к ним в гости в Нью-Йорк, хотя для этого нужно было ехать всего только одну ночь. Они не переписывались, такого у них в обычае не было. Однако Дагни знала, что летом он на месяц приедет к ним.

Той зимой на нее несколько раз накатывало неопределенное смятение: слова профессора все приходили на память в виде предупреждения, смысла которого она не могла понять. Она гнала их. И думая о Франсиско, чувствовала крепнущую уверенность в том, что получит еще один месяц в качестве аванса на будущее, доказательства того, что ожидавший ее мир реален, пусть этот мир и не принадлежит тем, кто окружает ее.

– Привет, Чушка!

– Привет, Фриско!

Стоя на склоне холма, снова заведя его внизу, она вдруг поняла природу мира, который соединял их двоих наперекор всем остальным. Мгновение словно остановилось, она почувствовала, как хлопковая юбка полощется вокруг колен, ощутила прикосновение солнца к векам, прилив облегчения, с такой силой повлекший ее вверх, что она даже покрепче уперлась в землю сандалиями, чтобы ее, вдруг сделавшуюся невесомой, не унес ветер.

Это было внезапное чувство свободы и безопасности, потому что она поняла, что ничего не знает о его жизни, никогда не знала и не хочет знать. Мир случайностей – семейств, трапез, школ, людей, не имеющих цели, людей, влачащих груз неведомой вины, – не имел к ним отно-

шения, не мог переменить его, ничего не значил в конце концов. Они с Франсиско никогда не разговаривали о том, что происходило с ними, только о своих мыслях и о том, что будут делать... Она молча смотрела на него, словно бы внутренний голос твердил ей: «Не то, что есть, но то, что мы создадим... не остановят нас, меня и тебя... Прости мне страх, пусть я и подумала, что могу уступить тебя чему-то, прости мне сомнения, ты никогда не узнаешь о них... я никогда более не буду бояться за тебя...»

Франсиско тоже замер на мгновение, вглядываясь в нее, и ей показалось, что во взгляде его читается не просто «здравствуй», подобающее после долгой разлуки, но приветствие человека, который думал о ней каждый день всего прошедшего года. Нет, уверенности не было, ощущение это посетило ее всего на мгновение, настолько краткое, что буквально в тот же самый миг Франсиско уже повернулся к оставшейся за его спиной березе и проговорил в тоне той же детской забавы:

– И когда ты научишься бегать? Вечно приходится дожидаться тебя.

– А ты будешь ждать меня? – весело спросила она.

Франсиско ответил без тени улыбки:

– Всегда.

Пока они поднимались на холм к дому, он разговаривал с Эдди, а она молча шла рядом. Она поняла, что в отношениях между ними возникла незнакомая прежде сдержанность, странным образом превращавшаяся в близость.

Дагни не стала расспрашивать Франсиско об университете. Только через несколько дней, она спросила, нравится ли ему там.

– Сейчас там преподают уйму всякой ерунды, – ответил он, – но несколько курсов мне нравятся.

– А у тебя уже появились там друзья?

– Двое.

Ничего больше он ей говорить не стал.

Джиму предстоял последний год обучения в нью-йоркском колледже. Занятия наделили его некоей странной, даже трепетной воинственностью, словно бы он обрел новое для себя оружие. Как-то без всякого повода со стороны Франсиско Джеймс остановил его посреди лужайки и произнес тоном оскорбленного праведника:

– По-моему, теперь, когда ты достиг студенческого возраста, тебе пора научиться хотя бы каким-нибудь идеалам. Настала пора забыть об эгоизме и жадности, подумать об ответственности перед обществом, потому что, на мой взгляд, все те миллионы, которые ты унаследуешь, не могут служить для удовлетворения твоих потребностей, они доверены тебе ради неимущих и обездоленных, и человек, который не осознает это, является наиболее низменным среди всех людей.

Франсиско ответил самым любезным образом:

– Не советую тебе, Джеймс, следовать непроверенным точкам зрения. Не стоит смущать своего собеседника подобными мнениями.

Когда они отошли, Дагни спросила:

– Неужели на свете много людей, похожих на Джима?

Франсиско рассмеялся:

– Их великое множество.

– И тебе они безразличны?

– Нет. Но мне не приходится иметь с ними дело. Почему тебя это интересует?

– Потому что мне кажется, что они в известной мере опасны... не знаю чем...

– Великий Боже! Дагни, неужели ты думаешь, что я буду бояться такого субъекта, как Джеймс?

Через несколько дней, когда они вдвоем гуляли по лесу возле берега реки, она спросила:

- Франсиско, а кто среди людей является самым низменным?
- Человек, не имеющий цели.

Она посмотрела на прямые стволы деревьев, за которыми, как за оградой, пряталось огромное, ослепительное пространство. В лесу было сумрачно и прохладно, но макушки деревьев ловили отражавшиеся от воды жаркие серебряные лучи. Дагни не знала, почему ей так нравится эта картина, почему прежде она никогда не замечала местности вокруг себя, и почему теперь ей так приятно двигаться, так приятно ощущать свое тело.

Дагни не хотела смотреть на Франсиско. Присутствие его делалось несравненно более реальным, когда она прятала глаза, словно более четкое ощущение себя самой исходило от него, подобно отражавшемуся от воды свету.

- Так, значит, ты считаешь себя умной? – спросил он.
- Считаю и всегда считала, – вызывающим тоном, не поворачиваясь, бросила она.
- Что ж, представь мне доказательства этого. Покажи, насколько высоко сумеешь подняться с *«Тэггерт Трансконтинентал»*. Как бы умна ты ни была, я рассчитываю на то, что ты напряжешь все силы, чтобы достичь большего. И когда ты изнеможешь, достигнув цели, я буду ждать, что ты продолжишь восхождение к новой цели.

- Почему ты считаешь, что я захочу что-то тебе доказывать? – спросила она.
- Хочешь, чтобы я ответил?
- Нет, – прошептала она, не отводя глаз от противоположного берега реки.

Она услышала смехок Франсиско, чуть погодя он сказал:

– Дагни, в жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою работу. Ничего нет. Это самое главное. И твоя сущность проявляется именно в этом. Такова единственная мера ценности человека. И все этические принципы, которые пытаются затолкать тебе в глотку, имеют не больше цены, чем бумажные деньги, с помощью которых жулье пытается лишить людей их добродетелей. Один лишь принцип компетентности способен стать основой того морального кодекса, который можно приравнять к золотому стандарту. Ты поймешь это, когда вырастешь.

– Я и так понимаю это. Но... Франсиско, почему, кроме нас с тобой, этого никто не понимает?

- Но зачем тебе думать об остальных?
- Потому что мне нравится все понимать, а в людях есть кое-что такое, чего я не понимаю.
- Чего же?

– Ну, в школе я никогда не пользовалась популярностью, и это меня не смущало, но теперь я поняла причину. Совершенно немыслимую причину. Люди не любят меня не потому, что я что-то делаю плохо, им не нравится то, что я все делаю хорошо. Они не любят меня, потому что я всегда была в школе первой ученицей. Я всегда получаю пятерки, даже когда не занимаюсь. Может быть, мне стоит превратиться в троечницу, чтобы сделаться самой популярной девушкой в школе?

Франсиско замер на месте, повернулся к ней и ударил ее по лицу.

Все, что она почувствовала, вместилось в единое мгновение, когда земля пошатнулась под ее ногами, в единый порыв эмоций. Дагни знала, что убила бы на месте всякого, кто посмел бы ударить ее; она ощущала в себе ту свирепую ярость, которая дала бы ей силы на это... и столь же бурное удовольствие оттого, что пощечину ей дал Франсиско. Тупая и жаркая боль в щеке, вкус крови, сочившейся из разбитого уголка рта, были приятны ей. Ей было радостно то, что она вдруг *поняла* причину, заставившую Франсиско совершить этот поступок. Поняла в *нем* и в *себе*.

Дагни потверже уперлась в землю ногами, чтобы унять головокружение, а потом подняла голову и с победной, насмешливой улыбкой посмотрела прямо в глаза Франсиско, впервые осознавая собственную силу, впервые ощущая себя равной ему.

– Неужели я сделала тебе столь же больно? – спросила она.

Франсиско опешил от изумления: и вопрос, и улыбка были совсем не детскими:

– Да, если тебе угодно.

– Угодно.

– Не надо больше говорить такого. Не повторяй больше эту шутку.

– Не будь дураком. С чего вдруг ты решил, что я могу захотеть сделаться популярной?

– Когда ты подрастешь, то поймешь, что сказала совершенно ужасную вещь.

– Я и так понимаю это.

Повернувшись, Франсиско вынул платок и окунул его в реку.

– Подойди сюда, – приказал он.

Рассмеявшись, она сделала шаг назад:

– Ну, нет. Пусть останется, как есть. Надеюсь, щека распухнет. Мне нравится так.

Он пристально посмотрел на нее. А потом проговорил, неторопливо и совершенно искренне:

– Дагни, ты просто изумительна.

– А я думала, ты всегда так считал, – небрежно и чуть надменно ответила она.

Явившись домой, она сказала матери, что разбила губу о камень. Это была единственная ложь за всю ее жизнь. Она поступила так не ради того, чтобы защитить Франсиско; Дагни просто казалось по неведомой для самой себя причине, что случившееся – слишком драгоценная тайна, чтобы ею можно было поделиться с кем-нибудь еще.

На следующее лето, к приезду Франсиско, ей уже исполнилось шестнадцать. Дагни было бросилась вниз по склону навстречу ему, но вдруг остановилась. Заметив это, он также замер на месте, и какое-то мгновение они просто разглядывали друг друга, разделенные отрезком пологого зеленого склона. А потом уже он неторопливой походкой направился навстречу ей, а она ожидала.

Когда Франсиско оказался рядом, Дагни невинно улыбнулась ему, словно забыв о прежнем состязании.

– Тебе будет интересно узнать, – сказала она, – что я уже работаю на железной дороге. Ночной дежурной в Рокдэйле.

Он рассмеялся:

– Неплохо, мисс «*Таггерт Трансконтинентал*», начнем соревнование. Посмотрим, у кого будет больше оснований для гордости: у Ната Таггерта за тебя или у Себастьяна д'Анкония за меня.

В ту зиму ее жизнь превратилась в сверкающее простотой подобие геометрического чертежа: несколько прямых линий, прочерченных между домом, инженерным колледжем в городе и работой в Рокдэйле на станции, и замкнутая окружность, охватившая ее комнату, битком набитую схемами двигателей, синьками стальных конструкций и железнодорожными расписаниями.

Миссис Таггерт наблюдала за своей дочерью с удивлением, но без радости. Она могла бы простить ей все странности, кроме одной: Дагни не обнаруживала никаких признаков интереса к мужчинам, вообще не проявляла никаких романтических наклонностей. Миссис Таггерт крайностей не одобряла и при необходимости готова была справиться с крайностью противоположного рода; и, по ее мнению, получалось, что нынешняя ситуация была сложнее. Мать более всего смущало, что у ее дочери в семнадцать лет еще не было ни единого поклонника.

– Дагни и Франсиско д'Анкония? – она скорбно улыбалась в ответ на расспросы подруг. – О нет, это не любовь, а какой-то интернациональный промышленный картель. Это все, что интересует их обоих.

Однажды вечером миссис Таггерт услышала, как Джеймс при гостях со странным удовлетворением в голосе высказался следующим образом:

– Дагни, несмотря на имя, унаследованное тобой от первой Дагни Таггерт, прославленной своей красотой, ты, скорее, похожа на Ната Таггерта, ее мужа.

Миссис Таггерт так и не поняла, что задело ее в большей степени: то, что Джеймс высказался так грубо, или то, что Дагни явно приняла это за комплимент.

Миссис Таггерт решила, что так и не сумеет понять собственную дочь. Дагни превратилась в силуэт, впархивающий на длинных ножках манекенщицы в семейные апартаменты и выпархивающий из них, в тонкую фигурку в короткой юбке и кожаной куртке с поднятым воротником. Комнату она пересекала с мужской прямолинейной решимостью, и тем не менее движения ее были наполнены особой, быстрой и напряженной порывистостью, странной, но вызывающе женственной.

Временами, взглянув на лицо Дагни, миссис Таггерт получала совершенно непонятное впечатление: на нем была написана не радость, а столь кристально чистое удовлетворение, что мать находила его неестественным – ни одна юная девица, по ее мнению, не могла в этом возрасте не переживать каких-либо жизненных печалей. Она пришла к выводу, что дочь ее не способна на чувства.

– Дагни, – спросила она однажды, – а тебе не хочется хотя бы иногда развлечься?

Недоверчиво посмотрев на мать, Дагни ответила:

– А что, по-твоему, я делаю?

Решение устроить дочери официальный светский дебют стоило миссис Таггерт изрядной доли размышлений. Она не знала, кого будет представлять нью-йоркскому обществу: мисс Дагни Таггерт из «Светского альманаха» или ночную дежурную со станции Рокдэйл; миссис Таггерт полагала, что, скорее, речь будет идти о телефонистке; кроме того, она не сомневалась, что Дагни отвергнет саму идею. Она была потрясена, когда дочь с необъяснимой детской радостью ухватила за нее.

Еще раз она удивилась, увидев, как Дагни оделась по случаю своего дебюта. На ней впервые в жизни была женственная одежда: платье из белого шифона с огромной, похожей на облачко юбкой. Миссис Таггерт ожидала увидеть нечто совершенно противоположное. Дагни казалась красавицей. Она сделалась сразу и старше, и невиннее, чем обычно; стоя перед зеркалом, она держала голову так, как делала бы это жена Ната Таггерта.

– Дагни, – проговорила миссис Таггерт с мягкой укоризной, – видишь, какой красавицей, при желании, ты можешь быть?

– Вижу, – ответила Дагни без тени удивления.

Бальный зал отеля «Уэйн-Фолкленд» был украшен сообразно указаниям миссис Таггерт; обладая несомненным художественным вкусом, она создала для своей дочери бесспорный шедевр.

– Дагни, я хочу, чтобы ты обратила особое внимание на весь этот антураж, – сказала она, – на освещение, краски, цветы, музыку. Ими не стоит пренебрегать, хоть ты и склонна так думать.

– Я никогда не считала их недостойными внимания, – радостным тоном ответила Дагни. И миссис Таггерт впервые ощутила связь между собой и дочерью; Дагни смотрела на нее с детской благодарностью и доверием.

– Эти вещи делают жизнь прекрасной, – заметила миссис Таггерт. – И я хочу, чтобы этот вечер запомнился тебе своей красотой. Первый в жизни бал становится самым романтическим событием в жизни женщины.

Для миссис Таггерт величайшим сюрпризом сделалось то мгновение, когда она увидела Дагни в свете огней, оглядывающей бальный зал. Перед ней была не девочка, не девушка, но женщина, уверенная в себе и наделенная опасной силой, что миссис Таггерт ощутила искреннее восхищение. В век повседневной, циничной и безразличной рутины, среди людей, проживавших свою жизнь не как плоть, а как мясо, манера Дагни держаться казалась едва ли

не непристойной, потому что так смотреть на бальный зал могла женщина, жившая столетия назад, когда появиться на людях полуобнаженной, выставить себя на обозрение мужчин было проявлением отваги, имевшим смысл, *единственный* смысл, и признававшийся всеми как большая авантюра. «И это, – подумала миссис Таггерт с улыбкой, – девушка, которую я едва не сочла лишенной сексуальности». Она ощущала огромное облегчение и некоторое удивление оттого, что подобного рода открытие может принести облегчение.

Однако этого благостного чувства хватило лишь на несколько часов; в конце вечера она обнаружила Дагни в углу балльного зала, сидевшей на балюстраде, как на заборе, и болтавшей ногами под шифоновой юбкой, словно на ней были брюки. Она разговаривала с парой беспомощных молодых людей, и лицо ее наполняла презрительная пустота.

По дороге домой Дагни и миссис Таггерт не обменялись ни словом. Но по прошествии некоторого времени, повинувшись порыву, миссис Таггерт заглянула в комнату дочери. Дагни стояла возле окна в своем вечернем платье; теперь оно казалось облачком, поддерживающим слишком тонкое для него тело, хрупкое тело с поникшими плечами. За окном посеревшее небо предвещало скорый рассвет.

Когда Дагни повернулась к ней, миссис Таггерт заметила в глазах дочери недоуменную беспомощность; лицо было спокойным, однако выражение его заставило мать пожалеть о своем недавнем желании познакомить дочь с житейскими печальями.

– Мама, почему они всё воспринимают наоборот? – спросила она.

– Как это? – всполошилась миссис Таггерт.

– То, о чем ты говорила. Свет и цветы. Неужели они ожидают, что эти украшения сделают их романтичными, а не наоборот?

– Дорогая моя, что ты хочешь сказать?

– Там не было ни одного счастливого человека, – произнесла Дагни безжизненным голосом, – такого, кто способен думать или чувствовать. Они ходили вокруг меня, говорили те же пошлости, что и повсюду. Наверно, предполагали, что освещение сделает их блестящими.

– Дорогая, ты воспринимаешь все слишком серьезно. На балу не принято быть интеллектуалом. Там надо веселиться.

– Каким образом? Говоря глупости?

– Но разве тебе не понравилось общество молодых людей?

– Каких молодых людей? Так, глупые парни, с десятком которых я легко бы разобралась.

Несколько дней спустя, сидя за своим столом на станции Рокдэйл в полном довольстве и ощущая себя на своем месте, Дагни вспомнила о том вечере уже с полным безразличием. Она подняла глаза: шла весна, и ветви деревьев за окном покрывала листва, воздух был спокойным и теплым. Она спросила себя, чего ожидала от бала. Ответа не было. Дагни лениво припала к столу, не ощущая ни усталости, ни желания работать.

Встретившись в то лето с Франсиско, она рассказала ему о своем разочаровании. Он выслушал ее молча, впервые окидывая тем полным застывшей насмешки взглядом, который приберегал для всех остальных, взглядом, который замечал слишком многое. Ей казалось, что в ее словах он слышал больше, чем она намеревалась сказать.

Такой ироничный взгляд Франсиско она увидела вечером, когда неожиданно рано отправилась в Рокдэйл. Они вдвоем сидели на берегу реки. У нее оставался еще час в запасе. Длинные узкие языки пламени еще не погасли на небе, и красные искры лениво скользили по воде. Франсиско уже долго молчал, когда она вдруг встала и сказала ему, что ей пора идти. Он не попытался остановить Дагни; откинувшись назад, подложив руки под голову, он, не шевелясь, смотрел на нее; взгляд его как будто говорил, что он превосходно знает причину. Дагни решительно взбежала по склону холма к дому: она и сама не знала, что, собственно, заставило ее поторопиться. Внезапное беспокойство было рождено неведомым до сих пор чувством надежды.

Каждую ночь она проезжала пять миль, отделявших загородный дом от Рокдэйла. Дагни возвращалась назад с рассветом, спала несколько часов и вставала вместе со всеми. И ей не хотелось спать. Ложась в постель с первыми лучами солнца, она ощущала напряженное, радостное и беспричинное стремление встретить наступающий день.

Вновь увидела она этот насмешливый взгляд Франсиско у сетки теннисного корта. Начала игры она не помнила; они часто играли в теннис, и он всегда побеждал. Дагни даже не знала, в какое мгновение той игры *вдруг решила победить*.

Но едва появившись, это решение перестало быть только желанием, оно превратилось в яростную бурю, поднявшуюся внутри нее. Дагни не знала, почему должна победить; она не понимала, почему победа казалась столь настоятельно, решительно необходимой. Она знала только, что *должна* победить и победит.

Играть было легко; казалось, что воля ее исчезла, и за нее играет кто-то другой. Она посмотрела на Франсиско – высокого, стройного, загорелого. Оценивая по достоинству ловкость его движений, она заранее ощущала кипучее удовлетворение оттого, что должна победить именно эту совершенную машину, и каждый мастерский жест его становился ее победой, и его блестящее владение телом превращалось в ее триумф.

Боль утомления росла, но она не осознавала ее как боль, ощущая только во внезапных уколах на мгновение, не более, напоминавших ей о какой-либо части тела: локте, лопатках, бедрах, облепленных белыми шортами, мышцах ног, бросающих ее навстречу мячу, веках, делавших небо багровым и превращавших налетающий мяч в подобие клубка белого пламени, тонкую раскаленную нить, протягивавшуюся от лодыжки вверх по спине, когда посланный ею мяч летел на половину Франсиско... Она ощущала восторг, потому что каждый начинавшийся в ее теле укол боли должен был закончиться в *его* теле, не менее утомленном, чем ее собственное, и, напрягая себя, она напрягала тем самым и его, и он чувствовал это, потому что она этого добивалась; и боль эта становилась не ее слабостью, а страданием его тела.

Замечая в такие мгновения его лицо, она видела, что Франсиско смеется.

Он смотрел на нее так, словно все понимал. Он играл не для того, чтобы победить, а для того, чтобы сделать более сложной ее победу, посылая свои мячи по сторонам корта, чтобы заставить ее побегать, теряя очки, чтобы еще раз увидеть, как изогнется ее тело в полном муки бэкхенде, замирая на месте, чтобы она подумала, что он промахнется, лишь для того, чтобы в самый последний момент небрежно выставить руку и послать мяч назад с такой силой, чтобы Дагни поняла: все, она не успеет к нему. И ей казалось, что она не сможет даже сдвинуться с места, и, как странно, она вдруг оказывалась на противоположной стороне своей половины корта, ударяя по мячу с такой сокрушительной силой, словно ей хотелось разбить его на куски, словно она наносила удар не по нему, а по лицу Франсиско.

Еще, еще раз, думала она, пусть следующий удар переломит кости руки... еще, еще раз, даже если прекратится приток воздуха в воспаленную глотку... А потом она уже ничего не чувствовала... ни боли, ни мышц, ничего, кроме мысли о том, что должна победить Франсиско, увидеть его изнеможение, увидеть, как он рухнет, и тогда только получить возможность и право умереть.

Она победила. Быть может потому, что он, как обычно, смеялся.

Франсиско подошел к сетке, хотя Дагни оставалась на месте, и бросил свою ракетку к ее ногам, как бы понимая, что именно этого она и хочет. А потом вышел с корта и рухнул на траву, подложив руку под голову.

Дагни неторопливо подошла к нему. Она остановилась над ним, глядя на распростертое у ног тело, на пропитанную потом тенниску, на рассыпавшиеся по руке пряди волос. Франсиско приподнял голову. Взгляд его последовательно поднялся по ее ногам к шортам, блузке, глазам. Насмешливый взгляд словно бы видел ее насквозь – под одеждой, под покровом разума. Он словно говорил, что *на самом деле* победа принадлежит ему.

В ту ночь она сидела за своим столом в Рокдэйле одна во всем станционном здании и рассматривала небо через окно. Этот час нравился ей более всего: верхние части стекол начинали светлеть, и рельсы колеи уже поблескивали серебром в нижних частях оконного переплета. Выключив лампу, она следила за вселенским, бесшумным движением света над неподвижной землей. Вокруг царила тишина, даже лист не колыхался на ветвях деревьев, а небо постепенно теряло цвет, превращаясь в светлый водный простор, который не окинуть одним взглядом.

В этот час телефон на ее столе умолкал, будто по всей сети прекращалось движение. Вдруг снаружи, за дверью, послышались шаги. В комнату вошел Франсиско. Он еще никогда не приходил сюда, но появление его не удивило Дагни.

– Что ты делаешь здесь в такое время? – спросила она.

– Да так, спать не хочется.

– А как ты добрался сюда? Я не слышала мотора твоего автомобиля.

– Пришел пешком.

Прошло не одно мгновение, прежде чем она поняла, что не спросила его, зачем он пришел, и что не хочет спрашивать об этом.

Он походил по комнате, разглядывая развешенные по стенам подшивки транспортных накладных и календарь, на котором «*Комета ТаггERTA*» горделиво накатывала на зрителя. Франсиско казался здесь на месте, он словно бы ощущал, что комната эта принадлежит им двоим, как бывало всегда, где бы они ни оказывались вместе. Однако он не испытывал желания говорить. Задав ей несколько вопросов по работе, Франсиско умолк.

Снаружи становилось все светлее, движение на линии оживало, и тишину то и дело начали нарушать телефонные звонки. Дагни занялась работой. Франсиско сидел в углу и ждал, перебросив ногу через поручень кресла.

Дагни работала быстро, ощущая необычайную ясность в голове. Точные движения рук доставляли ей удовольствие. Она сконцентрировала все внимание на резких звонках аппарата, на цифрах номеров телефонов, автомобилей, заказов. Она не замечала ничего другого.

Однако случайно смахнув на пол листок бумаги, она нагнулась за ним, и как-то вдруг словно чужими глазами увидела себя со стороны: свои движения... серую полотняную юбку, закатанный рукав серой блузки и обнаженную руку, протянувшуюся к бумаге. Сердце ее на мгновение замерло – так охает человек, охваченный предчувствием... Подобрал листок, она вернулась к прерванной работе.

Стало уже светло – почти как днем. Мимо станции без остановки проехал поезд. В чистом утреннем свете длинная вереница вагонных крыш превратилась в серебряную цепочку, а сам поезд летел мимо станционного здания, словно бы повиснув над землей, едва соприкасаясь с ней. Пол под ногами ее содрогался, в окнах звенело стекло. Дагни со взволнованной улыбкой проводила поезд глазами. Она посмотрела на Франсиско: тот тоже улыбался, не отрывая от нее взгляда.

Когда пришел дневной дежурный, она передала ему станцию, и вместе с Франсиско они вышли на утренний воздух. Солнце еще не поднялось, и вместо него, казалось, светился сам воздух. Дагни не ощущала усталости. Она словно только что проснулась.

Она направилась к своей машине, но Франсиско сказал:

– Давай пройдемся до дома. Вернемся за твоим автомобилем потом.

– Хорошо.

Она ничуть не удивилась предложению, перспектива пройти пешком пять миль также не смущала ее. Все казалось вполне естественным; естественным для особой реальности того мгновения, ясного, но отстраненного от всего остального, близкого, но все же обособленного, подобного сверкающему островку посреди туманного моря, напоминающего о высшей, неоспоримой яви опьянения.

Дорога вела через лес. Они сошли с шоссе на старую тропку, вилевшую между деревьями девственного леса. Вокруг вообще не было заметно признаков человеческого вмешательства. Старые, заросшие травой колеи делали присутствие людей еще более отдаленным, прибавляя годы времени к милям расстояния. Сумерки еще цеплялись за землю, но в брешах между древесными стволами ослепительной зеленью сверкала листва, словно бы освещавшая собой лес. Листья не шевелились. Они все шли вперед, двоедвигающихся людей в неподвижном мире. Дагни вдруг заметила, что за все это время они не произнесли даже слова.

Они вышли на прогалину. Небольшая низина притаилась между двумя отвесными скалами, ее пересекал ручеек, ветви деревьев клонились к земле.

Плеск воды только подчеркивал тишину. Далекая прорезь ясного неба делала место еще более укротным. Высоко над их головами, на гребне холма, первые лучи солнца выхватили одиноко стоящее дерево.

Они остановились и посмотрели друг на друга. Франсиско схватил ее, повернул к себе, припал губами к ее губам... ощутив, как руки ее вскинулись в бурном ответном объятии... Она поняла, что знала заранее, ждала прикосновения его рук. Она впервые осознала, насколько хотела этого.

На мгновение она почувствовала протест и легкий страх. Однако Франсиско прижимался к ней, рука его двигалась по ее груди, как рука собственника, знакомящегося с ее телом, не спрашивая согласия, не прося разрешения. Она попыталась высвободиться, но сумела только откинуться назад, чтобы увидеть его лицо и улыбку, которая сказала ей, что согласие свое она дала давным-давно. Она подумала, что надо бежать, но вместо этого ответно прижалась к нему и припала к его губам.

Дагни знала, что бояться бесполезно, что он сделает с ней то, что хочет, что решать ему, что он не оставил для нее ничего другого, кроме того, что она желала больше всего – возможности покориться. Она не осознавала, чего он хочет, мгновение унесло все ее представления о дурном и хорошем, у нее не было сил верить в то, что свершалось с нею, она понимала только, что боится. И все же она словно кричала ему: «Не спрашивай у меня разрешения... Только не спрашивай – делай, делай!»

Какое-то мгновение она пыталась устоять, но рот его прикрывал ее губы, и она медленно опустилась на землю, так и не прервав поцелуя. Она лежала неподвижно как трепещущий объект акта, который он проделал просто и без колебаний, словно бы по праву того невыносимого удовольствия, которое он приносил им обоим.

Франсиско определил то, что свершилось с ними обоими, первыми же словами, которые произнес потом. Он сказал:

– Мы должны были научить этому друг друга.

Длинная фигура Франсиско распростерлась на траве рядом с ней, на нем были черные брюки и рубашка, и она ощутила порыв гордости – гордости оттого, что отныне ей принадлежит его тело. Лежа на спине, Дагни смотрела в небо, не желая шевелиться, думать, представлять себе нечто, находящееся вне этого мгновения.

Вернувшись домой, она легла в постель обнаженной, потому что тело ее сделалось незнакомым, слишком драгоценным для прикосновения ночной рубашки, потому что ей было приятно ощущать собственную наготу, ощущать своим телом простыни, словно бы к ним прикасалась кожа Франсиско. Она уже думала, что не уснет, потому что ей не хотелось отдыхать, расставаясь с самым прекрасным из известных ей утомлений, – но самой последней мыслью ее стало воспоминание о тех временах, когда ей хотелось выразить, хотя она не находила для этого средств, ощущение, более высокое, чем счастье, желание благословить всю землю, понимание того, что она любит и существует именно в этом мире. Она подумала, что пережитое ею сегодня было единственным способом выразить всю гамму ощущений. Она не знала, серьезно ли это; ничто не могло быть серьезным во Вселенной, из которой изгнана боль. Не успев как следует

взвесить свое умозаключение, она уже спала, улыбаясь, в тихой и светлой, наполненной утром комнате.

Тем летом они встречались в лесу, в укромных уголках у реки, в заброшенном сарае, в подвале дома.

Тогда-то она и училась воспринимать красоту, глядя вверх на старинные балки перекрытий, на стальной кружок лопастей вентилятора, ритмично жужжавший над их головами. Она ходила в брюках, в хлопковом летнем костюме, но никогда еще не бывала настолько женственной, как в те мгновения, когда, прижимаясь к Франсиско, оседала в его объятиях, позволяя делать с собой все, что угодно, открыто признавая его право низводить ее до полной беспомощности тем удовольствием, которое он мог даровать ей. Франсиско научил ее всем чувственным приемам, которые мог изобрести.

– Разве не удивительно, что тело может принести нам столько удовольствия? – однажды искренне удивился он сам. Они были счастливы и ослепительно невинны. Им обоим даже в голову не приходило, что счастье может оказаться грехом.

Свой секрет они хранили в тайне от всех остальных не как позорный проступок, но как то, что принадлежит лишь им обоим и не подлежит чужому осуждению или одобрению. Она знала, что, согласно общепринятому воззрению на сексуальные отношения, занятие это представляет собой уродливое проявление низменной природы человека, и к нему следует относиться с презрением. И собственная чистота заставила ее устраниваться не от желаний собственного тела, но от любых контактов с людьми, исповедовавшими подобную доктрину.

В ту зиму Франсиско приезжал к ней в Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Он то прилетал из Кливленда без предупреждения по два раза в неделю, то исчезал на целые месяцы. Обложившись чертежами и синьками, она сидела на полу своей комнаты, когда в дверь раздавался стук.

– Я занята! – отвечала она, и насмешливый голос спрашивал:

– В самом деле?

Тогда она вскакивала на ноги, распахивала дверь, чтобы обнаружить за нею Франсиско. После чего они отправлялись к нему на квартиру, которую он снимал в городе, крохотную комнатку в тихом районе.

– Франсиско, – спросила однажды она с внезапным удивлением, – я ведь твоя любовница, не так ли?

Он усмехнулся:

– Именно так.

И она почувствовала гордость, которую женщине полагается чувствовать, удостоившись титула жены.

В долгие месяцы его отсутствия она никогда не занимала себя мыслями о том, верен он ей или нет; она знала, что Франсиско хранит верность. Несмотря на то что Дагни была еще слишком молода, чтобы знать причину, она понимала, что неразборчивость и беспорядочность в связях присущи лишь тем, кто видит в сексе и в самих себе только зло.

Ей было известно немного о жизни Франсиско. Он учился на последнем курсе и редко разговаривал о своих занятиях, а она никогда не расспрашивала. Дагни подозревала, что он слишком усердно работает, потому что временами замечала странное выражение на его лице. Однажды она посмеялась над ним, похвастав, что давно уже работает на «*Таггерт Трансконтинентал*», в то время как он еще не начал зарабатывать себе на жизнь. Франсиско ответил:

– Отец не позволяет мне работать на «*Д'Анкония Коппер*», пока я не окончу университет.

– И когда же это ты успел сделаться послушным сыном?

– Я должен уважать его желания. «*Д'Анкония Коппер*» принадлежит отцу... Впрочем, ему принадлежат не все медеплавильные компании мира, – в улыбке Франсиско угадывался легкий намек.

Всю историю она узнала только следующей осенью, когда он окончил университет и вернулся в Нью-Йорк из Буэнос-Айреса, погостив у отца.

Франсиско рассказал ей, что за последние четыре года прошел два курса обучения: один в университете Патрика Генри, а другой на медеплавильном заводе на окраине Кливленда.

– Мне нравится разбираться во всем самостоятельно, – проговорил он. Франсиско начал работать в шестнадцать лет, подручным у печи, а в двадцать лет купил весь завод. Свою первую частную собственность он приобрел, несколько подправив свой подлинный возраст, в тот же самый день, когда получил университетский диплом; оба документа он отослал отцу.

Он показал фотографию своего предприятия – крохотного, грязного, позорно старого, обещавшего в борьбе за существование; над входом, подобно новому флагу над брошенной по старости шхуной, красовалась надпись: «*Д'Анкония Коннер*».

Нью-йоркский представитель отца был вне себя:

– Но, дон Франсиско, это немыслимо! Что подумают люди? Как можно ставить такое имя над этой помойкой?

– Это мое имя, – ответил Франсиско.

Когда, приехав в Буэнос-Айрес, Франсиско вошел в кабинет отца – помещение просторное, строгое, обставленное, как современная лаборатория, единственным украшением которого были развешанные по стенам фотоснимки предприятий «*Д'Анкония Коннер*» – крупнейших рудников концерна, обогатительных фабрик и медеплавильных заводов, – он увидел на почетном месте, прямо перед столом отца, фотоснимок кливлендского заводика с новой вывеской над входом.

Франсиско встал перед столом, и отец перевел взгляд с фотоснимка на сына.

– Не слишком ли ты торопишься? – спросил старший д'Анкония.

– Не мог же я четыре года только ходить на лекции.

– А откуда ты взял деньги, чтобы внести первый взнос за этот завод?

– Выиграл на Нью-Йоркской фондовой бирже.

– Что? Кто посоветовал это тебе?

– Определить, какое промышленное предприятие ждет успех, а какое нет, не так уж и сложно.

– А откуда ты взял деньги на игру?

– Из пособия, которое вы присылали мне, сэр, а также из собственного заработка.

– А где ты нашел время, чтобы следить за фондовым рынком?

– Пока писал диссертацию о влиянии на последующие метафизические системы аристотелевой теории Неподвижного Движителя.

В ту осень Франсиско ненадолго задержался в Нью-Йорке. Отец послал его в Монтану помощником управляющего рудником своей фирмы.

– В общем, – улыбаясь, поведал он Дагни, – мой отец не считает разумным слишком быстро повышать меня в чине. А я не хочу просить у него о доверии. Если ему нужны доказательства с моей стороны, он их получит.

Весной Франсиско вернулся – уже в качестве главы нью-йоркской конторы «*Д'Анкония Коннер*».

В последующие два года Дагни не часто виделась с ним. Она никогда не могла сказать, где он окажется – в каком городе и даже на каком континенте – на следующий же день после их встречи. Франсиско всегда являлся к ней неожиданно, и ей это нравилось, потому что его присутствие в ее жизни таким образом делалось постоянным, и, как солнечный луч, он мог озарить ее в любое мгновение.

Когда она видела Франсиско в рабочем кабинете, руки его представлялись ей такими, какими она когда-то видела их на руле моторки: он вел свое дело по курсу с той же ровной,

опасно высокой, но покорной ему скоростью. Один лишь случай остался потрясением в ее памяти, настолько не шел он Франсиско.

Однажды вечером она наблюдала за ним, когда он стоял у окна своего кабинета, всматриваясь в бурные городские зимние сумерки. Франсиско долго не шевелился. Лицо его казалось жестким и напряженным; в глазах застыло выражение, которого она в нем и помыслить не могла: горького и бессильного гнева. Наконец он сказал:

– В мире что-то идет не так. Это было всегда. Существовало нечто такое, чему никто не мог дать имени или объяснения.

Он не захотел пояснять свою мысль.

Когда она увидела Франсиско в следующий раз, на лице его не осталось и следа этого переживания. Настала весна, и оба они стояли на террасе, устроенной на крыше ресторана, ветер прижимал легкий шелк ее вечернего платья к строгому черному костюму Франсиско. Они смотрели на город.

В зале за спинами их звучал концертный этюд Ричарда Халлея; имя этого композитора было известно немногим, однако они уже открыли его для себя и полюбили. Франсиско говорил:

– Здесь не нужно высматривать крыши небоскребов? Теперь мы среди них.

Улыбаясь, она ответила:

– Боюсь, мы поднимемся выше... Я даже боюсь... мы как будто едем на каком-то лифте.

– Конечно. А чего ты боишься? Пусть себе мчится. Разве может быть предел скорости?

Франсиско было двадцать три, когда умер его отец, и он уехал в Буэнос-Айрес, чтобы принять дела концерна «Д'Анкония», теперь перешедшего к нему. Дагни не видела его три года.

Сперва он писал ей, редко и неаккуратно. Он писал о «Д'Анкония Коннер», о мировом рынке, о вопросах, затрагивавших интересы «Таггерт Трансконтинентал». Свои короткие письма он писал от руки, обыкновенно ночью.

Отсутствие Франсиско не печалило ее. Дагни также делала первые шаги к власти над своим будущим королевством. Главы промышленных фирм, приятели ее отца, поговаривали, что нужно повнимательнее наблюдать за молодым д'Анкония; если эта медная компания прежде была просто великой, то теперь под его руководством она покорит весь мир. Дагни только улыбалась, но удивления не испытывала. Случались иногда мгновения, когда она ощущала внезапный бурный порыв тоски по Франсиско, однако причиной его бывало нетерпение, но не боль. Дагни гнала тоску, нисколько не сомневаясь, что оба они работают ради будущего, которое принесет им все – в том числе и друг друга. А потом она перестала получать письма.

Ей было двадцать четыре года в тот весенний день, когда на столе ее кабинета в здании «Таггерт» зазвонил телефон.

– Дагни, – произнес знакомый голос. – Я сейчас в «Уэйн-Фолкленде». Приезжай сегодня вечером, поужинаем вместе. В семь часов.

Он не поздоровался с ней, как будто они расстались всего вчера. Мгновение, потраченное ею на то, чтобы вновь научиться искусству дышать, сказало Дагни, насколько много значит для нее этот голос.

– Хорошо... Франсиско, – ответила она. Они могли более ничего не говорить друг другу. Опуская трубку на место, она подумала, что его возвращение – вещь вполне естественная, и что она всегда ожидала это событие, хотя, конечно, не могла предвидеть охватившую ее внезапно потребность произнести его имя и тот укол счастья, который ощутила в это мгновение.

В тот вечер, едва вступив в его номер, она застыла на месте.

Франсиско стоял посреди комнаты и смотрел на нее. На лице появилась невольная улыбка, как если бы он утратил способность улыбаться и был удивлен тем, что она все-таки вернулась к нему. Он смотрел на нее с недоверием, словно не зная, кто она такая, и что ощущает он сам. Взгляд его был подобен мольбе, крику о помощи, сорвавшемуся с уст человека,

неспособного плакать. Завидев ее, он попытался было произнести их старинное приветствие, и даже начал его... но не договорил последнего слова. И вместо него после мгновенной паузы промолвил:

– Дагни, ты прекрасна, – так, словно мысль эта была ему обидна.

– Франсиско, я...

Он покачал головой, не позволяя ни ей, ни себе произнести те слова, которые они никогда не говорили друг другу, прекрасно понимая, что они и так слышали их в этот самый момент.

Подойдя, он обнял ее, поцеловал в губы, крепко и надолго прижал к себе. И когда Дагни снова посмотрела в его лицо, он улыбался – уверенно и задиристо. Улыбка эта сказала ей, что Франсиско владеет собой, ею, всем вообще, и приказывает ей забыть все, что увидела она в первое мгновение.

– Привет, Чушка, – сказал он.

Не чувствуя ничего, кроме уверенности в том, что вопросов ей задавать не следует, Дагни улыбнулась и ответила:

– Привет, Фриско.

Она могла бы понять любую перемену, кроме той, которая произошла с ним.

В лице его не было ни искорки жизни, ни намек на радость; оно сделалось непроницаемым. Только что молившая улыбка его говорила не о слабости; в облике его появилась решительность, граничащая с безжалостностью. Он гордо выпрямил спину под невыносимой тяжестью на плечах. Она заметила то, во что не могла поверить: на лице Франсиско появились горькие морщинки, он выглядел измученным.

– Дагни, не удивляйся тому, что я делаю, – проговорил он, – и тому, что я сделаю когда-нибудь.

Предоставив ей столь скудное объяснение, он повел себя дальше так, словно больше объяснять было нечего.

Она ощущала разве что легкое беспокойство; испытывать страх за его судьбу или в его присутствии было немислимо. А когда Франсиско рассмеялся, она подумала, что они вернулись в свой лес на берегу Гудзона: он не изменился и не изменится никогда.

Ужин подали в номер. И ей было забавно смотреть на Франсиско за столом, сервированным с намекающей на непомерную цену ледяной официальнойностью, в номере отеля, похожем на зал европейского дворца.

«Уэйн-Фолкленд» считался самым знаменитым отелем всех континентов. Его праздная роскошь, бархатные шторы, лепные панели и свечи явным образом контрастировали с предназначением этого заведения: никто не мог воспользоваться его гостеприимством, кроме деловых людей, приезжавших в Нью-Йорк улаживать дела всего мира. Дагни отметила, что манеры обслуживавшей их прислуги свидетельствовали об особом почтении именно к этому постояльцу отеля, и что Франсиско это совершенно безразлично. Он успел уже привыкнуть к тому, что является сеньором д'Анкония, владельцем «*Д'Анкония Коппер*».

Однако она сочла странным, что он не стал рассказывать о своих делах. Дагни ожидала услышать, что лишь работа интересует его, и что он первым делом поделится с ней своими успехами. Франсиско не стал этого делать. Напротив, он начал расспрашивать ее о перспективах и об ее отношении к «*Таггерт Трансконтинентал*». Дагни рассказывала о своих делах так, как всегда говорила о них, зная, что лишь он один способен понять ее страстную преданность делу. Франсиско внимательно слушал ее, не делая никаких замечаний.

Официант включил радио, передавали тихую вечернюю музыку, не пробуждавшую никаких чувств. И вдруг комнату захлестнула волна звуков, сотрясая стены, словно подземный толчок. Потрясение было вызвано не громкостью, а могучей мелодией. Зазвучала свежая запись нового, Четвертого, концерта Халлея.

Оба они в молчании внимали этому восстанию, музыкальному бунту – победному гимну великих мучеников, отказавшихся подчиниться боли. Франсиско слушал, разглядывая городской пейзаж за окнами.

Наконец он проговорил без какого-то перехода или предупреждения странным, совершенно невыразительным тоном:

– Дагни, а что бы ты сказала, если бы я попросил тебя оставить *«Таггерт Трансконтинентал»* и плюнуть на ее дальнейшую жалкую судьбу – пусть себе катится в тартарары под руководством твоего братца?

– Ты хочешь знать, что бы я подумала, если бы ты предложил мне совершить самоубийство? – сердито ответила она.

Франсиско молчал.

– Почему тебя вообще это интересует? – резко спросила она. – Твой вопрос не был шуткой. Прежде ты никогда не шутил такими вещами.

На лице его не было и намека на веселье. Ответ Франсиско прозвучал негромко и серьезно:

– Нет, конечно, нет. Мне не следовало спрашивать тебя об этом.

Дагни не без труда перевела разговор на его работу. Франсиско отвечал на вопросы, но сам не проявлял никакой инициативы. Она пересказала ему отзывы предпринимателей о блестящих перспективах *«Д’Анкония Коннер»* под его руководством.

– Они не ошибаются, – проговорил он безжизненным голосом.

Охваченная внезапной тревогой, не понимая, что именно подтолкнуло ее, она вдруг спросила:

– Франсиско, а зачем ты приехал в Нью-Йорк?

Он неторопливо ответил:

– Чтобы встретиться с другом, попросившим меня об этой встрече.

– Деловой?

Глядя куда-то в сторону, словно отвечая на собственную мысль, чуть с горечью улыбаясь, странно мягким и печальным тоном он ответил:

– Да.

Было уже далеко за полночь, когда она проснулась рядом с ним в постели. Из оставшегося внизу города не доносилось ни звука. В тишине комнаты жизнь словно замерла на какое-то время. Счастливая, утомленная, она лениво повернулась, чтобы посмотреть на него. Франсиско лежал на спине, высоко взбив подушку. Профиль его вырисовывался на фоне освещенного рассеянным городским светом окна. Он не спал, глаза его оставались открытыми. Губы были крепко сжаты, словно он боролся с немыслимой болью, даже не пытаясь скрыть свое страдание.

Дагни боялась даже шевельнуться. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся к ней.

Внезапно вздрогнув, он отбросил одеяло, открыв нагое тело Дагни, а потом спрятал лицо у нее на груди, судорожно обхватив за плечи. Уткнувшись носом ей в плечо, он глухо пробормотал:

– Я не могу отказаться! Не могу!

– Что? – прошептала она.

– От тебя.

– Зачем тебе...

– И всего.

– Зачем тебе отказываться?

– Дагни! Помоги мне остаться. Отказаться. Пусть он и прав!

Она ровным тоном спросила:

– От чего отказаться, Франсиско?

Он не ответил и только крепче прижался к ней лицом.

Дагни притихла, понимая лишь то, что ей следует быть крайне осторожной.

Чувствуя его голову на своей груди, ровно и ласково поглаживая рукой волосы, она смотрела на потолок комнаты, на едва проступающую сквозь темноту лепнину, и ждала, онемев от ужаса.

Он простонал:

– Все правильно, но так трудно поступить именно так, как надо! О боже, как же это трудно!

Спустя некоторое время Франсиско поднял голову и сел. Дрожь оставила его.

– Что случилось, Франсиско?

– Я не могу сказать тебе всю правду, – голос его звучал искренне и открыто, не пытаясь скрыть страдание. – Ты не готова услышать ее.

– Но я хочу помочь тебе.

– Ты не можешь ничем помочь мне.

– Ты же сам сказал: помочь тебе *отказаться*.

– Я не могу этого сделать.

– Тогда позволь мне разделить с тобой твоё решение.

Он покачал головой и посмотрел на нее сверху вниз, словно бы взвешивая последствия. А потом вновь покачал головой, отвечая самому себе.

– Если я сам не в силах выдержать его, – проговорил Франсиско с еще незнакомой ей нежностью, – то как сможешь выстоять ты?

Она проговорила неторопливо, делая над собой усилие, изо всех сил стараясь не закричать:

– Франсиско, я должна знать.

– Простишь ли ты меня? Я вижу, как ты испугана, а это жестоко с моей стороны. Но если ты хочешь что-то для меня сделать, давай забудем об этом разговоре, забудем – и все, и никогда больше не спрашивай меня ни о чем.

– Я...

– Это все, что ты можешь для меня сделать. Согласна?

– Да, Франсиско.

– И не бойся за меня. Просто так случилось сегодня. Повторения не будет. Потом это будет даваться легче.

– Но, может быть, я могу...

– Нет. Спи, моя любимая.

Он впервые назвал ее этим словом.

Утром он не прятал глаз, смотрел ей прямо в лицо, не старался уклониться от ее полного тревоги взгляда, но о ночной сцене молчал. На спокойном лице его отражались страдание и ясность, нечто подобное полной боли улыбке, хотя он не улыбался. Как ни странно, переживание сделало его моложе. Теперь он казался не человеком, подвергающимся мучительной пытке, а человеком, понимающим, что мука эта стоит того, чтобы ее перенести.

Она не стала допытываться до сути. Только, прежде чем уйти, спросила:

– Когда я снова увижу тебя?

Франсиско ответил:

– Не знаю. Не жди меня, Дагни. Когда мы встретимся в следующий раз, ты не захочешь даже смотреть на меня. У всего, что я буду делать, есть причина. Но я не могу назвать ее тебе, и ты будешь права, проклиная меня. Я не намерен оправдывать этот достойный презрения поступок, не буду просить тебя верить мне. Ты будешь руководствоваться собственными представлениями и суждением. Ты будешь проклипать меня. Тебе будет больно. Только постарайся не покориться этой боли. Помни, что это я тебе говорю. Это все, что я могу тебе сказать сейчас.

Она не получала от него никаких известий и ничего не слышала о нем около года. А потом начала прислушиваться к сплетням и читать заметки газетчиков; поначалу она не верила, что они имеют отношение к Франсиско д'Анкония. А потом поверить пришлось.

Она прочла отчет о приеме, устроенном им на яхте в гавани Вальпараисо: гости получили приглашение явиться в купальных костюмах, а всю ночь на палубу падал дождь из шампанского и цветочных лепестков.

Она прочла отчет о приеме, который он устроил на курорте в алжирской пустыне: он возвел там павильон из тонких листов льда и подарил каждой из приглашенных дам горностаевую накидку при условии, что они станут снимать их, вечерние платья и все остальное по мере того, как будут таять стены.

Она читала отчеты о его деловых предприятиях; они всегда сообщали о его громких успехах и приводили к разорению конкурентов, однако теперь он занимался делами, как спортом: производил внезапный набег, а потом исчезал с промышленной сцены на год или два, оставляя управление «Д'Анкония Коннер» в руках наемных директоров.

Она прочла интервью, в котором Франсиско высказывался следующим образом:

– Вы спрашиваете, зачем я хочу делать деньги? У меня их достаточно, чтобы три поколения моих потомков могли наслаждаться жизнью в той же мере, что и я сам.

Однажды она встретила с ним на приеме, устроенном в Нью-Йорке послом. Франсиско любезно поклонился ей, улыбнулся и наделил взглядом, в котором не существовало никакого прошлого. Она отвела его в сторону и произнесла всего только два слова:

– Франсиско, почему?

– Почему что? – спросил он.

Она отвернулась.

– Я предупреждал тебя.

Она не стала искать с ним новой встречи.

Дагни пережила разрыв. Она смогла пережить его, потому что не верила в страдание. Боль она воспринимала с возмущением и негодованием и отказывалась придавать ей значение. Страдание являло собой бессмысленное отклонение от нормы и не могло быть частью жизни Дагни. Она просто не позволила боли приобрести какое-то значение. Она не могла дать имени тому сопротивлению, которое оказывала боли, и той эмоции, которая рождала это сопротивление; однако в качестве эквивалента могла предложить следующие слова: это ничего не значит, это нельзя воспринимать серьезно. Она считала так даже в те мгновения, когда душа ее превращалась в сплошной стон, когда ей хотелось потерять рассудок, чтобы не видеть, как становится правдой то, что правдой быть не могло. Этого нельзя воспринимать серьезно, повторяло нечто несокрушимое, обитавшее в ее сердце, – боль и уродство никогда нельзя принимать всерьез.

Она сражалась. И она победила. Время помогло ей дожить до того дня, когда она смогла безразлично отнестись к собственным воспоминаниям, и до того дня, когда она не сочла нужным обращаться к ним. История эта была окончена и более не имела к ней никакого отношения.

В жизни ее не появился другой мужчина. Она не знала, хорошо это или плохо. У нее просто не было времени на подобные размышления. Ослепительно чистое наполнение жизни она обрела именно там, где хотела, – в своей работе. Прежде подобное ощущение давал ей Франсиско – ощущение принадлежности к собственному миру, к собственной работе. Мужчины, с которыми она знакомилась после него, принадлежали к той же самой категории, что и на первом ее балу.

Дагни выиграла сражение с воспоминаниями. Однако она все-таки пережила эти годы, воплощенные в коротком слове «почему».

Какая бы трагедия ни обрушилась на Франсиско, почему он избрал самый дешевый путь спасения, столь же низменный, как пьянство ничтожного алкоголика? Тот юноша, которого

она знала, не мог превратиться в жалкого труса. Несравненный интеллект не мог обратить свою изобретательность на сооружение тающих балльных зал. Тем не менее все это произошло, и этому не было никакого разумного объяснения, позволяющего ей спокойно забыть обо всем. Она не могла усомниться в том, каким он был; она не могла усомниться и в том, каким он стал; и оба этих факта были несовместимы друг с другом. Иногда Дагни едва не начинала сомневаться в том, что находится в здравом уме или в рациональности самого бытия; однако подобных сомнений она не позволила бы никому. Тем не менее объяснения не было, не было причины, даже намека на сколько-нибудь постижимую причину – и за прошедшие десять лет она так и не нашла ничего похожего на ответ.

Нет, думала она, проходя в серых сумерках мимо витрин заброшенных магазинов и приближаясь к отелю «Уэйн-Фолкленд», нет, ответа и быть не могло. Она не намеревается искать его. Теперь ответ уже безразличен ей.

Остаток прежнего чувства, еще трепетавший в душе ее, предназначался не мужчине, встреча с которым ей предстояла; это был вопль протеста против святотатства, против разрушения того, что должно было стать подлинным величием.

В промежутке между домами она увидела башни «Уэйн-Фолкленда». Что-то дрогнуло в сердце, ноги на мгновение остановились. А потом она уверенно продолжила путь.

К тому времени, когда Дагни вступила в мраморный вестибюль, когда она поднялась на лифте, когда пошла по широким, крытым коврами, не знающим шума коридорам «Уэйн-Фолкленда», в душе ее уже пылал холодный гнев, становившийся холодней и холодней с каждым шагом.

Дагни была уверена, что чувствует злость, когда постучала в дверь. Голос за нею ответил: – Войдите.

Рывком распахнув дверь, Дагни вошла.

Франсиско Доминго Карлос Андрес Себастьян д'Анкония сидел на полу и играл в марблс¹.

Никто и никогда не задавался вопросом, хорош ли внешне Франсиско д'Анкония; подобная мысль казалась неуместной; если он входил в комнату, смотреть на кого-то другого было уже невозможно. Его высокая, стройная фигура казалась слишком достоверной для современности, а двигался он так, словно за плечами его развевался рыцарский плащ. Общее мнение утверждало, что он наделен жизненной силой здорового зверя, однако существовали смутные подозрения в его ошибочности. Он был наделен жизненной силой здорового человека, явлением настолько редким, что никто не мог опознать его. Франсиско был наделен силой уверенности.

Никто не описывал его внешность как латинскую, но именно это слово больше всего подходило к нему – не в современном, а в изначальном смысле, когда оно относилось не к Испании, а к Древнему Риму. Глядя на его гибкое и статное тело с длинными ногами, на плавные и стремительные движения, казалось, что его специально создали как образец стройности и изысканности. Черты его были вылеплены со скульптурной точностью. Зачесанные назад прямые черные волосы, загорелая кожа подчеркивали удивительный цвет глаз: прозрачную синеву. Открытое лицо немедленно отражало его чувства, как если бы ему нечего было скрывать от людей. Голубые глаза оставались спокойными и неизменными; они никогда не выдавали его мыслей.

Франсиско сидел на полу своего номера в пижаме из тонкого черного шелка. Раскиданные вокруг него по ковру шарики были изготовлены из полудрагоценных камней его родины: сердолика и горного хрусталя. Он не поднялся, когда Дагни вошла, и только посмотрел на нее

¹ Игра с маленькими шариками, популярная в Западной Европе и Северной Америке.

снизу вверх; хрустальный шарик в его руке казался слезинкой. Франсиско улыбнулся прежней, дерзкой и ослепительной, улыбкой своего детства.

– Привет, Чушка!

И она услышала собственный голос, с беспомощной радостью отвечающий ему:

– Привет, Фриско!

Дагни смотрела ему в лицо; оно осталось тем же, что было знакомо ей. На нем не было никаких следов той жизни, которую он вел, как и той растерянности, которую видела она в последнюю проведенную с ним ночь. На нем не было отпечатков трагедии, горечи, напряженности – только слепящая насмешка, зрелая и четкая, опасно непредсказуемое веселье и огромная, не знающая вины чистота духа. Это немыслимо, решила она, еще более немыслимо, чем все остальное.

Он пристально изучал ее взглядом: расстегнутое поношенное пальто, приспущенное с плеч, и стройное тело в сером костюме, похожем на форменную одежду.

– Если ты пришла сюда в таком виде затем, чтобы скрыть от меня, насколько ты хороша, – сказал он, – то ошиблась. Ты – очаровательна. Мне хотелось бы объяснить тебе, какое это облегчение – видеть женское лицо, наделенное несомненным интеллектом. Но ты не захочешь слушать меня, потому что пришла не за этим.

Слова эти, неуместные сразу во многих отношениях, были произнесены настолько непридуманно, что немедленно вернули ее к реальности – к гневу и цели ее визита. Оставшись стоять, Дагни бесстрастно поглядела на него сверху вниз, отказывая Франсиско не только в прежнем знакомстве, но даже в возможности оскорбить ее. Она проговорила:

– Я пришла сюда, чтобы задать тебе один вопрос.

– Слушаю.

– Когда ты говорил репортерам, что прибыл в Нью-Йорк, чтобы стать свидетелем фарса, какой фарс ты имел в виду?

Он громко расхохотался, как человек, редко получающий возможность порадоваться неожиданности.

– Именно это я и люблю в тебе, Дагни. В настоящее время Нью-Йорк населяют семь миллионов человек. И из этих семи миллионов лишь ты одна поняла, что я имел в виду вовсе не скандальный развод Вейлей.

– Что же ты имел в виду?

– Твои предположения?

– Несчастье с Сан-Себастьяном.

– А вот это куда более интересно, чем какой-то там развод.

Безжалостным и торжественным тоном прокурора Дагни произнесла:

– Итак, ты сделал это осознанно, хладнокровно и преднамеренно.

– А тебе не кажется, что будет лучше, если ты снимешь пальто и сядешь?

Дагни поняла, что ошиблась, вложив в ответ слишком много чувства.

С презрением отвернувшись, она сняла пальто и отбросила его в сторону. Франсиско не поднялся, чтобы ей помочь. Дагни села в кресло. Он остался на полу, чуть поодаль, однако казалось, что он сидит у ее ног.

– Итак, что я сделал хладнокровно и преднамеренно? – спросил он.

– Провернул всю аферу с Сан-Себастьяном.

– И каковы же были мои намерения?

– Именно это мне и хотелось бы узнать.

Он усмехнулся, как если бы она попросила его на пальцах растолковать ей сложную, требующую целой жизни научную проблему.

– Ты знал, что рудники Сан-Себастьян не стоят ни гроша, – сказала она. – Ты знал это еще до того, как затеял это злосчастное дело.

– Тогда почему же я начал его?

– Только не надо рассказывать мне, что ты ничего не приобрел. Я знаю. Знаю, что ты потратил пятнадцать миллионов долларов. И тем не менее это было сделано с какой-то целью.

– А ты можешь представить себе мотив, способный заставить меня пойти на это?

– Нет. Не могу.

– Разве? Ты считаешь, что я располагаю великим умом, огромными знаниями и творческим потенциалом, и посему любое мое предприятие должно оказаться успешным. А потом утверждаешь, что у меня не было желания потрудиться на благо Мексиканской Народной Республики. Непонятно, тебе не кажется?

– Прежде чем покупать эти рудники, ты знал, что Мексикой правят грабители. Ты не был обязан стараться ради них.

– Совершенно верно.

– И тебе было плевать на мексиканское правительство, потому что...

– В этом ты ошибаешься.

– ...потому что ты знал, что рано или поздно эти люди захватят твои рудники. Тебе нужно было нанести удар по твоим американским акционерам.

– Ты права, – Франсиско смотрел на нее в упор, он не улыбался, голос его звучал искренне. Он добавил: – Но это лишь часть правды.

– А в чем она вся?

– Цель моя заключалась в другом.

– В чем же?

– А вот это ты должна сказать сама.

– Я как раз и пришла сюда, чтобы сказать тебе: я начинаю понимать твои цели.

Он улыбнулся:

– Если бы это было так, ты не пришла бы сюда.

– Ты прав. Я их не понимаю и, наверно, никогда не пойму. Я просто начинаю видеть их часть.

– Какую же?

– Ты исчерпал все известные формы порочности и придумал себе новое развлечение, чтобы дурачить людей, подобных Джиму и его друзьям, чтобы смотреть на то, как они извиваются. Не знаю, какая разновидность пресыщенности и порока может позволить тебе наслаждаться такими вещами, но ты приехал в Нью-Йорк именно за этим, выбрав нужное время.

– Бесспорно, было бы интересно посмотреть, как они извиваются. В особенности твой братец Джеймс.

– Они – гнилые тупицы, но в данном случае единственным их преступлением было то, что они доверились тебе. Они поверили твоему имени и твоей чести.

И вновь лицо Франсиско стало искренним, и она поняла, что не ошиблась, когда он произнес:

– Да. Все верно. Я знаю.

– И тебе это доставляет радость?

– Нет. Мне это не приносит никакой радости.

Франсиско продолжал играть со своими шариками, рассеянно, безразлично, лениво делая бросок за броском. Она вдруг заметила безупречную точность прицела, искусство его рук. Легким движением кисти он посылал каменную капельку по ковру точно в центр другой капельки. Она вспомнила его детство, вспомнила предсказания, согласно которым все, за что он возьмется, будет сделано в высшей степени совершенно.

– Нет, – проговорил Франсиско, – это отнюдь не доставляет мне удовольствия. Твой брат Джеймс со своими друзьями ничего не смыслят в горнодобывающей промышленности. Они не разбираются и в том, как делать деньги. Они не считают нужным учиться. Они счи-

тают знания излишними, а рассудительность маловажной. Они заметили мое появление в мире и то, что я считал делом чести овладение знаниями. Они посчитали возможным довериться моей чести. Подобное доверие нельзя предать, не так ли?

– Так значит, ты сделал это преднамеренно?

– Это уж тебе решать. Об их доверии и моей чести заговорила именно ты. Я более не пользуюсь этими терминами... – пожав плечами, он добавил: – Я и ломаного гроша не дам за твоего брата и его друзей. Теория их не нова, она просуществовала не один век. Однако она не обладает стопроцентной надежностью. Они просмотрели всего один пункт. И решили паразитировать на моей идее, предположив, что целью моего путешествия является приобретение состояния. Их расчеты основывались на том, что я намеревался сделать деньги на этих рудниках. Что, если это было не так?

– Тогда чего же ты добивался?

– Их это не интересовало. Они не спрашивали меня о целях, мотивах или желаниях, подобный интерес не является частью их теории.

– Если ты не собирался зарабатывать там деньги, какой другой мотив мог у тебя быть?

– Любой другой. Например, желание потратить их.

– Потратить деньги на полный и безусловный провал?

– Откуда я мог знать, что рудники эти полностью и абсолютно бесперспективны?

– Но как ты мог *не знать* об этом?

– Очень просто. Просто не задумывался.

– И ты начал новый проект, не обдумав его со всех сторон?

– Ну не совсем так. Но что, если я просто ошибся? Я же всего лишь человек. Ну, допустил ошибку. Потерпел неудачу. Плохо поработал, – он сделал резкое движение кистью: хрустальный шарик, искрясь, прокатился по полу, звучно ударившись в своего бурого собрата на противоположной стороне комнаты.

– Я не верю тебе, – сказала Дагни.

– Не веришь? Неужели у меня нет права на эту ныне признанную общечеловеческую черту? Неужели я обязан расплачиваться за все чужие ошибки, не имея права допустить свою собственную?

– Это не похоже на тебя.

– В самом деле? – он лениво и вольготно растянулся во весь рост на ковре. – Ты намеревалась дать мне понять, что поскольку, по твоему мнению, я поступил так намеренно, ты по-прежнему считаешь, что у меня есть цель? Ты до сих пор не способна увидеть во мне подонка?

Дагни закрыла глаза. Франсиско расхохотался; большего веселья в его голосе ей еще не приходилось слышать. Она торопливо открыла глаза, но на лице Франсиско не было ни малейшего признака жестокости, оно озарилось искреннейшим смехом.

– Мой мотив, Дагни? А ты не думаешь, что он мог быть простейшим, вызванным сиюминутным капризом?

Нет, подумала она, нет, это не так; он не мог бы тогда так смеяться, так смотреть на нее. Способность к безмятежному веселью не может быть дарована безответственному дураку; нерушимый душевный покой не может посетить бродягу; умение смеяться подобным образом является конечным результатом самых глубоких, самых серьезных размышлений.

Почти с безразличием глядя на распростертую у ее ног фигуру, Дагни почувствовала, что память кое-что возвращает ей: черная пижама подчеркивала длинные линии тела, в распахнутом воротнике виднелась гладкая, молодая, загорелая кожа; ей вспомнился тот юноша в черных широких брюках и черной рубашке, что лежал рядом с ней на траве в далекий утренний час. Тогда она гордилась тем, что ей принадлежит его тело; гордость эта до сих пор не изгладилась из ее души. Дагни вдруг вспомнила самые разнузданные мгновения их физической близости, память о которых, казалось, должна была бы стать теперь оскорбительной для нее,

но не несла оскорбления. Гордость эта не сочеталась с сожалением или надеждой; чувство это более не имело власти над ней, но и избавиться от него она также не могла.

Совершенно необъяснимым образом, по ассоциации с внезапным чувством, Дагни вспомнила то, что недавно даровало ей столь же самозабвенное счастье.

– Франсиско, – услышала она свой негромкий голос, – мы с тобой когда-то любили музыку Ричарда Халлея...

– Я по-прежнему люблю ее.

– Ты был с ним знаком?

– Да. А почему ты спрашиваешь?

– Ты случайно не знаешь, не написал ли он Пятый концерт?

Франсиско замер. Она считала, что потрясти его невозможно; но это оказалось не так. Однако она не стала даже гадать, почему из всего сказанного ею именно эти слова так поразили его. Но все ограничилось каким-то мгновением; он снова заговорил ровным тоном:

– А что заставляет тебя так считать?

– Ну так написал или нет?

– Тебе известно, что существуют всего четыре концерта Халлея.

– Да. Но мне показалось, что он написал еще один.

– Он перестал писать.

– Я знаю это.

– Тогда что заставило тебя задать этот вопрос?

– Праздная мысль. Чем он занимается сейчас? И где находится?

– Не знаю. Я давно не виделся с ним. Но что заставило тебя считать, что Пятый концерт существует?

– Я не утверждала, а просто предположила.

– Но почему ты подумала о Ричарде Халлее именно сейчас?

– Потому что... – выдержка начинала изменять ей, – ...потому что мой разум не способен воспринять переход от музыки Ричарда Халлея к... миссис Гильберт Вейль.

Франсиско с облегчением рассмеялся:

– Ах, ты про это... Кстати, если ты следила за публикациями обо мне, то могла бы заметить забавную маленькую неувязку в повествовании миссис Гильберт Вейль.

– Я не читаю ерунды.

– А следовало бы. Она самым превосходным образом описала прошлый новогодний сочельник, который, по ее утверждению, мы провели вместе на моей вилле в Андах. Освещенные лунным светом вершины гор, кроваво-красные цветы на оплетающих окна лианах. Ты видишь что-либо неправильное в этой картине?

Дагни негромко ответила:

– Об этом следовало бы мне спрашивать тебя, но я не намереваюсь этого делать.

– Ну а я не вижу в ней ничего плохого, за исключением того, что как раз в тот сочельник находился в Техасе, в Эль-Пасо, где председательствовал на открытии линии Сан-Себастьян, принадлежавшей компании «*Таггерт Трансконтинентал*», как тебе следовало бы помнить, даже в том случае, если ты предпочла не присутствовать при подобном событии. У меня даже фотография осталась, на которой я стою, положив руки на плечи твоему брату Джеймсу и сеньору Оррену Бойлю.

Дагни охнула, вспомнив, что он действительно прав и что рассказ миссис Вейль она прочитала в газетах.

– Франсиско, что... что это значит?

Он усмехнулся:

– Делай выводы сама... Дагни, – лицо его сделалось серьезным, – почему ты решила, что Халлей написал Пятый концерт? Почему не новую симфонию или оперу? Почему именно концерт?

– А что это так волнует тебя?

– Не волнует, – он негромко добавил: – Я по-прежнему люблю его музыку, Дагни.

Голос его вновь сделался непринужденным:

– Но она принадлежала к другому времени. Нашему веку свойственны развлечения иного рода.

Франсиско перекатился на спину и лег, подложив скрещенные руки под голову, разглядывая потолок так, как если бы на нем разыгрывалась сценка из какого-то кинофарса.

– Дагни, разве тебя не потешил тот спектакль, что разыгрался в Мексике с этими рудниками... как их там, Сан-Себастьян? Ты читала речи, которые произносили члены правительства этой страны, и передовицы в местных газетах? Они называли меня беспринципным обманщиком, надувшим целое государство. Они-то рассчитывали захватить перспективный горнодобывающий концерн. И я не имел никакого права обманывать их в этом благородном намерении. Ты не читала о паршивом мелком чиновничестве, который советовал им подать на меня в суд?

Франсиско рассмеялся и изменил позу: руки его теперь лежали на ковре, превращая тело в подобие креста. Он казался совершенно беззащитным, раскрепощенным и молодым.

– Представление это стоило любых затрат. Я могу позволить себе такие расходы. И если бы я затеял весь спектакль преднамеренно, то превзошел бы самого императора Нерона. Разве можно сравнить испепеливший город пожар с разверзшимся адом, который я им показал?

Приподнявшись на локте, Франсиско взял в руку несколько шариков и рассеянным движением встряхнул их на ладони; камни отозвались мягким чистым звоном, присущим хорошей породе. Дагни вдруг поняла, что Франсиско играет в марблс не по вздорной привычке; он просто не знал, что такое покой, и не мог долго оставаться без дела.

– Правительство Мексиканской Народной Республики выпустило прокламацию, – продолжил он, – в которой попросило свой народ соблюдать терпение и еще на какое-то время примириться с трудностями. Похоже, что доходы от меди Сан-Себастьяна уже были заложены в планы их Центрального комитета. Это должно было повысить в стране уровень жизни, дать всем и каждому – мужчине, женщине, ребенку и недоноску – по куску жареной свинины по воскресеньям. И теперь эти любители строить планы просят свой народ винить не правительство, а порочные наклонности богачей, потому что я оказался безответственным плейбоем, а не жадным капиталистом, на которого они рассчитывали наткнуться. Откуда они могли знать, спрашивают эти людишки, что я подведу их? И в самом деле, откуда им было знать это?

Дагни отметила, как Франсиско сжимал в своей руке камни. Он не замечал этого, вглядываясь в какую-то мрачную даль, но она могла утверждать, что движение это приносило ему некоторое облегчение, быть может, по контрасту. Пальцы его неторопливо, с чувственным наслаждением поглаживали поверхность камня. Подобный способ получать удовольствие показался ей несносным, напротив, Дагни сочла его странным образом привлекательным, словно бы, как подумала она вдруг, чувственность не имела физической природы, а являлась следствием утонченного унижения природы духовной.

– Однако не знали они не только об этом, – сказал он, – им предстоит ознакомиться еще с некоторыми новостями. Для рабочих в Сан-Себастьяне построен поселок. Он обошелся в восемь миллионов долларов. Дома на стальных каркасах, с водопроводом, электричеством и холодильниками. Кроме того, школа, церковь, госпиталь и кинотеатр. Целый поселок, построенный для людей, живших в хибарах из плавника и жестяных банок. И наградой за это мне стала возможность убраться восвояси, целым и невредимым, особая привилегия, кото-

рой я удостоился благодаря тому, что не был гражданином Мексиканской Народной Республики. Этот рабочий поселок тоже был учтен в их планах. Еще бы, пример прогрессивных методов строительства. Что ж, эти дома на стальных каркасах построены в основном из картона, покрытого добрым поддельным шеллаком. Они не простоят и года. Водопроводные трубы – как и почти все наше горное оборудование – были приобретены у дельцов, основным источником товара которым служат городские свалки Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро. Могу поручиться, что эти трубы продержатся еще пять месяцев, а проводка не откажет еще полгода. Чудесные дороги, устроенные нами для Мексиканской Народной Республики, не переживут и пары зим: они покрыты дешевым цементом без насыпной подушки, а ограждение в опасных местах сооружено из крашенных досок. Остается дожидаться первого оползня. Ну церковь-то выстоит. Она им понадобится.

– Франсиско, – прошептала Дагни, – ты сделал это нарочно?

Он приподнял голову; к своему удивлению, она заметила в его глазах отблеск бесконечной усталости.

– Нарочно ли, – проговорил он, – по халатности ли, по глупости ли... разве ты не понимаешь, что это не имеет значения? Пропущен один и тот же элемент.

Дагни содрогнулась и, позабыв про обещанный себе полный самоконтроль, воскликнула:

– Франсиско! Если ты видишь, что происходит в мире, если *осознаешь*, что именно сказал сейчас, то как ты можешь смеяться над всем этим! Тебе, именно тебе в первую очередь следовало бы сражаться с ними!

– С кем?

– С грабителями, с теми, кто сделал возможным всемирный грабеж. С мексиканскими комитетчиками и им подобными.

Улыбка его сделалась опасной:

– Нет, моя дорогая. Это с тобой я должен сражаться.

Она посмотрела на него с недоумением:

– Что ты хочешь этим сказать?

– Я хочу сказать, что рабочий поселок для Сан-Себастьяна стоил мне восемь миллионов долларов, – ответил он, жестким голосом подчеркивая слова. – На деньги, потраченные на картонные дома, я мог бы купить стальные конструкции. Как и на деньги, потраченные на все остальное. Деньги эти ушли к тем людям, которые создают собственное богатство подобными методами. Но такие люди останутся богатыми недолго. И деньги уйдут своим путем не к тем, кто умеет работать, а к тем, кто наиболее изощрен и развратен. По нормам нашего времени побеждает тот, от кого меньше всего пользы. Эти деньги будут растрочены на проекты, подобные рудникам Сан-Себастьян.

Она заставила себя спросить:

– Так вот, значит, какова твоя цель?

– Да.

– И это радует тебя?

– Да.

– Я подумала о твоём имени, – проговорила Дагни, хотя некая часть разума упорно твердила ей, что спорить сейчас бесполезно. – В твоей семье, кажется, существовала традиция, требовавшая, чтобы очередной д'Анкония оставлял после себя состояние более крупное, чем было получено им от отца.

– О да, мои предки были наделены удивительной способностью совершать нужные поступки в нужное время и делать правильные вложения. Ну, конечно, «вложение» – тоже относительное понятие. Все зависит от того, чего ты хочешь достичь. Например, возьмем Сан-Себастьян. Он обошелся мне в пятнадцать миллионов долларов, однако эти пятнадцать миллионов уничтожили сорок миллионов, принадлежавших «*Таггерт Трансконтинентал*», и трид-

цать пять миллионов из карманов таких вкладчиков, как Джеймс Таггерт и Оррен Бойль, попутно с сотнями миллионов, в которые обойдутся всякие вторичные последствия. Неплохое вложение, не правда ли, Дагни?

Она выпрямилась в кресле:

– Ты хоть понимаешь, что говоришь?

– О, в полной мере! Должен ли я назвать тебе все последствия, за которые ты намеревалась меня ругать? Во-первых, я не думаю, что «*Таггерт Трансконтинентал*» переживет утрату своей пресловутой линии Сан-Себастьян. Ты надеешься, но этого не произойдет. Во-вторых, Сан-Себастьян помог твоему братцу Джеймсу уничтожить «*Феникс-Дуранго*», единственную хорошую железнодорожную линию во всей стране.

– Ты понимаешь это?

– И не только это.

– А ты... – она не знала, почему хочет спросить именно это; должно быть потому, что темные ярые глаза еще смотрели на нее из недр памяти: – ...ты знаком с Эллисом Уайэттом?

– Конечно.

– И ты знаешь, какие последствия это будет иметь для него?

– Да. Его придется уничтожить следующим.

– И ты... находишь это занятие... интересным?

– Куда более волнующим, чем разорение мексиканских комитетчиков.

Дагни встала. Она столько лет считала его безнравственным; она боялась этого, она думала об этом, она старалась забыть об этом и никогда больше не вспоминать; однако она и представить не могла, насколько глубоким оказалось его падение.

Она не смотрела на него; она не понимала, что говорит вслух, что снова произносит сказанные им когда-то слова: «...кто будет больше гордиться: Нат Таггерт тобой или Себастьян д'Анкония мною...»

– Но разве ты не поняла, что я назвал эти рудники в честь своего великого предка? Помоему, подобная честь пришла бы ему по вкусу.

На мгновение Дагни словно ослепла; ей еще не было известно, что такое богохульство и что ощущает человек, сталкиваясь с ним; теперь она поняла это.

Франсиско поднялся с пола и смотрел на нее сверху вниз; холодная и безликая улыбка ничего не открывала Дагни.

Ее бил озноб, но Дагни не замечала его. Ей было безразлично, что он увидит, о чем догадается, над чем посмеется.

– Я пришла сюда, так как хотела узнать причину того, что ты сделал со своей жизнью, – произнесла она бесстрастным, лишенным эмоций тоном.

– Я назвал тебе эту причину, – серьезно ответил он, – однако ты не захотела поверить в нее.

– Я все вижу тебя прежним и не могу забыть. А то, чем ты теперь стал, не принадлежит к рациональной Вселенной.

– Не принадлежит? А окружающий нас мир принадлежит к ней?

– Ты не принадлежишь к числу людей, которых может раздавить мир, каким бы он ни оказался...

– Правильно.

– Так почему же?

Франсиско пожал плечами:

– А кто такой Джон Голт?

– О, незачем пользоваться этой пошлятиной!

Франсиско посмотрел на нее. Губы его улыбались, но глаза оставались спокойными, искренними и даже – на мгновение – тревожно восприимчивыми.

– Так почему? – спросила она.

Он ответил теми же словами, которые произнес однажды ночью в этом же самом отеле десять лет назад:

– Ты не готова услышать это.

Он не стал провожать ее до двери. Опустив руку на дверную ручку, Дагни повернулась... и остановилась. Франсиско не отрывал от нее глаз; взгляд его охватывал ее целиком; она понимала его смысл, и это приковывало ее к месту.

– Я по-прежнему хочу спать с тобой, – проговорил он. – Но я не настолько счастлив, чтобы позвать тебя в постель.

– Не настолько счастлив? – повторила она в полном недоумении.

Он рассмеялся.

– Не будет ли лучше, если ты сперва ответишь на мое предложение? – Она молчала. – Ты ведь тоже этого хочешь, не так ли?

Дагни уже хотела сказать «нет», но вовремя поняла, что истина значительно хуже.

– Да, – ответила она ледяным тоном, – но это желание ничего не значит для меня.

Франсиско улыбнулся, явно отдавая должное той силе, которая потребовалась ей, чтобы ответить именно так.

Однако когда она открыла дверь, чтобы уйти, он произнес уже без всякой улыбки:

– Ты наделена великой отвагой, Дагни. И однажды тебе этого будет достаточно.

– Чего? Отваги?

Он не ответил.

ГЛАВА VI. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

Риарден припал лбом к зеркалу и попытался избавиться от всех мыслей. Только так и можно пережить предстоящий вечер, сказал он себе.

Он сконцентрировался на том облегчении, которое приносило прохладное прикосновение зеркала, гадая, каким образом можно отключить разум, особенно после того, как всю жизнь ты требовал от него постоянного, ничем не замутненного и безотказного бдения. Он задавался вопросом, почему сейчас не мог заставить себя застегнуть несколько пуговиц из черного перламутра на накрахмаленной белой рубашке, хотя прежде ни одно усилие не казалось ему чрезмерным.

Настал день годовщины его свадьбы, и он был за три месяца предупрежден о том, что сегодня Лилиан устраивает по этому поводу прием.

Он дал обещание присутствовать, пребывая в благодушной уверенности в том, что до приема остается еще целых три месяца и что, когда придет срок, справится с этой обязанностью, как и со всяким делом, попадавшим в его утрамбованное до предела расписание. А потом, работая по восемнадцать часов в сутки, он благополучно забыл о своем обещании, пока полчаса назад в его кабинет не вошла секретарша и уверенным тоном не произнесла:

– У вас сегодня прием, мистер Риарден.

Воскликнув: «Бог ты мой!» – он вскочил на ноги, спешно отправившись домой. Он взлетел вверх по лестнице, торопливо снял с себя рабочий костюм и приступил к одеванию, понимая только то, что должен торопиться, но никак не саму цель этой спешки.

Но когда до него в полной мере дошло, чего от него хотят, Риарден остановился.

– Ты не думаешь ни о чем, кроме своего дела, – слышал он всю свою жизнь, словно обвинительный приговор. Ему всегда давали понять, что в бизнесе следует видеть своего рода тайный и порочный культ, в который не следует посвящать невинного обывателя; что в занятии этим люди усматривают уродливую необходимость, которую исполняют, не распространяясь относительно подробностей; что деловые разговоры представляют собой преступление против высших материй; и что если следует отмыть руки от машинного масла, прежде чем вернуться домой, то необходимо и смыть со своего разума оставленное бизнесом пятно, прежде чем войти в гостиную. Сам он не придерживался подобной веры, однако находил вполне естественным то, что ее исповедовали члены его семьи. Он принял раз и навсегда как данность – бессловесно, не подвергая сомнению, как бывает только в детстве, не пытаясь оспорить или дать название этому чувству, – что обрек себя на служение темной вере, ставшей его страстью, но сделавшей его отверженным среди людей, от которых он не мог ждать сочувствия.

Он понимал, что должен посвящать жене часть своей жизни, в которой нет места бизнесу. Но на практике он никогда не находил возможности воплотить это в жизнь или хотя бы почувствовать свою вину. Он не мог заставить себя перемениться, не мог и винить жену, когда та осуждала его.

Он не уделял Лилиан ни крохи своего драгоценного времени целыми месяцами, – нет, подумал он, годами, все восемь лет их брака. У него не было никакого желания разделять ее интересы, не было и стремления узнать хотя бы, в чем они заключаются.

Она не страдала от нехватки друзей; насколько ему было известно, поговаривали, что имена их составляли гордость национальной культуры, однако у него никогда не находилось времени встретиться с ними или просто признать их славу, ознакомившись с теми достижениями, что принесли ее. Он знал только то, что имена эти нередко появлялись на обложках журналов. И Лилиан права в своей обиде на него, думал он. Да, она не слишком приятным образом обращается с ним, он этого заслужил. Если родные называют его бессердечным, то они правы.

Риарден никогда и ни в чем не щадил себя. Когда на заводе возникала какая-нибудь проблема, он в первую очередь стремился выяснить, какую допустил ошибку; он никогда не искал виноватых, кроме себя самого; лишь от себя требовал он совершенства. Он не позволял себе никаких поблажек; всю вину он принимал на себя. Однако там, на заводе, такое решение немедленно побуждало его к действию, заставляло исправлять ошибку; сейчас оно не срабатывало... Еще несколько мгновений, подумал он, стоя с закрытыми глазами и не отрывая лба от зеркала.

Он не мог заставить замолчать свой говорящий разум; с тем же успехом можно пытаться перекрыть руками напор воды, бьющей из сорвавшегося с резьбы пожарного крана.

Колкие струи, в которых слова мешались с образами, разили его мозг...

Часы, думал он, часы уйдут на созерцание этих лиц; часы, полные скуки, если они просто пьяны, и отвращения, рожденного этими пустыми глазами, пока они трезвы; сколько же времени придется изображать, что ты не замечаешь ни того, ни другого, сколько придется изобретать какие-то обращенные к ним фразы, когда сказать нечего, – и это тогда, когда время это было позарез необходимо ему, чтобы подыскать нового начальника прокатного цеха вместо внезапно уволившегося без всякого предупреждения... это следовало сделать без малейшего промедления, поскольку найти подобного рода специалиста невероятно трудно... а если что-то нарушит плавную работу прокатных станков, выпускавших рельсы для Тагтертов... Он вспомнил ту безмолвную укоризну, те взгляды, полные обвинения и презрения, которые обращали к нему родственники, обнаруживая очередное свидетельство его преданности своему делу, и тщетность его молчаливой надежды на то, что они, наконец, решат, что «*Риарден Стил*» значит для него меньше, чем это было на самом деле, – так пьяница изображает безразличие к спиртному в присутствии людей, презрительно наблюдающих за ним, прекрасно зная о его позорной слабости...

– Я слышала, что вчера ты заявился домой в два часа ночи, и где же ты был? – спрашивала его мать за обеденным столом, и Лилиан отвечала ей:

– Конечно же, на своем заводе, – тем же тоном, которым другая жена с уверенностью произнесла бы: – В кабаке, где же еще...

Или Лилиан спрашивала его с проницательной полуулыбкой:

– Что ты делал вчера в Нью-Йорке?

– Был на банкете с ребятами.

– Деловом?

– Да.

– Ну конечно, – и не произнеся ничего более, Лилиан отворачивалась, пробудив в нем какое-то дурацкое, позорное ощущение: он поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы она подумала, будто он побывал на какой-нибудь непристойной холостяцкой вечеринке...

В шторм на озере Мичиган утонул сухогруз, перевозивший тысячи тонн купленной Риарденом руды, – корабли эти разваливались на ходу – и если он не поможет возместить убытки, владельцы паровой компании разорятся, не оставив на озере ни одного судна...

– Этот уголок? – сказала Лилиан, указывая на кофейные столики и диваны, расставленные ею в гостиной. – Но, Генри, это уже не новость, хотя мне должно льстить, что тебе потребовалось всего три недели, чтобы заметить перестановку. Это моя собственная трактовка обстановки утренней комнаты знаменитого французского дворца – впрочем, такие вещи не могут тебя интересовать, дорогой, поскольку их не найдешь на фондовой бирже, как ни ищи...

...Сделанный им шесть месяцев назад заказ на медь до сих пор не был выполнен, оговоренная в договоре дата поставки переносилась уже три раза: «Здесь от нас ничего не зависит, мистер Риарден». Ему пришлось искать нового контрагента: обеспечить поставки меди становилось все труднее...

...Филипп не улыбнулся, прервав свой спич, в котором он превозносил перед какой-то подругой их матери некую организацию, в ряды которой только что вступил, просто обмякшие мышцы его лица всегда намекали на полную превосходства улыбку. Он сказал:

– Нет, Генри, эта тема просто не может интересовать тебя, в ней нет ничего коммерческого....

...Тот подрядчик в Детройте, взявшийся за перестройку крупного завода, просматривал возможность использования опорных конструкций из риарден-металла – надо было бы слетать в Детройт и лично переговорить с ним – он должен был сделать это еще неделю назад, он мог бы сделать это прямо сегодня...

– Ты не слушаешь меня, – говорила за завтраком мать в тот момент, когда мысли его обратились к текущему индексу цен на уголь, в то время как она рассказывала ему сон, привидевшийся ей прошлой ночью. – Ты никогда не слышишь, что тебе говорят другие. Тебя не интересует ничего, кроме тебя самого. Ты совершенно не думаешь о людях, тебе не дорог ни один человек на всей земле.

...Машинописные страницы, оставшиеся на столе в его служебном кабинете, сообщали об испытании авиационного двигателя, изготовленного из риарден-металла, и, наверно, более всего на свете ему хотелось в настоящий момент прочитать их – отчет оставался нетронутым уже три дня, потому что у него не находилось времени взять эти листки в руки...

Резко тряхнув головой, Риарден открыл глаза и отступил от зеркала.

Он попытался застегнуть пуговицы на рубашке. Однако рука его сама собой протянулась к стопке писем, оставленных на столике. Это были срочные письма, их следовало прочитать сегодня, но он не успел сделать этого в кабинете.

Секретарша сунула ему эти письма в карман, когда он шел к двери. Раздеваясь, он переложил их на столик.

Из стопки выпала на пол газетная вырезка. Это была передовица, которую пометила секретарша, сердито перечеркнув красным карандашом. Она называлась «Уравнение возможностей». Он должен был прочитать ее: об этом в последние три месяца говорили слишком много, прямо скажем, прискорбно много. И он прочел статью – под доносившиеся снизу звуки голосов и деланные смешки, напоминавшие ему о том, что гости прибывают, вечеринка уже началась, и ему придется ловить на себе полные горькой укоризны взгляды родственников, когда он спустится вниз.

Передовица повествовала о том, что во времена падения производства, сокращения рынка и исчезновения возможности обеспечить свою жизнь нечестно позволять одному субъекту владеть несколькими предприятиями, в то время как у других людей нет ни одного; что губельно оставлять все ресурсы в руках кучки предпринимателей, не предоставляя шанса другим; что конкуренция является важнейшей опорой общества, которое обязано следить за тем, чтобы никто не поднимался слишком высоко, становясь вне конкуренции. Передовица предсказывала успех предложенному законопроекту, запрещающему любому субъекту или корпорации владеть более чем одним промышленным концерном.

Уэсли Моуч, его человек в Вашингтоне, посоветовал Риардену не беспокоиться; по его мнению, схватка предстояла упорная, однако законопроект будет отклонен.

Риарден ничего не понимал в такого рода сражениях. Возможность вести их он представил Моучу и его штабу. Он едва находил время, чтобы пробежать полученные из Вашингтона сообщения и подписывать чеки, присланные Моучем на оплату его батальей.

Риарден не верил в то, что законопроект может пройти. Он просто не мог допустить этого. Проведя свою жизнь в чистой реальности: посреди металлов, техники и технологий, – он приобрел искреннюю уверенность в том, что человеку следует иметь дело только с вещами рациональными, а не безумными, что следует искать правды, ибо верным всегда является только правдивый ответ, что бессмысленное, ложное, чудовищно несправедливое не способно пре-

успеть, не способно ни на что другое, кроме как потерпеть поражение. Битва с такой вещью, как упомянутый законопроект, казалась ему отвратительной и даже просто немыслимой – как если его вдруг попросили бы конкурировать с человеком, рассчитывающим состав стальных сплавов по формулам нумерологии.

Риарден напомнил себе о том, что вопрос этот представляет собой существенную опасность. И все же даже самый отчаянный визг наиболее истеричной газетенки не пробуждал в нем никаких чувств, в то время как изменение какой-нибудь характеристики риарден-металла в лабораторном эксперименте заставляло его вскакивать на ноги от нетерпения или тревоги.

У него не оставалось сил ни на что другое.

Риарден смял передовицу и швырнул ее в корзину для бумаг. Он ощущал приближение свинцового утомления, которое никогда не посещало его на работе, как будто карауля его и поджидая того мгновения, когда он обратится к другим делам. Риардену казалось, что он не испытывает никакой иной потребности, кроме отчаянного желания спать. Он сказал себе, что должен присутствовать на вечеринке, что у родных есть право требовать от него этой уступки и что он обязан научиться испытывать понятное им удовольствие – не ради себя, ради них.

Он задавался вопросом, почему мотив не имеет над ним власти, не побуждает к действию. Всю его жизнь в тех случаях, когда он считал правильным тот или иной вектор действия, желание следовать ему являлось автоматически. «Что происходит со мной?» – гадал Риарден. Немыслимый конфликт чувств, нежелание поступать правильно – не это ли основная формула морального разложения? Признавать собственную вину, не ощущая при этом ничего, кроме холодного, глубочайшего безразличия – не в этом ли предательство сути, двигателя его жизни, источника его гордости?

Не теряя больше времени на поиски ответа, он оделся – быстро и без жалости к себе.

Не сгибая спины, ступая с неспешной и естественной властью, с безукоризненно белым платком в нагрудном кармане черного фрака, он неторопливо сошел по лестнице в гостиную с видом истинно великого предпринимателя – к вящему удовлетворению собравшихся пожилых дам.

Лилиан стояла возле подножия лестницы. Благородные линии лимонно-желтого вечернего платья в стиле ампира подчеркивали изящество ее тела, и держалась она как человек, полностью довольный окружающим. Риарден улыбнулся, ему было приятно видеть жену счастливой; ее радость оправдывала весь прием.

Однако приблизившись к ней, он замер. Лилиан всегда обладала хорошим вкусом в отношении драгоценностей и никогда не надевала их больше, чем нужно. Однако в этот вечер она устроила целую выставку: бриллиантовое ожерелье соседствовало с алмазными серьгами, кольцами и брошками. Руки ее по контрасту казались подозрительно обнаженными. Лишь правое запястье украшал браслет из риарден-металла. Сыпавшие искры бриллианты превращали браслет в подобие дешевой побрякушки из грошового ларька.

Переведя взгляд с запястья жены на ее лицо, Риарден поймал на себе ее встречный взгляд. Она прищурилась, и он не мог истолковать выражение ее глаз; взгляд Лилиан был замкнут и сосредоточен, он скрывал в себе нечто, старавшееся спастись от разоблачения.

Риардену хотелось сорвать браслет с ее руки. Но вместо этого, покоряясь ее веселому голосу, приветствовавшему очередную гостью, он с бесстрастным выражением лица поклонился стоявшей перед ними даме.

– Человек? Что есть человек? Всего лишь горстка наделенных манией величия химикалий, – обратился доктор Притчетт к группе находившихся на противоположной стороне комнаты гостей.

Взяв двумя пальцами канapé с хрустального блюда, доктор Притчетт отправил его целиком в рот.

– Метафизические претензии человека нелепы, – провозгласил он. – Этот жалкий комок протоплазмы, полный уродливых и мелких концепций, посредственных и не менее мелких чувств, воображает себя значительным! Именно в этом, на мой взгляд, и коренятся все горести мира.

– Но какие же концепции, профессор, вы назовете не мелочными и не уродливыми? – с искренним интересом спросила дама, мужу которой принадлежал автомобильный завод.

– Таких нет, – ответил доктор Притчетт, – просто нет, в рамках человеческих способностей, разумеется.

Молодой человек нерешительным тоном спросил:

– Но если у нас нет никаких добротных концепций, как можно назвать уродливыми те, которыми мы располагаем? Какие здесь существуют критерии?

– Их не существует вовсе.

Слушатели невольно притихли.

– Философы прошлого судили поверхностно, – продолжал доктор Притчетт. – И на долю нашего столетия выпало заново определить цель философии. Она заключается вовсе не в том, чтобы помочь человеку определить смысл жизни, но в том, чтобы доказать, что такового не существует вовсе.

Привлекательная молодая женщина, дочь владельца угольной шахты, негодующим тоном спросила:

– Но кто может утверждать это?

– Я пытаюсь, – проговорил доктор Притчетт. Последние три года он возглавлял факультет философии в университете Патрика Генри.

К нему подошла Лилиан Риарден, сверкая бриллиантами в свете ламп.

Выражение ее лица, легкая улыбка казались вышедшими из-под рук того же парикмахера, что укладывал ей волосы.

– Таким трудным человека делает его стремление к смыслу, – продолжил доктор Притчетт. – И когда он поймет, что не имеет абсолютно никакого значения в огромной Вселенной, что всякая деятельность его бессмысленна как таковая, что не имеет никакого значения, жив он или умер, то он сразу делается существенно... покорней.

Пожав плечами, он потянулся к другому канапе.

Бизнесмен недоуменно произнес:

– Но, профессор, я спрашивал вас о том, что вы думаете в отношении Закона справедливой доли.

– Ах, это? – проговорил доктор Притчетт. – Но, по-моему, я дал ясно понять, что поддерживаю его, поскольку являюсь сторонником свободной экономики. А свободная экономика не способна существовать без конкуренции. Посему людей следует заставить конкурировать. Итак, следует управлять людьми, чтобы заставить их стать свободными.

– Но, видите ли... разве вы не противоречите самому себе?

– Нет – в высшем философском смысле. Необходимо научиться обходиться без рамок статичных формулировок, присущих старомодному мышлению. Во Вселенной нет ничего статичного. Все течет.

– Однако разум говорит, что...

– Разум, мой дорогой друг, является самым наивным из предрассудков. Таково ныне, во всяком случае, общее мнение.

– Но я не вполне понимаю, как мы можем...

– Вас мучит популярное заблуждение: вы предполагаете, что все можно понять. Вы не осознаете того факта, что сама Вселенная представляет собой колоссальное противоречие.

– С чем же? – спросила матрона.

– С собой, с самой Вселенной.

– Но... как это возможно?

– Моя дорогая леди, долг мыслителей заключается не в том, чтобы объяснять мир, но в том, чтобы доказывать, что объяснить что-либо невозможно.

– Да, конечно... только...

– Предназначение философии заключается в поисках – но не знания, а доказательства того, что человек не может обладать знанием.

– И что же останется, – спросила молодая женщина, – после того, как мы сумеем доказать это?

– Инстинкты, – с глубокой почтительностью промолвил доктор Притчетт.

Собравшаяся на другом конце комнаты группа внимала Бальфу Юбэнку. Он сидел, выпрямившись, на краешке кресла, стараясь удержать в целостности свое грузное тело, в расслабленном состоянии кажущееся особенно необъятным.

– Литература прошлого, – вещал Бальф Юбэнк, – представляла собой мелкое жульничество. Она лакировала жизнь в угоду денежным мешкам, которым служила. Моральные принципы, свободная воля, достижения, торжество добра, героизм в изображении человека – все это теперь выглядит откровенно смешно. Наш век впервые наделил литературу глубиной, обнажив истинную сущность жизни.

Молоденькая девушка в белом вечернем платье робко спросила:

– А какова истинная сущность жизни, мистер Юбэнк?

– Страдание, – ответил Бальф Юбэнк. – Поражение и страдание.

– Но... но почему? Люди же бывают счастливы... хотя бы иногда... разве не так?

– Это заблуждение исповедуют натуры поверхностные.

Девушка покраснела. Состоятельная дама, унаследовавшая нефтеперегонный завод, спросила виноватым тоном:

– Но что мы должны делать, мистер Юбэнк, чтобы улучшить литературный вкус масс?

– В этом заключается великая общественная проблема, – проговорил Бальф Юбэнк. Его считали литературным лидером века, невзирая на то, что ни одна из написанных им книг не была продана тиражом больше трех тысяч экземпляров. – И лично я полагаю, что Закон справедливой доли в применении к литературе позволит разрешить эту проблему.

– О, так вы одобряете этот законопроект и в отношении к промышленности? Я не знаю, что и думать об этом.

– Конечно же, я одобряю его. Наша культура погрязла в болоте материализма. В погоне за материальной выгодой и технологическими фокусами люди утратили все духовные ценности. Мир сделался чересчур комфортабельным. Но люди возвратятся к более благородному образу жизни, если мы заново научим их терпеть лишения. И поэтому мы должны положить конец личной жадности.

– Я никогда не воспринимала эту проблему под таким углом, – виноватым тоном произнесла женщина.

– Но как вы намереваетесь применить Закон справедливой доли к литературе, Ральф? – спросил Морт Лидди. – Это какая-то новая идея.

– Меня зовут Бальф, – недовольным тоном буркнул Юбэнк. – И идея эта кажется вам новой, потому что принадлежит лично мне.

– Ну-ну, я не пытаюсь затеять ссору! Я просто спрашиваю. – Морт Лидди улыбнулся. Нервная улыбка почти не сходила с его лица. Он был композитором и писал старомодную музыку для кино и модернистские симфонии, исполнявшиеся в полупустых залах.

– Все очень просто, – сказал Бальф Юбэнк. – Необходимо выпустить закон, ограничивающий тираж любой книги десятью тысячами экземпляров. Эта мера откроет литературный рынок перед новыми дарованиями, свежими идеями и некоммерческой литературой. Если

запретить людям раскупать миллионные тиражи какой-нибудь дряни, они волей-неволей начнут покупать более качественные книги.

– Что-то в этом есть, – промолвил Морт Лидди. – Однако не отрицательно ли повлияет подобная постановка дела на банковские счета писателей?

– Тем лучше. Позволять писать следует только тем, кто делает это не из корысти.

– Мистер Юбэнк, – спросила юная девушка в белом платье, – но что в таком случае делать, если купить какую-то книгу захотят больше десяти тысяч человек?

– Десяти тысяч читателей вполне достаточно для любой книги.

– Я имею в виду совсем не это. Я про то, если они *захотят*?

– Это совершенно не относится к делу.

– Но если книга содержит интересное повествование, которое...

– Сюжет в литературе следует считать примитивной пошлостью, – презрительно бросил Бальф Юбэнк.

Доктор Притчетт, пересекавший комнату, направляясь к бару, остановился, чтобы заметить:

– Именно так. Так же как логику следует считать примитивной пошлостью в философии.

– А мелодию примитивной пошлостью в музыке, – добавил Морт Лидди.

– О чем спор? – поинтересовалась Лилиан Риарден, остановившаяся возле них.

– Лилиан, ангел мой, – пропел Бальф Юбэнк, – я не говорил еще, что посвящаю свой новый роман вам?

– В самом деле? Спасибо, мой дорогой.

– А как будет называться ваш новый роман? – осведомилась состоятельная дама.

– *«Сердце – одинокий молочник»*.

– И о чем же он будет рассказывать?

– О разочаровании.

– Но мистер Юбэнк, – отчаянно краснея, произнесла девушка в белом платье, – если вокруг одно сплошное разочарование, зачем тогда жить?

– Ради братской любви, – мрачным голосом ответил Бальф Юбэнк.

Бертрам Скаддер сутулился за стойкой бара. Его длинное и узкое лицо словно бы запало внутрь, за исключением глаз и рта, мягкими шариками выкатывавшимися наружу. Он издавал журнал, носивший название *«Будущее»*, и опубликовал в нем статью о Хэнке Риардене, озаглавленную *«Спрут»*.

Взяв опустевший бокал, Бертрам Скаддер молча подал его бармену для новой порции. Получив его наполненным и сделав глоток, он заметил пустой бокал перед стоявшим рядом с ним Филиппом Риарденом и движением большого пальца дал безмолвное указание бармену. Скаддер не обратил никакого внимания на пустой бокал Бетти Поуп, стоявшей по другую сторону от Филиппа.

– Вот что, приятель, – сказал Бертрам Скаддер, вперив взгляд куда-то рядом с Филиппом, – хотите вы этого или нет, но Закон справедливой доли представляет собой огромный шаг вперед.

– Что заставляет вас думать, что он не нравится мне, мистер Скаддер? – смиренно спросил Филипп.

– Ну что ж, его применение окажется болезненным. Длинная рука общества основательно сократит перечень имеющихся здесь шедевров. – Он указал рукой в сторону бара.

– А почему вы считаете, что я буду возражать против этого?

– Так, значит, не будете? – поинтересовался Бертрам Скаддер без особого любопытства.

– Не буду! – с пылом воскликнул Филипп. – Я всегда ставил общественное благо выше любых личных соображений. Я отдавал свое время и деньги обществу *«Друзья Глобального Прогресса»*, ведущему крестовый поход за принятие Закона справедливой доли. На мой взгляд,

совершенно нечестно, когда все шансы достаются одному человеку, а другим ничего не остается.

Бертрам Скаддер задумчиво, но без особого интереса посмотрел на Филиппа и молвил:

– Что ж, это необыкновенно мило с вашей стороны.

– Некоторые люди относятся к моральным принципам весьма серьезно, мистер Скаддер, – проговорил Филипп с подчеркнутой гордостью.

– О чем он говорит, Филипп? – спросила Бетти Поуп. – Мы не знаем никого, кому принадлежало бы больше одного предприятия, правда?

– Да бросьте говорить ерунду! – протянул Бертрам Скаддер полным скуки тоном.

– Не понимаю, откуда взялось столько шума по поводу этого билля, – с воинственной интонацией знатока экономики произнесла Бетти Поуп. – Не знаю, почему бизнесмены так ожесточились против него. Ведь Закон справедливой доли преследует их собственную выгоду. Если все вокруг бедны, предпринимателям некуда сбывать свои товары. Но если они ограничат собственный эгоизм и поделятся накопленной собственностью, у них появится шанс произвести новый товар.

– А я не понимаю, почему вообще нужно учитывать интересы промышленников, – проговорил Скаддер. – Когда народные массы обнищали, но товары остаются доступными, лишь полный идиот будет рассчитывать на то, что народ удастся остановить бумажкой, назвав ее актом о собственности. Право собственности представляет собой чистое суеверие. Собственность остается в чем-нибудь распоряжении только из любезности тех, кто не захватывает ее. И народ всегда может сделать это. А если он может сделать это, то почему бы ему, наконец, не перейти к делу?

– Непременно перейдет, – вступил в разговор Клод Слагенхоп. – Он нуждается. И нужда является единственным оправданием. Когда нуждается народ, он сперва берет свое, а потом обговаривает свое приобретение.

Незаметно появившийся Клод Слагенхоп каким-то образом втиснулся между Филиппом и Скаддером, отодвинув последнего в сторону.

Крепыша Слагенхопа нельзя было назвать высоким или тяжеловесным, лицо его украшал сломанный нос. Он являлся президентом общества «Друзья Глобального Прогресса».

– Голод не будет ждать, – продолжил Клод Слагенхоп. – Идея – это всего лишь воздух. А пустое брюхо – это материальный факт. Во всех своих речах я говорил, что всякие разговоры излишни. Общество в настоящее время страдает от отсутствия деловых возможностей, и потому мы считаем себя вправе захватить существующие возможности. Законом следует считать то, что служит благу общества.

– Но он же не копал эту руду собственными руками, так ведь? – вдруг воскликнул Филипп пронзительным голосом. – Ему пришлось нанимать сотни рабочих. Они-то и сделали это. Почему же он так доволен собой?

Оба собеседника посмотрели на него: Скаддер чуть приподнял бровь, Слагенхоп – без какого-либо выражения на лице.

– О боже мой! – припомнила что-то Бетти Поуп.

Хэнк Риарден остановился возле окна в затененной нише в конце гостиной. Он надеялся, что сумеет урвать несколько минут отдыха.

Риарден только что отделался от женщины средних лет, решившей поделиться с ним своим парапсихологическим опытом. Он стоял и смотрел в окно. Вдалеке в небе полыхало привычное красное зарево над «Риарден Стил». С чувством облегчения он позволил себе долгий взгляд в сторону завода.

Он повернулся лицом к гостиной. Риарден никогда не любил свой дом; облик его создавала Лилиан. Однако сегодня поток ярких вечерних платьев затмевал собой комнату, наделяя

ее весельем и блеском. Ему нравилось видеть, как веселятся люди, пусть сам он и не понимал их манеру развлекаться.

Риарден посмотрел на цветы, на искры света в хрустальных бокалах, на обнаженные женские руки и плечи. За окном над осенними просторами задувал холодный ветер. Тонкие ветви близкого дерева показались ему молящими о помощи руками. За деревом светилось зарево далекого завода.

Он не мог дать имени этому чувству. У него не было слов, которыми можно было бы назвать его причину, качество, смысл. Отчасти оно состояло из радости, к которой примешивалось желание обнажить голову – неведомо перед кем.

Он сделал шаг к гостям с улыбкой на лице. Однако лицо его немедленно сделалось серьезным: в дверях появилась новая гостья – Дагни Таггерт.

С любопытством разглядывая Дагни, Лилиан поспешила к ней навстречу. Они уже несколько раз встречались по разным поводам, и Лилиан было странно видеть Дагни Таггерт в вечернем наряде. Верх черного платья пелериной прикрывал одно плечо, оставляя другое обнаженным – оно-то и являлось единственным украшением ее наряда. Привычные для Дагни Таггерт рабочие костюмы не наводили на мысли о ее теле. Черное же бальное платье казалось чрезмерно открытым, потому что нагое плечо было таким хрупким и прекрасным, а бриллиантовый браслет на запястье придавал ее женственности тот яркий оттенок, который приносит несвобода.

– Мисс Таггерт, какой чудесный сюрприз, я так рада видеть вас, – произнесла Лилиан Риарден, изображая лицевыми мышцами улыбку. – Я и не надеялась, что мое приглашение сможет оторвать вас от куда более важных дел. Если позволите, я даже польщена.

Джеймс Таггерт вошел вместе со своей сестрой. Лилиан улыбнулась ему – в виде торопливого постскриптума, словно бы только что заметив его.

– Хелло, Джеймс. Такова кара за известность – увидев твою сестру, трудно вспомнить о тебе.

– Но с тобой, Лилиан, никто не может состязаться в известности, – ответил он со скупой улыбкой, – как не может никто и забыть тебя.

– Меня? О, я вполне смирилась с ролью незаметной тени собственного мужа. И вполне готова признать, что жена великого человека должна быть довольна отблесками его славы... не так ли, мисс Таггерт?

– Нет, – возразила Дагни. – Я так не считаю.

– Это комплимент или осуждение, мисс Таггерт? Но простите мне признание в собственной беспомощности. Кого я могу представить вам? Боюсь, что у меня нет никого, кроме писателей и художников, а они, не сомневаюсь, не представляют интереса для вас.

– Мне бы хотелось найти Хэнка и поздороваться с ним.

– Ну, конечно. Джеймс, ты не забыл, что намеревался поговорить с Бальфом Юбэнком?... О, да, он здесь... Я расскажу ему, как ты нахваливал его последний роман на обеде у миссис Уиткомб!

Пересекая просторную комнату, Дагни искренне недоумевала, почему сказала, что хочет отыскать Хэнка Риардена, и что помешало ей признаться в том, что она увидела его еще от входа.

Стоя в противоположном конце длинной комнаты, Риарден смотрел на нее.

Он не отводил от нее взгляда, но не сделал и шага навстречу.

– Хэлло, Хэнк.

– Добрый вечер.

Он поклонился любезно, но холодно. Движение его тела в точности отвечало безукоризненной официальности костюма. Он не улыбнулся.

– Спасибо за приглашение, – веселым тоном произнесла она.

– Не могу претендовать на то, что знал заранее о вашем приходе.

– О? Тогда я рада, что обо мне подумала миссис Риарден. Мне захотелось сегодня сделать исключение.

– Исключение?

– Я не часто посещаю званые вечера.

– Я рад, что вы сделали исключение именно ради этого случая, – Риарден не произнес еще двух слов «мисс Таггерт», однако фраза прозвучала так, словно он сказал их.

Официальная манера его оказалась настолько неожиданной, что она не сразу сумела приспособиться к ней.

– Я хотела сегодня отпраздновать, – проговорила Дагни.

– Годовщину моей свадьбы?

– Сегодня годовщина вашей свадьбы? Не знала. Примите мои поздравления, Хэнк.

– Так что же вы хотели отпраздновать?

– Я решила, что могу позволить себе отдохнуть. Устроить собственный праздник – в вашу и мою честь.

– И по какой же причине?

Дагни думала о новой колее, проложенной по скалистым склонам гор Колорадо, медленно протягивающейся к нефтепромыслам Уайэтта. Она видела эти отливающие зеленой морской синевой рельсы на мерзлой земле, посреди сухой травы, нагих скал, ветхих хижин мучимых голодом поселков.

– В честь первых шестидесяти миль колеи из риарден-металла, – ответила она.

– Ценное событие, – тон его голоса, скорее, подошел бы к следующим словам: «Я и не знал об этом».

Дагни не могла найти, что сказать. Ей казалось, что она разговаривает с незнакомцем.

– Ого, мисс Таггерт! – их молчание прервал приветливый голос. – Именно это я и имею в виду, когда говорю, что Хэнк Риарден способен совершить любое чудо!

К ним приближался знакомый бизнесмен, улыбавшийся ей с восторгом и восхищением. Им троим нередко приходилось проводить совместные экстренные совещания по поводу темпов перевозок и поставок стали. И теперь он смотрел на нее, являя на лице своем откровенный комментарий перемене в ее внешности, которая, подумала Дагни, осталась незамеченной Риарденом.

Она рассмеялась в ответ на приветствие, не позволяя себе заметить укол разочарования в том, что такое выражение ей хотелось бы увидеть на лице Риардена. Дагни обменялась несколькими фразами с этим человеком. Когда она повернулась, Риардена рядом не оказалось.

– Так это и есть твоя знаменитая сестра? – спросил Бальф Юбэнк у Джеймса Таггерта, глядя через комнату на Дагни.

– Я и понятия не имел, что сестрица моя знаменита, – проговорил Таггерт с ноткой обиды в голосе.

– Но, мой дорогой друг, она представляет собой настолько необычайное явление в мире экономики, что люди просто не могут не говорить о ней. Твоя сестра – воплощение симптома общей болезни нашего времени. Упадочное порождение века машин. Механизмы погубили в людях человечность, оторвали их от земли, украли у них природные искусства, загубили их души и превратили в бесчувственных роботов. И вот пример: женщина, руководящая железной дорогой, вместо того, чтобы обратиться к прекрасному искусству ткачихи и выращиванию детей.

Риарден переходил от гостя к гостю, стараясь не позволить вовлечь себя в разговор. Он осмотрел комнату и не заметил ни одного человека, к которому хотел бы подойти.

– Вот что, Хэнк Риарден, вы не столь скверный парень, если посмотреть на вас вблизи, в вашем львином логове. И если бы вы хоть иногда давали нам пресс-конференции, то перетасили бы нас на свою сторону.

Риарден обернулся и, не веря себе, посмотрел на говорившего. Это был молодой газетчик весьма сомнительного пошиба, работавший в радикальном таблоиде. Задиристая фамильярность намекала на то, что грубый тон был выбран осознанно, потому что Риарден никогда не стал бы иметь дело с подобным человеком.

Риарден не пустил бы этого журналиста на свой завод, но сюда его пригласила Лилиан, и, сдержавшись, он сухо спросил:

– Что вам нужно?

– Вы не такой плохой человек. У вас есть талант. Талант инженера. Но я, конечно же, не согласен с вами в отношении риарден – металла.

– Я не просил вас соглашаться со мной.

– Но Бертрам Скаддер говорил, что ваша политика... – воинственным тоном начал корреспондент, указав в сторону бара, но тут же умолк, словно бы поняв, что зашел дальше, чем намеревался.

Риарден посмотрел на неопрятную фигуру, скрючившуюся возле бара. Лилиан представляла их друг другу, но тогда он не обратил внимания на его имя. Резко повернувшись, он направился прочь, самой манерой своей не позволяя молодому наглецу увязаться следом.

Лилиан заметила выражение лица Риардена, приближавшегося к той группе, посреди которой стояла она, и отошла в сторону, где их не могли слышать.

– Это и есть Скаддер из «*Будущего*»? – спросил он, кивком указав в сторону бара.

– Да, а что?

Риарден молча смотрел на жену, не веря своим ушам, не понимая самой логики ее поступка. Она не отводила от него глаз.

– Но как ты могла пригласить *его* сюда?

– Ну, Генри, не будь смешным. Ты же не хочешь показаться узколобым, не правда ли? Ты должен уважать право других иметь собственное мнение и высказывать его открыто.

– В моем доме?

– Ох, не будь таким консервативным!

Риарден молчал, потому как сознанием его владели не здравые речения, а две картинки.

Он видел сочиненную Бертрамом Скаддером статью под заглавием «*Спрут*», в которой не было ни малейшей идеи и которая представляла собой всего лишь публично опорожненное помойное ведро... статью, в которой не было ни единого факта, даже вымышленного, и место их занимал поток насмешек и оскорблений, в котором можно было только усмотреть лишь злобный вой очернителя, не считающего доказательства необходимыми. А еще он видел прекрасный профиль Лилиан, гордую чистоту, которую искал, женись на ней.

Вновь взглянув на жену, он понял, что профиль просто отпечатался в его памяти: к нему было обращено внимательное, чуть настороженное лицо. Вернувшись, наконец, к реальности, он подумал, что видит в ее глазах удовлетворение. Но в следующее мгновение напомнил себе, что находится в здравом уме, а значит, это невозможно.

– Ты в первый раз пригласила этого... – он воспользовался непристойным словом с бесстрастной точностью, – в мой дом. И в последний.

– Как ты смеешь использовать такие...

– Не надо возражать, Лилиан. Если ты будешь спорить, я вышвырну его отсюда прямо сейчас.

Риарден спокойно дал жене возможность ответить, возразить, даже закричать. Но та молчала, не глядя на него, лишь гладкие щеки ее как будто втянулись.

Ничего не замечая, слепо перемещаясь между огнями, голосами и запахами духов, он ощущал холодное прикосновение ужаса. Риарден понимал, что ему следует хорошенько призадуматься о Лилиан, отыскать разгадку ее характера, потому что столь беспардонный поступок нельзя было оставить без внимания; однако он не хотел думать о ней и понимал, что ужас был рожден именно тем, что ответ перестал интересовать его давным-давно.

На него вновь начала накатывать усталость. Ему казалось, что он видит сгущающиеся волны утомления; усталость накапливалась не в нем, а снаружи, во всей этой комнате. На мгновение Риардену показалось, что он остался в одиночестве, потерявшись в серой пустыне, нуждаясь в помощи и зная, что ее не будет. И вдруг он замер. В освещенном дверном проеме на противоположном конце комнаты появилась высокая надменная фигура; мужчина замер на мгновение, прежде чем войти. Риардену не доводилось еще встречаться с ним, но среди всех скандально известных личностей, чьи фотографии наводняли страницы газет, была одна, которую он особенно презирал. Это был Франсиско д'Анкония.

Риарден никогда не позволял себе уделять особого внимания людям, подобным Бертраму Скаддеру. Но каждую минуту своей жизни, каждую секунду, когда он чувствовал гордость от того, что от напряжения рвутся мышцы и раскалывается голова, с каждым шагом, поднимавшим его из рудника в Миннесоте и превращавшим его усилия в золото, при всем своем глубочайшем почтении к деньгам и их значению, он презирал этого пустого расточителя, не сумевшего оправдать такой великий дар, как наследственное богатство. «Вот, – подумал Риарден, – наиболее презренный представитель этой человеческой разновидности».

Франсиско д'Анкония вошел, поклонился Лилиан и вступил в толпу, словно ему принадлежала эта комната, в которой ему бывать раньше не приходилось.

Вслед ему начали поворачиваться головы, словно он тянул их за веревочки.

Вновь вернувшись к Лилиан, Риарден проговорил уже без гнева: раздражение переросло в его голосе в интерес:

– А я не знал, что ты знакома с этим типом.

– Я встречала его на нескольких приемах.

– Значит, он один из твоих друзей?

– Естественно, нет! – негодование, разумеется, было неподдельным.

– Тогда почему же ты пригласила его?

– Ну, когда он находится в нашей стране, нельзя устроить прием – *стоящий* прием – и не пригласить его. Если он приходит, это досадно, если не приходит – черная метка в обществе.

Риарден рассмеялся. Лилиан раскрылась; обыкновенно она не позволяла себе подобного рода признаний.

– Вот что, – проговорил он усталым тоном. – Я не хочу портить твой праздник. Но не подпускай ко мне этого человека. Не надо знакомить нас. Я не хочу. Не знаю, как тебе удастся так сделать, но ты опытная хозяйка, действуй.

Дагни замерла на месте, увидев приближавшегося к ней Франсиско. Проходя мимо, он поклонился ей. Франсиско не остановился, однако она поняла, что мгновение это отпечаталось в его сознании. Она заметила на его лице слабую улыбку, которой он подчеркнул, что все понимает, но предпочитает не обнаруживать знакомства. Дагни отвернулась. Она надеялась, что ей удастся избежать его общества весь остаток вечера.

Бальф Юбэнк присоединился к группе, окружавшей доктора Притчетта, и угрюмым тоном повествовал:

– ...нет, нельзя ожидать, чтобы народ понял высшие уровни философии. Культуру следует вырвать из рук охотников за долларами. Нам нужна национальная стипендия для литераторов. Какой позор, что в художниках видят подобие торговцев-разносчиков и что произведения искусства приходится продавать, как мыло.

– Вы хотите пожаловаться на то, что мыло продается лучше? – спросил Франсиско д'Анкония.

Он как-то незаметно включился в разговор, который сразу оборвался; большинство собеседников никогда не встречались с Франсиско, однако были наслышаны о нем.

– Я хочу... – начал Бальф Юбэнк сердитым тоном, но мгновенно умолк; он заметил на окружающих его лицах живой интерес, но интерес этот относился не к философии.

– Ну, здравствуйте, профессор! – проговорил Франсиско, кланяясь доктору Притчетту.

Без всякого видимого удовольствия доктор Притчетт ответил на приветствие и приступил к представлениям.

– Мы обсуждали интереснейшую тему, – проговорила важная дама. – Доктор Притчетт объяснял нам, что все вокруг – ничто.

– Он, вне сомнения, разбирается в этой теме глубже, чем кто-либо другой, – серьезным тоном отозвался Франсиско.

– Вот уж не подумала бы, что вы знаете доктора Притчетта настолько хорошо, сеньор д'Анкония, – сказала она, гадая, почему реплика ее вызвала явное неудовольствие на лице профессора.

– Я выпускник той великой школы, на которую в данный момент работает доктор Притчетт, – университета Патрика Генри. Но я учился у одного из его предшественников – Хью Экстона.

– Хью Экстона! – охнула привлекательная молодая женщина. – Но этого не может быть, сеньор д'Анкония! Вы слишком молоды для этого. Я считала, что Экстон относился к числу столпов... прошлого столетия.

– Быть может, по духу, мадам. Но не на самом деле.

– Но мне казалось, что он умер много лет назад.

– Вы ошибаетесь. Он по-прежнему жив.

– Тогда почему о нем ничего больше не слышно?

– Он ушел на покой девять лет назад.

– Разве это не странно? Когда от дел отходит политикан или кинозвезда, мы читаем об этом в газетных передовицах. Но вот заканчивается трудовой путь философа, и люди ничего не знают об этом.

– Некоторые знают.

Молодой человек с удивлением проговорил:

– А я думал, что Хью Экстон относится к числу тех классиков, которых теперь изучают разве что в истории философии. Недавно я прочел статью, где его называли последним великим поборником разума.

– И что же говорил Хью Экстон? – спросила важная дама.

Франсиско ответил:

– Он учил нас тому, что все вокруг есть *что-то*.

– Ваша верность учителю заслуживает похвалы, сеньор д'Анкония, – сухо проговорил доктор Притчетт. – Можем ли мы считать, что вы являетесь практическим результатом обучения его школы, так сказать, *преемником*?

– Да.

К группе подошел Джеймс Таггерт, дожидавшийся своей доли внимания.

– Привет, Франсиско.

– Добрый вечер, Джеймс.

– Какое удивительное совпадение привело тебя сюда! Я как раз хотел переговорить с тобой.

– Это ново. Такое желание числилось за тобой не всегда.

– Ты шутишь, как в прежние дни, – Таггерт неторопливо, словно бы случайно отодвигаясь от группы в надежде выманить Франсиско за собой. – Как ты прекрасно знаешь, в этой комнате не найдется ни одного человека, который не хотел бы поговорить с тобой.

– В самом деле? Я склонен подозревать обратное, – Франсиско покорно последовал за ним, но остановился так, чтобы их разговор могли слышать.

– Я испробовал все возможные способы, чтобы связаться с тобой, – сказал Таггерт, – но... обстоятельства мне не благоприятствовали.

– Ты пытаешься скрыть тот факт, что я отказался встречаться с тобой?

– Ну... что ж... я хочу узнать, почему ты отказался от встречи?

– Не смог представить себе, о чем ты намеревался говорить со мной.

– О рудниках Сан-Себастьян, конечно же! – Таггерт чуть возвысил голос.

– Так, и что же ты хотел услышать о них?

– Но... Франсиско, все это очень серьезно. Это несчастье, беспрецедентная катастрофа, и никто ничего не может понять. Я просто не знаю, что думать. Я ничего не понимаю. У меня есть право знать.

– Право? Не кажется ли тебе, Джеймс, что ты несколько старомоден. Но что ты хочешь узнать?

– Ну, во-первых, эта национализация... что ты намереваешься с ней делать?

– Ничего.

– Ничего?!

– Но ты ведь, наверно, не хочешь, чтобы я сопротивлялся этой национализации. Мои рудники и твою железную дорогу захватил народ, захватил по собственной воле. Уж не желаешь ли ты, чтобы я противопоставил себя воле народа?

– Франсиско, дело серьезное, мне не до смеха!

– Я никогда не сомневался в этом.

– Я должен получить какое-то объяснение! И ты обязан отчитаться перед своими вкладчиками по этой позорной истории! Зачем ты влез в эти безнадежные рудники? Зачем потратил все эти миллионы? Что это был за гнилой обман?

Франсиско посмотрел на него с вежливым удивлением.

– А я-то, Джеймс, – проговорил он, – полагал, что ты одобришь эту авантюру.

– Одобрю?!

– Я полагал, что ты увидишь в деле с рудниками Сан-Себастьян практический пример реализации высшего морального идеала. Памятуя, что в прошлом мы частенько спорили с тобой, я подумал, что тебе будет приятно увидеть, что я поступаю в соответствии с твоими принципами.

– О чем ты говоришь?

Франсиско с сожалением покачал головой:

– Не понимаю, почему ты назвал мое поведение гнилым обманом. Я считал, что ты распознаешь в нем искреннюю попытку применить на практике то, что проповедует сейчас весь мир. Разве все вокруг не считают, что эгоизм – это зло? В проекте Сан-Себастьян я не преследовал абсолютно никаких эгоистических целей. У меня вообще не было там личного интереса. Разве это не скверно – работать ради собственной выгоды? Я не искал там выгоды... и я понес потери. Разве не все считают, что предназначение промышленного предприятия заключается в обеспечении благосостояния его наемных работников? Таким образом, рудники Сан-Себастьян сделали наиболее успешным предприятием во всей истории промышленности: они не дали меди, но обеспечили существование тысяч людей, которые за всю жизнь не создали того, что зарабатывали у меня за один рабочий день. Разве не принято видеть во владельце паразита и эксплуататора? Разве не наемные работники производят всю продукцию? Я не эксплуатировал там никого. Я не обременял рудники Сан-Себастьян своей бесполезной персоной;

я оставил их в руках действительно значимых людей. Я не делал собственной оценки стоимости этого предприятия. Я передал его под управление специалиста по горному делу. Это был не слишком хороший специалист, но он отчаянно нуждался в работе. Разве не принято считать, что когда ты берешь человека на работу, важна его нужда, а не квалификация? Разве не верят все вокруг в то, что для того, чтобы получить товары, прежде всего необходимо нуждаться в них? Я исполнил все требования морали нашего времени. Я ожидал благодарности и похвалы. И я не понимаю, почему меня проклинаят.

Посреди овладевшего всеми молчания единственным ответом Франсиско стал пронзительный, внезапный смешок Бетти Поуп: она ничего не поняла, но заметила беспомощную ярость на лице Джеймса Таггерта.

Все смотрели на него, ожидая ответа. Сам вопрос не был интересен для них, их просто развлекало чужое затруднительное положение. Таггерт выдавил покровительственную улыбку.

– Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я приму все это всерьез? – спросил он.

– Было такое время, – ответил Франсиско, – когда я не верил, что кто-то может принять всерьез эту демагогию. Я ошибался.

– Это немыслимо! – голос Таггерта сделался громче. – Это возмутительно! Невероятно, чтобы человек мог обходиться со своими общественными обязанностями, проявляя такое бездумное легкомыслие!

Он отвернулся, собираясь отойти.

Франсиско пожал плечами и развел руки в стороны:

– Вот видишь! Я же говорил, что ты не захочешь говорить со мной.

Риарден оставался в одиночестве на противоположной стороне комнаты. Заметив это, Филипп подошел к нему и подозвал Лилиан.

– Не думаю, что Генри сейчас очень весело, – он насмешливо улыбнулся; трудно было сказать, кому именно – Лилиан или Риардену. – Не можем ли мы чем-нибудь помочь?

– А, ерунда! – отмахнулся Риарден.

– Ох, Филипп, – проговорила Лилиан. – Мне всегда хотелось, чтобы Генри научился расслабляться. Он относится ко всему с такой мрачной серьезностью... просто как строгий пуританин. Мне даже хотелось увидеть его пьяным – хотя бы разок. Но я уже сдалась. Может быть, ты предложишь что-нибудь?

– Ну, не знаю! Но ему не следовало бы стоять в полном одиночестве.

– Оставьте, – проговорил Риарден. Стараясь не забывать о том, что не следует оскорблять их чувства, он все-таки добавил: – Если бы вы только знали, сколько стараний я приложил, чтобы остаться в одиночестве.

– Ну, вот... видишь? – Лилиан улыбнулась Филиппу. – Порадоваться жизни и людям для него сложнее, чем разлить тонну стали. Интеллектуальным свершениям не место на рынке.

Филипп усмехнулся:

– Меня смущают не интеллектуальные свершения. А ты действительно уверена в его пуританских наклонностях, Лилиан? На твоём месте я бы не стал позволять ему свободно оглядываться вокруг. Сегодня здесь слишком много красавиц.

– Генри и мысль о супружеской неверности? Ты льстишь ему, Филипп. Ты переоцениваешь его отвагу, – наделив Риардена холодной, подчеркнуто искусственной улыбкой, она отошла.

Риарден посмотрел на брата:

– И какого черта ты хочешь этим добиться?

– Да ладно тебе, хватит разыгрывать пуританина! Неужели нельзя понять шутку?

Бесцельно скитаясь в толпе, Дагни пыталась понять, почему приняла приглашение на эту вечеринку. Ответ удивил ее: потому что она хотела увидеть Хэнка Риардена. Разглядывая его в толпе, она впервые подметила контраст. Лица всех остальных казались собранными из вза-

имозаменяемых деталей, каждое из них стремилось раствориться в анонимности всеобщего сходства, и все они казались какими-то расплывчатыми. Лицо Риардена, словно высеченное из льда, резко контрастировало с аморфными физиономиями гостей.

Она то и дело невольно поглядывала на него, но так и не поймала ни одного обращенного к ней взгляда. Дагни не хотелось верить, что он преднамеренно уклоняется от разговора с ней; для этого не могло быть рациональной причины – и все же она чувствовала, что это действительно так. Ей хотелось подойти к Риардену и убедиться в своей ошибке. Однако что-то останавливало ее, и причин своей нерешительности Дагни понять не могла.

Риарден вытерпел разговор с матерью и двумя пожилыми леди, которых, по ее мнению, он должен был развлечь рассказом о своем детстве и пути к успеху. Он уступил, понимая, что она гордится им на собственный лад. Ему казалось, что всей своей манерой мать старается показать, что это именно она была его постоянной опорой и источником сил на этом пути. Он от души обрадовался, когда она отпустила его, и немедленно укрылся в нише возле окна.

Он постоял там какое-то время, как бы пытаясь найти физическую опору в своем уединении.

– Мистер Риарден, – произнес за его спиной до странности безмятежный голос, – позвольте представиться. Мое имя Франсиско д'Анкония.

Риарден с удивлением повернулся; в манере и голосе д'Анконии сквозило редко встречавшееся ему в людях качество: неподдельное уважение.

– Здравствуйте, – ответил он отрывистым и сухим тоном... но все же ответил.

– Я успел заметить, что миссис Риарден уклоняется от своей обязанности представить меня вам, и могу понять причину. Вы предпочли бы, чтобы я оставил ваш дом?

Д'Анкония без обиняков перешел к делу, не пытаясь избежать неловкости, и это было настолько непохоже на поведение всех известных ему людей, настолько удивительно и приятно, что Риарден ответил не сразу, стараясь получше рассмотреть лицо своего гостя. Франсиско произнес эти слова очень просто, не как укоризну и не как просьбу, однако манера его странным образом подчеркивала достоинство Риардена, не умаляя и его собственное.

– Нет, – ответил Риарден, – каковы бы ни были ваши догадки, я этого не говорил.

– Благодарю вас. В таком случае, не позволите ли вы мне поговорить с вами.

– А зачем вам нужно разговаривать со мной?

– В настоящее время мои мотивы не могут заинтересовать вас.

– Но и я не из тех, кто может заинтересовать вас своим разговором.

– Вы ошибаетесь в отношении одного из нас, мистер Риарден, или в отношении обоих. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы поговорить с вами.

Если в голосе Риардена до этого угадывалось некоторое удивление, теперь в нем звучал легкий намек на пренебрежение:

– Вы начали игру в открытую. Продолжайте.

– Продолжаю.

– Зачем вы захотели встретиться со мной? Чтобы заставить меня понести денежные потери?

Франсиско в упор поглядел на него:

– Да – в конечном счете.

– И что же нас ждет на этот раз? Золотые прииски?

Франсиско неспешно качнул головой; нарочитая неторопливость движения придавала ему едва ли не скорбный дух.

– Нет, – проговорил он, – я не собираюсь во что-либо втягивать вас. Кстати говоря, я не пытался привлечь к эксплуатации медного рудника Джеймса Таггерта. Он проявил инициативу самостоятельно. Вы не станете этого делать.

Риарден усмехнулся:

– Ну раз вы понимаете это, у нашего разговора появляется разумное основание. Продолжим. Если вы не имеете своей целью какое-нибудь безумное вложение капитала, зачем вам понадобилось встречаться со мной?

– Чтобы познакомиться с вами.

– Это не ответ, а просто другой способ выражения той же самой мысли.

– Не совсем так, мистер Риарден.

– Может быть, вы хотите заручиться моим доверием?

– Нет. Мне не нравятся люди, стремящиеся на словах или в мыслях добиться чьего-нибудь доверия. Если человек действует честно, ему незачем заранее заручаться чужим доверием, достаточно будет рационального восприятия его поступков. Личность, добивающаяся подобного незаполненного морального чека, преследует бесчестные намерения, вне зависимости оттого, признается она в этом себе или нет.

Обратившийся к д'Анконии удивленный взгляд Риардена был подобен невольному движению руки, ищущей поддержки в отчаянной нужде. Взгляд этот говорил о том, насколько необходим ему стоящий перед ним человек. Потом Риарден опустил глаза и едва ли не закрыл их, стараясь забыть и о том, что видит, и о своей нужде. Лицо его сделалось жестким; и жесткость эта – внутренняя жесткость – была обращена к нему самому; он казался строгим и одиноким.

– Ну хорошо, – промолвил он невыразительным тоном. – Так чего же вам нужно от меня, если мое доверие не интересует вас?

– Я хочу научиться понимать вас.

– Зачем?

– По собственным причинам, которые в данный момент не имеют к вам отношения.

– И что же вы хотите понять во мне?

Франсиско молча поглядел во тьму. Огонь плавильных печей угасал. Слабое красное зарево еще горело над краем земли, окрашивая несущиеся по небу рваные облака. За окном то и дело мелькали неясные силуэты ветвей, казавшиеся олицетворением самого ветра.

– Какая ужасная ночь для любого животного, застигнутого непогодой на этой равнине, – проговорил Франсиско д'Анкония. – В такой момент понимаешь весь смысл человеческого существования.

Риарден ответил не сразу; он заговорил, как бы отвечая самому себе, с ноткой удивления в голосе:

– Забавно...

– Что именно?

– Вы произнесли то, о чем я подумал несколько минут назад.

– В самом деле?

– ...только я не успел облечь ее в слова.

– Договорить вам вашу мысль до конца?

– Давайте.

– Вы стояли здесь, вглядываясь в непогоду с величайшей гордостью, которую способен испытывать человек, потому что в такую ночь ваш дом полон летних цветов и полюбившихся женщин – свидетельств вашей победы над бурей. И если бы не вы, многие из тех, кто наполняют ваш дом, оставались бы сейчас нагими и беспомощными, брошенными на милость ветра, посреди такой же, как эта, равнины.

– Как вы узнали это?

Спросив, Риарден уже понимал, что д'Анкония произнес вслух не его мысли, но изложил словами самое потаенное, самое личное его чувство; и что он, никогда не признававшийся кому бы то ни было в своих переживаниях, сделал это своим вопросом. В глазах Франсиско словно бы промелькнул огонек улыбки или понимания.

– Но что может быть известно вам о гордости такого рода? – резко проговорил Риарден, как бы стараясь презрительной интонацией второго вопроса стереть признание первого.

– Так в молодости казалось и мне самому.

Риарден посмотрел на собеседника. Во взгляде Франсиско не было ни насмешки, ни жалости к себе; в четких скульптурных линиях и чистых голубых глазах читалась спокойная сдержанность, невозмутимое лицо было открыто для любого удара.

– Почему же вы хотите говорить о ней? – спросил Риарден, покоряясь внезапному приступу сочувствия.

– Скажем так, из благодарности, мистер Риарден.

– Благодарности *мне*?

– Если вы согласитесь принять ее.

Голос Риардена сделался жестче:

– Я не просил благодарности. Я не нуждаюсь в ней.

– Я не утверждал этого. Но среди всех, кого вы спасли от сегодняшней непогоды, лишь я один приношу ее вам.

После недолгого молчания Риарден спросил – негромко, едва ли не с угрозой:

– Что вы пытаетесь сделать?

– Я стараюсь обратить ваше внимание на природу тех, ради кого вы работаете.

– Только человек, ни одного дня в жизни не отдавший честному труду, может подумать или сказать такое, – к презрению в голосе Риардена примешивалась нотка облегчения: только что он был обескуражен сомнением в верности своей оценки собеседника, теперь он вновь ощутил уверенность. – Это поймете не вы, а человек, который работает, трудится для себя самого, пусть даже при этом он тащит на себе все ваше бестолковое стадо. Теперь мне понятны ваши мысли: продолжайте, скажите мне, что это порочно, что я самодовольный, бессердечный и жестокий эгоист. Это так. И я не хочу слушать пошлого вздора о том, что нужно работать ради других. Не хочу.

Риарден впервые заметил *человеческую* реакцию в глазах Франсиско, его взгляд, сделавшийся бодрым и молодым.

– В ваших словах я вижу одну-единственную ошибку, – ответил Франсиско, – заключающуюся в том, что вы позволяете другим считать ваше справедливое нежелание порочным.

Он указал не верившему своим ушам Риардену на собравшуюся в гостиной толпу:

– Почему вы соглашаетесь везти их на себе?

– Потому что это – несчастные дети, отчаянно, изо всех сил, стремящиеся остаться в живых, в то время как я... я даже не замечаю этого бремени.

– Почему бы тогда вам не сказать им об этом?

– О чем?

– О том, что вы работаете для себя, а не для них.

– Им это известно.

– О да, им это известно. Всем и каждому. Но они считают, что *вы* не понимаете этого. И изо всех сил стараются удержать вас в неведении.

– Но почему я должен считаться с тем, что они там думают?

– Потому что это битва, в которой каждый должен точно определить свою позицию.

– Битва? Какая еще битва? В моей руке рукоять кнута. Я не сражаюсь с безоружными.

– Так ли это? У них есть оружие против вас. Оружие единственное, но ужасное. Однажды задумайтесь над его природой.

– Но в чем вы видите свидетельство его существования?

– В том непростительном факте, что вас нельзя назвать счастливым человеком.

Риарден мог бы смириться с любым укором, оскорблением, с любым брошенным в него проклятием; единственное, чего не мог он принять от людей, – это жалость. Укол холодного

воинственного гнева вернул его назад, к текущему мгновению во всей его значимости. Он проговорил, пытаясь не проявить истинную природу овладевавшего им чувства:

- Какую наглую выходку вы себе позволяете? Зачем, с какой целью?
- Скажем так: я подсказываю вам нужные слова, которые в свое время вам понадобятся.
- Почему вам вообще пришло в голову разговаривать со мной на эту тему?
- В надежде на то, что вы запомните наш разговор.

«Гнев мой, – думал Риарден, – рожден тем непостижимым фактом, что я позволил себе наслаждаться этим разговором». Он ощущал запах измены, привкус неведомой опасности.

– И вы рассчитываете на то, что я забуду про то, *кто вы такой?* – спросил он, прекрасно понимая, что думает вовсе не об этом.

- Я полагаю, что вам вовсе незачем думать обо мне.

За гневом, которого Риарден не хотел признать за собой, пряталось другое чувство – некий намек на боль.

Если бы он позволил себе вслушаться, то понял бы, что голос Франсиско еще звучит в его ушах: «Среди всех... один лишь я приношу вам... если вы согласитесь принять ее...»

Он слышал эти слова, произнесенные негромко, со странной торжественной интонацией, и не поддающийся объяснению его собственный ответ – это «да», доносившееся из глубин его существа, стремление принять, сказать этому человеку, что он принимает, что нуждается в ней – нет, не в благодарности, в чем-то другом, имя чему было не «благодарность», и он знал, что вовсе не это предлагает ему собеседник.

Вслух он проговорил:

– Я не искал встречи с вами. Но вы хотели поговорить со мной, что ж... слушайте. На мой взгляд, существует единственная форма человеческого падения – потеря цели.

- Верно.

– Я могу простить всех остальных, они не имеют злого умысла, они просто беспомощны. Но вы... вы принадлежите к той разновидности, которую нельзя простить.

- Именно против греха прощения я и хотел предостеречь вас.

– Вам выпал величайший из возможных для человека шансов. И как вы обошлись с ним? Если у вас хватает ума понимать все, что вы наговорили тут, то как вы можете разговаривать со мной? Как можете вы вообще смотреть людям в лицо после той безответственной махинации, которую провернули в Мексике?

- Вы имеете полное право осуждать меня за это, если вам угодно.

Дагни жалась в уголке оконной ниши, старательно прислушиваясь. Мужчины не замечали ее. Увидев их вместе, она постаралась незаметно приблизиться, покорившись порыву, которого не могла объяснить и которому не имела силы противостоять; ей казалось критически важным знать, что говорят друг другу эти люди.

Последние несколько предложений она расслышала хорошо. Ей и в голову не приходило, что она когда-нибудь увидит, как Франсиско получает трепку. Он умел разнести в прах любого соперника в любом состязании. Но тут он не пытался даже защититься.

Дагни понимала, что в этом не стоит усматривать безразличия; превосходно зная лицо Франсиско, она отлично видела, каких усилий стоит ему это терпение: под кожей его проступала туго натянутая линия мышц.

– Среди всех, кто живет за счет чужих способностей, – продолжил Риарден, – вы – самый худший из паразитов.

- Я предоставил вам основания для подобного вывода.

– Тогда какое право имеете вы рассуждать о смысле человеческого существования? Вы, предавший суть человека?

- Простите, если я оскорбил вас тем, что вы вполне могли принять за высокомерие.

Франсиско поклонился и повернулся к Риардену спиной. И не понимая того, что вопрос этот отрицает весь предыдущий гнев, что в нем слышится обращенная к этому человеку просьба не уходить, Риарден спросил:

– И что же вы хотели понять во мне?

Франсиско обернулся. Выражение его лица не изменилось, оно осталось почтительным и серьезным.

– Я уже понял это, – ответил он.

Риарден проводил долгим взглядом своего гостя, углубившегося в толпу. Фигуры дворецкого с хрустальным блюдом в руках и доктора Притчетта, склоняющегося за очередным канapé, скрыли от него Франсиско. Риарден вновь заглянул во тьму за окном: там не было ничего, кроме ветра.

Дагни шагнула ему навстречу, как только он вышел из ниши. Она улыбнулась, открыто приглашая к разговору. Риарден остановился. Без особой охоты, как показалось ей. И она потопилась прервать молчание.

– Хэнк, почему у вас так много интеллектуалов, придерживающихся стороны грабителей? Я не стала бы принимать их в своем доме.

Она хотела сказать ему вовсе не это. Но она и не знала, что именно хотела сказать; никогда еще дар речи не оставлял ее в присутствии Риардена.

Глаза его сузились – словно в них закрылась дверь.

– Не вижу причины, запрещающей приглашать их на вечеринку, – ответил он холодным тоном.

– О, я вовсе не собиралась критиковать подбор гостей. Но... я даже не пытаюсь узнать, кто из них Бертрам Скаддер, чтобы не дать ему пощечину, – Дагни попыталась сдержаться. – Не хотелось бы устраивать скандал, но я не уверена, что смогу сохранить власть над собой. Я не поверила собственным ушам, когда мне сказали, что миссис Риарден пригласила его.

– Я *сам* пригласил этого человека.

– Но... – она понизила голос. – Почему?

– Я не придаю никакого значения подобным выходкам.

– Простите, Хэнк, не думала, что вы настолько терпимы. Я не обладаю этим качеством. Он молчал.

– Я знаю, что вы не любите званных вечеров. Я тоже. Но иногда мне кажется, что только мы и можем по-настоящему радоваться им.

– Боюсь, что у меня нет таланта к подобного рода занятиям.

– Да, когда они принимают такой облик. Но неужели вы считаете, что хоть кто-нибудь из этих людей приятно проводит время? Они просто стараются стать более бестолковыми и бесцельными, чем обычно. Они хотят ощущать себя легкими и незначительными... А знаете, истинную легкость может почувствовать лишь тот, кто осознает свою важность и значимость.

– Не знаю.

– Эта мысль время от времени смущает меня... Она пришла мне в голову после моего первого бала... Мне казалось, званный вечер должен быть праздником, а праздник может быть только у того, кому есть что праздновать.

– Я никогда не думал на эту тему.

Она никак не могла приспособиться к его строго официальной манере; она просто не могла поверить себе: в его кабинете они всегда разговаривали достаточно непринужденно. Теперь он вел себя как человек в смиренной рубашке.

– Хэнк, посмотрите сами. Если бы вы не знали этих людей, зрелище могло бы показаться прекрасным! Освещение, одежда и вся фантазия, потребовавшаяся, чтобы этот прием стал возможным... – Дагни смотрела на гостей. Она не замечала, что взгляд Риардена следовал своим собственным путем. Он разглядывал тени на ее обнаженном плече, неяркие, голубые

тени, которые оставлял свет, проникавший сквозь пряди ее волос. – Ну почему мы все отдали этим глупцам? Праздник должен принадлежать нам.

– Каким же образом?

– Не знаю... Я всегда полагала, что званые вечера должны быть возбуждающими и яркими, как изысканное вино, – она рассмеялась, но к смеху примешивалась печаль. – Только я вообще не пью. Это еще один символ, который обозначает не то, что должен обозначать.

Риарден молчал, и она добавила:

– Быть может, в них есть нечто скрытое от нас.

– Я такого не замечал.

Охваченная волной внезапно прихлынувшей отчаянной пустоты, она почувствовала радость оттого, что он не понял ее или не отреагировал, зная, что открыла ему слишком многое, хотя и не вполне понимала, что именно. Дагни пожала плечами, движение это легкой судорогой пробежало по изгибу ее плеча.

– Моя давняя иллюзия, – безразличным тоном произнесла она. – Настроение, которое посещает меня раз в году. Но покажите мне последний преysкурant на стальной прокат, и я сразу забуду о нем.

Удаляясь от Риардена, она не знала, что глаза его неотрывно следуют за ней.

Дагни неторопливо шла по комнате, не глядя ни на кого. Она заметила небольшую группу гостей, сгрудившуюся у нерастопленного камина. В комнате не было холодно, однако они сидели так, как если бы черпали уют из мысли о несуществующем огне.

– Не знаю почему, но я стала бояться темноты. Нет, не сейчас, только когда остаюсь в одиночестве. Меня пугает ночь. Ночь как таковая.

Говорила, очевидно, старая дева, хорошо воспитанная и утратившая всякую надежду. Составлявшие группу три женщины и двое мужчин были хорошо одеты, гладкая кожа их лиц свидетельствовала о хорошем уходе, однако держались они с полной тревоги настороженностью, заставлявшей слишком понижать голоса и стиравшей различия в возрасте, делая всех равным образом седыми, в равной мере выдохшимися. Таких людей всегда можно заметить посреди респектабельной компании. Дагни остановилась и прислушалась.

– Но, дорогая моя, – спросил другой женский голос, – почему ты боишься?

– Не знаю, – проговорила старая дева, – но меня беспокоят не взломщики, не воры, не грабители. Я просто не могу уснуть всю ночь. И засыпаю только после того, как начинает светать. Как странно. Каждый вечер, когда стемнеет, меня вдруг атакует чувство, говорящее, что песенка спета, что рассвет уже не вернется.

– Моя кузина, живущая на побережье Мэна, писала мне о том же самом, – проговорила другая женщина.

– Прошлой ночью, – продолжила старая дева, – я не могла уснуть из-за стрельбы. Всю ночь где-то у моря стреляли. Вспышек не было. Не было ничего. Только взрыв, потом длинная пауза и снова взрыв – где-то в тумане над Атлантическим океаном.

– Я читала что-то об этом в утренней газете. Береговая охрана проводила учебные стрельбы.

– Ну нет, – безразличным тоном проговорила старая дева. – На берегу все знают, в чем дело. Это был Рагнар Даннескьолд. И береговая охрана пыталась поймать его.

– Рагнар Даннескьолд в заливе Делавэр? – охнула женщина.

– Ну да. И говорят, не в первый раз.

– Его поймали?

– Нет.

– Никто не в состоянии это сделать, – проговорил один из мужчин.

– Норвегия назначила за его голову награду в миллион долларов.

– Такие колоссальные деньги за голову пирата.

– Но как можно добиться спокойствия и благополучия в мире, если на всех семи морях бесчинствуют пираты?

– А вы не знаете, что ему удалось захватить в ту ночь? – спросила старая дева.

– Крупный корабль с материальной помощью, собранной нами для Франции.

– А что он делает с захваченным добром?

– Ах, этого никто не знает.

– Однажды я встретил матроса, который был на атакованном им корабле, и видел Рагнара Даннескьолда собственными глазами. Он рассказывал, что у него огненно-рыжие волосы и самое страшное лицо на планете, на котором не отражается ни одного чувства. Если на свете и есть не имеющий сердца человек, так это он, так говорил моряк.

– Мой племянник однажды ночью видел корабль Рагнара Даннескьолда у берегов Шотландии. Он написал мне, что просто не мог поверить собственным глазам. Во всем английском флоте не найдется лучшего судна.

– Рассказывают, что он прячется в одном из норвежских фьордов, где его не сыщет ни Бог, ни человек. Так в средние века поступали викинги.

– Награду за его голову назначили также Португалия и Турция.

– Говорят, что в Норвегии из-за него возник скандал на государственном уровне. Даннескьолд происходит из одного из лучших семейств страны. Род этот обеднел много столетий назад, но сохранил громкое имя. Руины их фамильного замка еще можно увидеть. Отец Рагнара стал епископом. Он отрекся от сына и отлучил его от церкви. Но эта мера не возымела эффекта.

– А вы знаете, что Рагнар Даннескьолд учился в нашей стране? Точно. В университете Патрика Генри.

– В самом деле?

– Ну да. Это можно проверить.

– Что меня смущает... Знаете, не нравится мне все это. Не нравится мне, что он объявился здесь, в наших прибрежных водах. Я считал, что подобные вещи могут происходить только в глуши. Только в Европе. Но чтобы бандит такого масштаба появился в Делавэре в наши дни!

– Его видели и возле Нантакета. И возле Бар-Харбор. Газетчиков просили не писать об этом.

– Почему?

– Не хотели открыто признаваться людям, что флот не может справиться с ним.

– Не нравится мне это. Забавное возникает чувство. Как будто мы живем в средние века. Дагни подняла глаза. В нескольких шагах от нее стоял Франсиско д'Анкония, рассматривавший ее с подчеркнутым любопытством; глаза его наполняли насмешка.

– В странном мире мы живем, – негромко проговорила старая дева.

– Я читала одну статью, – вялым голосом проговорила одна из женщин. – Там говорилось, что трудные времена полезны для нас. Это хорошо, что люди беднеют. Терпеть лишения – это моральная добродетель.

– Должно быть, – проговорила вторая без особой убежденности.

– Нам не следует торопиться. Кто-то говорил, что бесполезно спешить или обвинять кого-нибудь. Никто не может помочь в делах, в какой бы ситуации ты ни оказался. Мы ничего не можем сделать, ничто нельзя изменить. Нам необходимо научиться терпеть.

– Какая в этом польза? И в чем заключена судьба человека? Разве не в том, чтобы надеяться, и никогда не достигать? Мудрецом следует назвать только того, кто не пытается надеяться.

– Именно так и надлежит поступать.

– Не знаю... Я теперь вообще не представляю, что правильно... Как мы можем узнать это?

– Ну да, кто такой Джон Голт?

Дагни резко повернулась и сделала шаг в сторону. За ней последовала одна из женщин.

– А я знаю это, – проговорила женщина негромким и полным таинственности тоном, готовясь поделиться секретом.

– Что вы знаете?

– Я знаю, кто такой Джон Голт.

– Кто? – переспросила Дагни напряженным голосом, застыв на месте.

– Я знала человека, который был знаком с Джоном Голтом. Он был старым приятелем моей внучатой тетки. Он был там и видел, как все произошло. Помните легенду об Атлантиде, мисс Таггерт?

– Что?

– Легенду об Атлантиде.

– Ну... смутно.

– Острова Благословенных. Так греки называли этот край тысячи лет назад. Они говорили, что Атлантида – это такое место, где павшие герои обитают посреди неведомого остальным людям блаженства. Место, куда войти могут только духи героев, и они попадают туда, не умирая, потому что несут в себе тайну жизни. А потом люди забыли об Атлантиде. Но греки знали, что она существовала, и пытались найти ее. Некоторые из них говорили, что край этот находится под землей, в самом сердце ее. Но большая часть их считали, что это остров. Сверкающий остров, расположенный в Западном океане. Быть может, они имели в виду Америку. Но греки так и не нашли свою Атлантиду. По прошествии столетий люди стали говорить, что это всего лишь легенда. Они не верили в нее, но не переставали искать, потому что знали – найти ее необходимо.

– Ну а какое отношение имеет к ней Джон Голт?

– Он нашел ее.

Интерес оставил Дагни:

– А кто же он такой?

– Джон Голт был миллионером, обладателем несметных богатств. Однажды ночью он плыл на своей яхте посреди Атлантического океана, сражаясь с самым худшим среди всех обрушивавшихся на землю штормов, и нашел эту страну. Он увидел ее в глубинах морских, куда она опустилась, чтобы стать недостижимой для людей. Он заметил на дне океана сверкающие башни Атлантиды. Это было такое зрелище, увидев которое человек не захочет смотреть на мир. Джон Голт потопил свой корабль вместе со всем экипажем. Все они предпочли такую судьбу. Уцелел только мой друг.

– Как интересно.

– Мой друг видел все собственными глазами, – обиделась женщина. – Это случилось уже давно, но семья Джона Голта замяла эту историю.

– А что произошло с его состоянием? Не помню, чтобы были какие-нибудь разговоры о состоянии Голта.

– Оно пошло на дно вместе с ним, – и она добавила воинственным тоном: – Но вы не обязаны верить мне.

– Мисс Таггерт не верит вам, – проговорил Франсиско д'Анкония. – В отличие от меня.

Они повернулись. Франсиско последовал за ними и теперь смотрел на них дерзко, с какой-то преувеличенной серьезностью.

– Да верите ли вы во что-нибудь вообще, сеньор д'Анкония? – возмутилась женщина.

– Нет, мадам.

Он усмехнулся ей в спину, и Дагни спросила холодным тоном:

– Что здесь смешного?

– Эта глупая женщина. Она не знает, что рассказала тебе правду.

– И ты ожидаешь, что я поверю тебе?
– Нет.
– Тогда что тебя здесь так развлекает?
– О, очень многое. А тебя разве нет?
– Нет.
– Это, например, я также нахожу забавным.
– Франсиско, ты оставишь меня в покое?
– Именно так я и поступил. Ты не обратила внимания на то, что первой заговорила со мной сегодня?

– Почему ты все время следишь за мной?
– Из любопытства.
– И что тебе любопытно?
– Твоя реакция на вещи, которые не кажутся тебе забавными.
– Какое тебе дело, как я на них реагирую?
– Это мой собственный способ развлекаться, кстати, абсолютно не присущий тебе, так ведь, Дагни? К тому же, кроме тебя, здесь нет ни одной достойной внимания женщины.

Охваченная возмущением, она замерла на месте: то, как он смотрел на нее, явно предполагало вызвать ее гнев. Дагни держалась так, как всегда: прямо, напряженно, высоко подняв голову. От неженственной позы веяло привычкой руководить. Однако нагое плечо выдавало хрупкость тела, укрытого черным платьем, и поза превращалась в самую женственность. Гордая сила бросала вызов любой превосходящей мощи, а хрупкость повествовала о возможной неудаче. Дагни не замечала этого. И ей не встречались люди, способные увидеть это.

Он проговорил, окинув взглядом ее тело:

– Дагни, какое великолепное расточительство!

Ей оставалось только повернуться и бежать. Она почувствовала, что краснеет – впервые за многие годы: краснеет оттого, что приговор этот облек в слова то, что она ощущала весь вечер.

Стараясь не думать, она бросилась от него прочь. Ее остановила музыка, внезапно зазвучавшая из радиоприемника. Она заметила Морта Лидди, который включил его и теперь махал руками, громко подзывая друзей:

– Сюда! Сюда! Я хочу, чтобы вы послушали это!

Громовой раскат начинал Четвертый концерт Халлея. Отрицая боль, он вздымался в мучительном триумфе, торжественном гимне далекому видению. А потом мелодия рассыпалась. словно бы в музыку швырнули горсть смешанной с камешками грязи, высокую песнь сменили стук и бульканье. Таким стал концерт Халлея в переложении на популярный ритм. Мелодия Халлея расползлась, являя дыры, заполненные какой-то икотой. Возвышенная радость превратилась в пошлое кабацкое веселье. И все же именно следы музыки Халлея сохраняли форму этой мелодии, поддерживая ее, словно спинной хребет.

– Неплохо, а? – Морт Лидди хвастливо и нервно улыбался друзьям. – Как, по-вашему? Лучшее музыкальное сопровождение к кино этого года. Принесло мне премию и долгосрочный контракт. Это я сочинил для фильма *«Рай на заднем дворе»*.

Дагни стояла, озираясь по сторонам, словно бы стараясь заменить одним чувством другое, словно бы стремясь зрением вытеснить этот звук. Она медленно поворачивала голову, пытаясь отыскать опору хотя бы в чем-то. Она заметила Франсиско: он стоял, прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. Он смотрел на нее и смеялся.

Нельзя так трястись, подумала она. Уходи отсюда. На нее накатывал гнев, которого она не могла сдержать. Молчи, велела она себе. Иди спокойно. Уходи отсюда.

И она пошла к двери, очень медленно, осторожно. Услышав слова Лилиан, Дагни остановилась. Лилиан неоднократно повторяла их в тот вечер в ответ на один и тот же вопрос, но Дагни впервые слышала ее объяснение.

– Это? – говорила Лилиан, выставляя руку с металлическим браслетом на обозрение двум прекрасно ухоженным дамам. – Нет-нет, я не покупала его в скобяной лавке, это особый подарок моего мужа. Ну да, конечно же, он уродлив. Но разве вы не видите? Считается, что он не имеет цены. Ну конечно, я бы в любой момент согласилась обменять его на простой браслет с бриллиантами, но почему-то никто не предлагает мне такого обмена, хотя он очень и очень дорог. Почему? Моя дорогая, но это же первая вещь, изготовленная из риарден-металла.

Дагни не видела комнаты. Она не слышала музыки. Мертвая тишина давила на ее барабанные перепонки. Она не могла отличить последующего момента от предыдущего. Она не осознавала, кто окружает ее, не замечала себя, Лилиан, Риардена, не осознавала своего поступка. Просто единственное мгновение взорвало все остальное. Она слышала слова. Она посмотрела на браслет из сине-зеленого металла.

Она ощутила, как срывает что-то с запястья, а потом услышала собственный голос, прозвучавший в мертвой тишине, очень спокойный голос, холодный, как скелет, лишенный эмоций:

– Если вам хватит отваги – а я в этом сомневаюсь, – меняемся.

Она протянула Лилиан на ладони свой бриллиантовый браслет.

– Вы серьезно, мисс Таггерт? – проговорил женский голос.

Он принадлежал не Лилиан. Та смотрела прямо в глаза Дагни.

Она видела их. Лилиан понимала, что это серьезно.

– Давайте браслет, – Дагни приподняла повыше ладонь с искрящейся на ней алмазной полоской.

– Это ужасно! – воскликнула какая-то женщина. Голос ее прозвучал до странности резко. Тут только Дагни заметила, что их окружают люди и что все они молчат. Она снова слышала звуки, даже музыку, даже доносившийся откуда-то издали изуродованный концерт Халлея.

Она видела лицо Риардена. Ей показалось, что нечто в нем изуродовано подобно той музыке, только неизвестно чем. Он наблюдал за ними.

Рот Лилиан превратился в повернутый кверху уголками полумесяц, чуть напомнимый улыбку. Расстегнув металлический браслет, она уронила его на ладонь Дагни, взяв с нее алмазную полоску.

– Благодарю вас, мисс Таггерт, – сказала она.

Пальцы Дагни сомкнулись вокруг металла. Она ощущала только его и ничего больше.

Лилиан повернулась навстречу подошедшему к ней Риардену. Взяв бриллиантовый браслет из руки жены, он застегнул его на ее запястье, поднес ее руку к губам и поцеловал.

Он даже не взглянул на Дагни.

Лилиан рассмеялась – веселым, привлекательным и непринужденным смехом, сразу вернувшим всю комнату к нормальному настроению.

– Вы можете получить его назад, мисс Таггерт, когда передумаете, – проговорила она.

Дагни отвернулась. Она ощутила покой и свободу. Давление исчезло. Вместе с необходимостью немедленно уходить.

Она застегнула металлический браслет на запястье. Ей понравилось прикосновение тяжелой вещицы к коже. Необъяснимым образом она ощутила укол незнакомого ей прежде женского тщеславия: желания показываться на людях в этом необыкновенном украшении.

Откуда-то издали доносились негодующие голоса:

– Самый оскорбительный поступок из всех, какие я видела... Какая злоба... Я рада, что Лилиан поставила ее на место... пусть себе тешится, если ей хочется выбросить на ветер несколько тысяч долларов...

Остаток вечера Риарден не отходил от жены.

Он участвовал в ее разговорах, он смеялся с ее друзьями, он вдруг превратился в преданного, внимательного, полного восхищения мужа.

Он пересекал комнату с полным бокалов подносом в руках, предназначенным для друзей Лилиан – никто еще не видел его в столь радушном расположении духа, – когда Дагни приблизилась к нему.

Она остановилась и поглядела на него так, словно они находились вдвоем в его кабинете.

Она стояла в позе начальника, с высоко поднятой головой. Риарден посмотрел на нее сверху вниз. Открывшееся его взору тело ее – от кончиков пальцев до лица – было нагим, если не считать металлического браслета.

– Прости меня, Хэнк, – проговорила она, – но я не могла поступить иначе.

Глаза его оставались бесстрастными. И тем не менее она вдруг ощутила уверенность в том, что понимает его чувства, его желание дать ей пощечину.

– Это было излишне, – ответил он холодным тоном и проследовал дальше.

* * *

Было уже очень поздно, когда Риарден вошел в спальню жены. Та еще не спала. На столике возле кровати горела лампа.

Лилиан полулежала, подложив под спину подушки из бледно-зеленого полотна. На ней была пижама из бледно-зеленого атласа, которая сидела безукоризненно, как на манекене, и выглядела так, будто с нее не сорвали еще упаковочную бумагу. Свет из-под абажура цвета яблоневых лепестков падал на столик, на котором лежала книга, стоял бокал с фруктовым соком, блестели серебряные туалетные принадлежности, словно выложенные из чемоданчика хирурга инструменты. Руки ее отливали фарфором. Губы покрывал тонкий слой бледно-розовой помады. Она не казалась утомленной после вечеринки – никаких признаков израсходованной жизни. Спальня являла собой пример созданной дизайнером декорации: дама отходит ко сну, и тревожить ее нельзя.

На Риардене все еще был вечерний костюм, но он ослабил галстук, а на лоб свисала прядь волос. Лилиан посмотрела на него без удивления, словно бы понимая, чего стоил ему последний проведенный в комнате час.

Он молча смотрел на жену. Риарден давно уже не заходил в ее комнату и теперь жалел о том, что сделал это.

– Генри, разве среди людей не принято говорить?

– Как хочешь.

– Мне бы хотелось, чтобы ты прислал с завода одного из своих блестящих специалистов, посмотреть на нашу топку. Ты не знаешь, что она погасла во время вечеринки, и Симонсу пришлось попотеть, прежде чем ему удалось снова запустить ее?.. Миссис Уэстон назвала кухарку нашим лучшим достижением – ей очень понравились закуски... Бальф Юбэнк сказал о тебе очень забавную вещь: он назвал тебя крестоносцем, у которого вместо плюмажа на шлеме заводской дым... Мне приятно, что тебе не понравился Франсиско д'Анкония. Я терпеть его не могу.

Он не стал объяснять свое появление, маскировать поражение или признавать его, немедленно удалившись. Вдруг все, что думала она, о чем догадывалась, что ощущала, сделалось ему безразличным. Он подошел к окну и остановился, глядя наружу.

«Почему же она вышла за меня замуж?» – думал он. Он не задавал себе этот вопрос восемь лет назад, в день их бракосочетания. Но после, в муках одиночества, неоднократно пытался найти ответ на него. Ответа не было.

Дело было не в его положении или деньгах. Лилиан происходила из старинной семьи, не испытывавшей недостатка ни в том, ни в другом. Хотя семейство ее не принадлежало к числу самых блестящих и состояние его считалось умеренным, однако и того, и другого хватало, чтобы она могла вращаться в высших кругах нью-йоркского общества, где Риарден и познакомился с ней. Девять лет назад он объявился в Нью-Йорке подобно взрыву бомбы, в пламени успеха «*Риарден Стил*», успеха, которого не допускали городские эксперты. Особое впечатление производило его безразличие. Он не понимал, что от него ждали другого: что он попытается деньгами проложить себе путь в общество, – и уже предвкушали возможность отвергнуть его. У него не было времени замечать разочарование этой публики.

Без особого желания он посетил несколько общественных мероприятий, приглашенный людьми, искавшими его расположения. В отличие от них самих, он не понимал, что его любезная вежливость представляла собой снисходительность по отношению к людям, которые стремились посрамить его, к людям, утверждавшим, что век предприимчивости миновал.

В Лилиан его привлекла строгость – точнее, конфликт между ее строгостью и поведением. Риарден никогда и никого не любил и не ожидал, что его полюбят. Его увлек спектакль, поставленный этой женщиной, явно добивавшейся его, но с неохотой, якобы против собственной воли, словно бы сопротивляясь неприятному желанию. Именно она назначала их встречи, а потом обращалась с ним холодно, как бы не заботясь о том, как он к этому относится. Она говорила немного, и окутывавшее Лилиан облачко тайны словно подсказывало ему, что он никогда не сможет взломать ее гордую отстраненность, преодолеть ее насмешку над их желаниями.

В жизни его было немного женщин. Он продвигался к своей цели, отбрасывая в сторону все, что не имело к ней отношения – как в окружающем мире, так и в себе самом. Его преданность собственному делу была подобна огню, с которым ему так часто приходилось иметь дело, огню, выжигавшему все примеси, всю грязь из раскаленной добела струи чистого металла. Он не был способен на половинчатые увлечения.

Однако иногда его внезапно охватывало желание, слишком бурное и страстное, чтобы от него можно было избавиться в случайной встрече. И нечасто, несколько раз за всю жизнь, он покорялся ему с женщинами, казавшимися ему симпатичными. И всякий раз он оставался один, ощущая гневную пустоту, потому что искал победы, пусть и неведомого ему рода, но получал только согласие женщин на мимолетное удовольствие, ясно понимая, что победы его лишены смысла. Он оставался один, ничего не добившись и только ощущая собственное падение. И он стал ненавидеть это желание. Он сопротивлялся ему. Он начал верить доктрине, утверждавшей, что желание это имеет исключительно физическую природу, что свойственно оно не сознанию, а материи, и в итоге взбунтовался против мысли о том, что плоть имеет право решать и что выбор ее выше воли ума. Жизнь его проходила в рудниках и на заводах, где материя подчинялась силе разума, и он находил нестерпимыми те ситуации, когда не мог подчинить себе собственную плоть. Он сражался с ней. Он одолел материю во всех битвах с неодушевленной природой, но в этой битве потерпел поражение.

Именно трудный путь к победе заставил его возжелать Лилиан. Она производила впечатление женщины, достойной пьедестала и ожидающей его; именно это и заставило Риардена почувствовать желание затащить ее в свою постель. «*Стащить ее вниз*» – такие слова звучали в его голове, они приносили ему темное удовольствие, чувство победы, за которую стоило сражаться.

Он не мог понять причины и усматривал в этом какой-то непристойный конфликт, признак тайной порочности, гнездящейся в недрах его собственной души, заставлявшей его в то же самое время ощущать великую гордость при мысли о том, что он удостоит эту женщину титула своей жены. Чувство это было торжественным и светлым; ему едва ли не казалось, что он стремится почтить женщину своим стремлением обладать ею.

Лириан соответствовала образу, неведомо для самого Риардена обитавшему в его душе и определявшему его поиски: он видел ее красоту, гордость и чистоту – все остальное было в нем самом. Тогда он не знал, что смотрит на свое отражение.

Он вспомнил тот день, когда Лириан по собственной воле вдруг приехала из Нью-Йорка в его офис и попросила его провести ее по заводу. Он помнил ее негромкий голос, все более наполнявшийся восхищением по мере того, как она расспрашивала его о работе и обходила цеха. Он смотрел на ее изящную фигурку, вырисовывавшуюся на фоне вырывавшихся из печей языков пламени, слышал легкую и быструю поступь высоких каблучков, решительно ступавших рядом с ним среди россыпей шлака.

Выражение глаз Лириан, с которым она наблюдала за разливкой стали, показалось ему похожим на его собственное. И когда она посмотрела ему в глаза, Риарден увидел в них собственный взгляд, но возведенный в степень, сделавшую ее беспомощной и молчаливой. В тот вечер, за ужином, он сделал ей предложение.

После свадьбы ему потребовалось некоторое время, чтобы признаться себе в том, что брак превратился в мучение. Он еще помнил ту ночь, когда признал это, когда приказал себе самому – стиснув до боли кулаки, стоя возле постели и глядя на Лириан, – что он заслуживает эту пытку и вынесет ее. В ту ночь он стоял у кровати и смотрел на жену. Вены на его запястьях судорожно вздулись. Не глядя на него, Лириан поправляла волосы.

– Могу ли я теперь лечь спать? – осведомилась она.

Она никогда не возражала; она никогда не отказывала ему ни в чем; она подчинялась всякому его желанию. Да, подчинялась, следуя правилу, которое временами как бы требовало от нее превратиться в неодушевленный предмет, находящийся в пользовании мужа.

Она не осуждала его, но просто дала понять, что считает вполне естественным наличие у мужчин порочных инстинктов, образующих тайную и уродливую часть брака. Она проявляла снисходительную терпимость. Она улыбалась с легким отвращением к интенсивности его желаний и эмоций.

– Это самый недостойный из известных мне способов времяпрепровождения, – сказал она ему однажды, – однако я никогда не питала иллюзий в отношении мужчин, которые едва ли выше животных.

Желание владеть ее телом скончалось в нем еще в первую неделю брака. Осталась только потребность, с которой он не в силах был справиться. Риарден никогда не посещал публичных домов; и временами ему казалось, что не мог бы претерпеть там более горького унижения, чем то, которое был вынужден испытывать в спальне собственной жены.

Он часто заставлял Лириан за чтением. Она откладывала книгу в сторону, оставив в качестве закладки между страницами белую ленточку. И когда он лежал утомленный, с закрытыми глазами, неровно дыша, она уже включала свет, брала книгу и продолжала чтение.

Он говорил себе, что заслуживает это мучение, потому что всякий раз зарекался не прикасаться к ее телу и не мог исполнить своего решения. Он презирал себя за это. Он презирал эту необходимость, в которой не было теперь ни радости, ни смысла, которая превратилась в простейшую потребность в женском теле, анонимном теле, принадлежавшем женщине, которую ему приходилось забывать, обнимая ее. Он постепенно уверился в том, что потребность его порочна.

Риарден не осуждал Лириан. Он испытывал к ней нечто вроде сухого, безразличного уважения. Ненависть к собственному желанию заставила его поверить проповеди о том, что женщины чисты, а чистая женщина не способна получить физическое удовольствие.

Все мучительные годы своего брака он ни разу не обращался к одной только мысли – об измене. Он дал слово и сдержит его. Верность его не была отдана Лириан – он просто хотел избавить ее от позора не как личность, но как свою жену.

И теперь, стоя возле окна, он размышлял об этом. Он не хотел входить в ее комнату. Он боролся с собой. И еще более отчаянно он гнал из памяти причину, делавшую его в тот день неспособным противостоять этому желанию. А потом, увидев Лилиан, он вдруг понял, что не прикоснется к ней. Причина, приведшая его в спальню жены, не позволяла почувствовать желание обладать ею.

Риарден стоял, освобождаясь от этого наваждения, ощущая вялое облегчение от нахлынувшего безразличия к собственному телу, к этой комнате, даже к своему присутствию в ней. Он отвернулся от Лилиан, чтобы только не видеть ее отлакированного целомудрия. Он полагал, что ему надлежит испытывать уважение к ней, но на самом деле ощущал отвращение.

— ...но доктор Притчетт сказал, что наша культура умирает, потому что наши университеты вынуждены пользоваться подачками упаковщиков мяса, сталелитейщиков и торговцев крупой.

«Зачем она вышла за меня?» — размышлял Риарден. Легкий и прохладный голос говорил: преследуя определенную цель. Она знала, зачем он пришел сюда. И превосходно представляла себе, какую реакцию вызовет, взяв серебряный маникюрный прибор и приступив под веселый разговор к полировке ногтей. Она говорила о закончившейся вечеринке и все же не упомянула ни Бертрама Скаддера, ни Дагни Таггерт.

Что искала она в их браке? Риарден ощущал присутствие некоей холодной и настоящей цели, однако повода для осуждения у него не было. Лилиан никогда не пыталась использовать его в собственных целях. Она ничего не требовала от него. Престиж жены влиятельного предпринимателя ее не привлекал — она отвергала его, предпочитая кружок собственных друзей. Деньги ее не интересовали — тратила она мало и была равнодушна к той роскоши, которую он мог бы позволить ей. У меня нет права осуждать ее, думал Риарден, как нет и права разрывать брачный союз. В браке она вела себя достойно — как подобает честной женщине. Лилиан не хотела от него ничего материального.

Отвернувшись от окна, он посмотрел на нее усталым взглядом.

— Когда ты в следующий раз будешь устраивать вечеринку, — проговорил он, — ограничься своим собственным кругом. И не приглашай тех, кого считаешь моими друзьями. Общение с ними не интересует меня.

Она рассмеялась, удивленная и довольная его словами:

— Я не виню тебя, дорогой.

И, ничего более не добавив, он вышел из комнаты.

«Что же все-таки она от меня хочет? — думал Риарден. — Какую цель преследует?» И во всей известной ему Вселенной не мог отыскать ответа.

ГЛАВА VII. ЭКСПЛУАТАТОРЫ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ

Рельсы тянулись среди скал к нефтяным вышкам, упиравшимся в самое небо. Стоя на мосту, Дагни рассматривала гребень холма, на котором солнце высвечивало металлическое пятнышко наверху самой большой вышки. Оно походило на белый факел, зажженный над заснеженными гребнями *Уайэтт Ойл*.

К весне, подумала Дагни, колея сомкнется с той, что тянется навстречу ей от Шайенна. Она окинула взором иссиня-зеленые рельсы, спускавшиеся от вышек вниз, пересекавшие мост и уходившие к горизонту. Она повернула голову – проводить взглядом уходившую в прозрачную даль колею: та выписывала плавные дуги на горных склонах, и где-то там, на самой грани видимости заканчивалась краном путеукладчика, словно рука с оголенными костями и нервами, напряженно двигавшимся на фоне неба.

Мимо нее проехал трактор, нагруженный сине-зелеными болтами. Снизу доносился грохот отбойных молотков: подвешенные на металлических тросах люди подгоняли каменную стену обрыва под контрфорсы моста. Вниз по колее рабочие укладывали шпалы. Стоя на мосту, она могла различить, как напряжены их мышцы.

– Руками, мисс Таггерт, – сказал ей подрядчик Бен Нили, – мужскими руками построено все на этой земле.

Подрядчика уровня Макнамары на свете более не существовало. И она обратилась к лучшему среди тех, кого смогла отыскать. Она не могла доверить надзор за сооружением линии работавшим на фирму Таггертов инженерам; все они скептически относились к новому металлу.

– Откровенно говоря, мисс Таггерт, – сказал ей главный инженер, – поскольку подобного эксперимента еще не проводилось, на мой взгляд, нечестно взваливать его на меня.

– Всю ответственность я беру на себя, – ответила она.

Человеку этому перевалило за сорок, но он все еще сохранял бойкие студенческие манеры. Некогда на «*Таггерт Трансконтинентал*» работал главным инженером молчаливый, седовласый мужчина. Он был самоучкой, но равных ему не было ни на одной железной дороге. Пять лет назад он уволился.

Дагни посмотрела вниз. Она стояла на узкой балке, подвешенной над ущельем, прорезавшим горы на глубине полутора тысяч футов. Далеко внизу угадывались контуры высохшего речного русла, груды камней и деревья, изуродованные столетиями. Она спрашивала себя, достаточно ли мышц, камней и стволов, чтобы перекинуть мост через этот каньон. И неожиданно для самой себя подумала о том, что давным-давно на дне ущелья столетиями обитали пещерные люди, нагие и в шкурах.

Она посмотрела на нефтяные вышки Уайэтта. Железнодорожный путь расходился на множество веток, которые вели к скважинам. На фоне снега всюду выделялись стрелки. Это были металлические стрелки такого же типа, что тысячами разбросаны по всей стране, но эти сверкали на солнце свежим металлом, рассыпая сине-зеленые искры. Для нее эти отблески означали долгие часы уговоров, терпеливые попытки поразить не имеющую яблочка мишень, а именно мистера Моуэна, президента «*Объединенной стрелочно-семафорной компании*» из штата Коннектикут.

– Ах, мисс Таггерт, дорогая моя мисс Таггерт! Моя компания не первое поколение обслуживает ваш концерн, ваш дед был первым клиентом моего отца, и вы можете не сомневаться в нашем стремлении сделать для вас все возможное, но... кажется, вы попросили сделать стрелки из риарден-металла?

– Да.

– Но мисс Таггерт! Разве вы не представляете, *что* значит работать с этим металлом. Вам, конечно, известно, что он плавится при температуре не менее четырех тысяч градусов?.. Каково? Ну, быть может, с точки зрения производителей моторов, это и великолепно, но для меня этот металл означает новую печь, совершенно новый технологический процесс... Придется учить людей, ломать планы, писать новые инструкции, комкать все на свете, и после всего... дай-то Бог, чтобы все получилось как надо!.. Почему вы так уверены в успехе, мисс Таггерт? Как вы можете заранее утверждать это, раз никто и никогда еще не делал ничего подобного?.. Я не имею права полагать, что металл этот хорош, и не могу заранее допускать, что он плох... Ну нет, не надо говорить, что его создал гений, слишком уж многие видят в нем очередное мошенничество, слишком уж многие, мисс Таггерт... Ну я-то не стану утверждать ни того, ни другого, кто я такой, чтобы судить об этом? Но я не могу рисковать, взявшись за такую работу.

Ей пришлось удвоить стоимость заказа. Риарден послал двух металлургов учить людей Моуэна, показать, объяснить каждый этап процесса. Он же платил им зарплату, пока они учились.

Дагни посмотрела на костыли, вогнанные в шпалы у ее ног. Они напомнили ей тот вечер, когда она услышала о том, что иллинойская компания «*Саммит Кастинг*», единственная соглашавшаяся делать костыли из риарден-металла, разорилась, не поставив и половину ее заказа. Она в ту же ночь улетела в Чикаго, вытащила из постелей троих адвокатов, судью и одного из законодателей, подкупила двоих из этой компании, припугнула остальных, получила бумагу – законное и не обжалуемое разрешение, – сняла замки с запертых дверей завода «*Саммит Кастинг*», и наскоро собранная полуодетая бригада встала у плавильных печей еще до того, как забрезжил рассвет. Бригада осталась работать под руководством инженера компании «*Таггерт*» и металлурга Риардена. Сооружение линии Рио-Норте не было задержано.

Дагни прислушалась к звуку буров. Один сбой в работе здесь все-таки был, когда оставилось бурение под опоры моста.

– Ничего не могу поделаться, мисс Таггерт, – сказал ей тогда задетый Бен Нили. – Вам известно, как быстро изнашиваются буровые головки. Я заказал их, однако у «*Инкорпорейтед Тулз*» начались небольшие неприятности, и они не сумели ничего сделать, потому что «*Ассошиэтед Стил*» запоздала с поставками стали, поэтому нам остается только ждать. И расстраиваться бесполезно, мисс Таггерт, я делаю все, что могу.

– Я наняла вас для того, чтобы вы выполнили конкретную работу, а не делали все, что можете, – в чем бы это ни выражалось.

– Забавная мысль. Только непопулярная, мисс Таггерт, ой как непопулярная.

– Забудем «*Инкорпорейтед Тулз*». Забудем о стали. Закажите головки буров из риарден-металла.

– Только не я. Мало мне бед с этим поганим металлом в ваших рельсах. Я не собираюсь учинять беспорядок в своей инструментальной кладовой.

– Буровая головка из риарден-металла прослужит в три раза дольше любой стальной.

– Возможно.

– Я сказала, закажите их.

– И кто будет оплачивать заказ?

– Я.

– А кто найдет мне изготовителя?

Она позвонила Риардену. Тот отыскал заброшенный инструментальный завод, давно уже бездействовавший, и за какой-то час выкупил его у родственников последнего владельца. Завод начал работу уже на следующий день, и буквально через неделю буровые головки из риарден-металла привезли в Колорадо – к мосту.

Дагни посмотрела на мост. Его едва ли можно было назвать удовлетворительным решением задачи, однако ей приходилось с этим мириться. Мост, двенадцать сотен футов стали, переброшенных через черную пропасть, был сооружен во времена сына Ната Таггерта. Он уже давно отслужил свой срок и был укреплен продольными балками из стали, железа и дерева; сам мост едва ли стоил этих затрат.

Подумывая о новом мосте, построенном из риарден-металла, Дагни попросила своего главного инженера представить ей проект и оценить стоимость работ.

Проект, который она получила, повторял схему стального моста, скорректированную под большую прочность нового материала; стоимость делала проект невыполнимым.

– Прошу прощения, мисс Таггерт, – произнес главный инженер оскорбленным тоном. – Не понимаю, что вы хотите сказать, когда говорите, что я не воспользовался этим металлом. В моем проекте используются элементы лучших из известных ныне мостовых схем. Чего вы от меня ожидали?

– Нового метода сооружения.

– То есть?

– Я хочу сказать, что, когда люди получили в свое распоряжение конструкционную сталь, они воспользовались ею не для сооружения стальных копий деревянных мостов. – Дагни добавила усталым тоном:

– Сделайте оценку того, что понадобится нам, чтобы старый мост простоял еще пять лет.

– Да, мисс Таггерт, – проговорил он бодрым тоном. – Если мы усилим его стальными...

– Мы усилим его балками из риарден-металла.

– Да, мисс Таггерт, – прохладным тоном согласился главный инженер.

Она посмотрела на покрытые снегом горы. Там, в Нью-Йорке, работа подчас казалась ей отчаянно трудной. Иногда она просто в безмолвии замирала посреди своего кабинета, парализованная отчаянием, рожденным жесткостью срока, который нельзя было отодвинуть ни на один день. Это были дни, когда неотложные деловые встречи сменяли друг друга; когда ей приходилось говорить о выработавших свой срок дизелях, прогнивших товарных вагонах, вышедшей из строя сигнализации, падении доходов, думая при этом о последних событиях на строительстве линии Рио-Норте; когда в ходе переговоров она видела только две полоски иссиня-зеленого металла, протянувшиеся через ее разум; когда, прервав очередное обсуждение, она вдруг понимала, почему ее смутила та или иная вест, и хватала телефонную трубку, чтобы вызвать в далеком городе своего подрядчика и спросить у него: «А у кого вы берете продовольствие для своих людей?.. Так я и думала. Вот что, фирма “Бартон и Джонс” из Денвера вчера была объявлена банкротом. Лучше отыщите себе другого поставщика, иначе вам грозит голод». Свою линию она строила, не поднимаясь из-за рабочего стола в Нью-Йорке. И это было трудно. Но теперь колея была перед ней. Колея росла. И сооружение ее должно было завершиться в срок.

Услышав резкие, торопливые шаги она повернулась. Вдоль колеи к ней приближался мужчина, высокий, молодой, его черные волосы шевелил холодный ветер; несмотря на рабочую кожаную куртку, он не был похож на путейца – слишком уж властной была его походка. Она разглядела его лицо, только когда он приблизился к ней. Это был Эллис Уайэтт. Дагни еще не видела его после той встречи в ее кабинете.

Остановившись перед ней, он улыбнулся.

– Привет, Дагни.

Дагни почувствовала невероятное облегчение, а вместе с ним прилив сил, она поняла все, что должны были сказать ей эти два слова. В них звучало прощение, понимание, признание. Это было приветствие равного.

Она по-детски рассмеялась, радуясь тому, что проблем сразу стало меньше.

– Привет, – ответила она, подавая руку.

Рука его задержала в себе ее ладонь чуть дольше, чем того требовало приличие. Рукопожатие это было знаком примирения, спора разрешенного и улаженного.

– Скажите Нили, чтобы поставил новую снегозащитную ограду на полторы мили у перевала Гранада, – проговорил он. – Старая сгнила. Она не выдержит еще одного снегопада. И пошлите ему роторный снегоуборщик. У него там какая-то рухлядь, которой не под силу очистить даже задний двор. Сейчас в любой день можно ждать обильного снега.

Она задумчиво посмотрела на него и спросила:

– И часто вы делаете это?

– Что?

– Приходите проинспектировать работу.

– При любой возможности. Когда нахожу время. Почему бы и нет?

– А вы были здесь в ту ночь, когда случился обвал?

– Да.

– Получив отчеты, я была удивлена тем, насколько быстро и уверенно они расчистили колею. Я даже подумала, что Нили – человек более умелый, чем кажется.

– Это не так.

– Значит, это вы организовали систему ежедневного снабжения его всем необходимым на линии?

– Конечно. Его люди по полдня искали нужные им вещи. И скажите ему, чтобы следил за баками с водой. В одну из ближайших ночей они обязательно замерзнут. И постарайтесь прислать новый канавокопатель. Тот, что есть у него, мне не нравится. Проверьте тросы.

Поглядев на него, Дагни сказала:

– Спасибо, Эллис.

Ответив ей улыбкой, он отправился дальше. Дагни проводила его взглядом до конца моста, где начинался длинный подъем к вышкам.

– Ну, этот, видно, решил, что все вокруг принадлежит ему, не правда ли?

Она резко повернулась. За спиной ее оказался Бен Нили, большой палец его указывал на Эллиса Уайэтта.

– Что *все*?

– Железная дорога, мисс Таггерт. Ваша железная дорога. А может, и весь мир. Так он, кажется, думает.

Бен Нили был человеком грузным, с обмякшего лица смотрели пустые, но упрямые глаза. В синих отсветах снега кожа его отливала желтизной.

– Чего ради он торчит здесь? – спросил Нили. – Будто кроме него никто своего дела не знает. Надменный выскочка. За кого он себя принимает?

– Идите к черту, – ответила Дагни ровным тоном.

Нили так и не понял, что именно заставило ее выругаться. И все же где-то в глубине души он, как ему казалось, понимал причину: ее возмутило то, что он отнесся к появлению этого самозванца слишком спокойно. И Нили просто промолчал.

– Пойдемте в вашу контору, – проговорила она смертельно усталым голосом, указав на видневшийся вдаль на гребне отрога старый железнодорожный вагончик. – Пусть кто-нибудь принесет отчет.

– Кстати, насчет этих шпал, мисс Таггерт, – торопливо заговорил он, едва они сошли с места. – Ваш мистер Коулман одобрил их. Ему не показалось, что коры слишком много. И я не понимаю, почему вы считаете, что они...

– Я приказала вам заменить их.

Выйдя из вагончика через два часа, Дагни чувствовала себя смертельно усталой. Все это время она терпеливо объясняла, наставляла, отдавала распоряжения. На разбитой грунтовой дороге она увидела черный двухместный автомобиль, сверкающий новизной. Вид новой

машины являл собой зрелище удивительное, какое нечасто можно было увидеть даже в городах.

Хорошенько оглядевшись вокруг, Дагни охнула, заметив возле моста рослый силуэт. Это был Хэнк Риарден. Она не рассчитывала встретить его в Колорадо. Держа в руках карандаш и блокнот, он углубился в вычисления. Одежда его привлекала внимание не меньше, чем автомобиль, и по той же самой причине: на нем был спортивный плащ и шляпа с опущенными полями, но они были такого отменного качества и такие запредельно дорогие, что казались нарочитыми среди убогой толпы работяг, тем более что держался он совершенно естественно.

Дагни вдруг заметила, что бежит к нему; ее усталость как ветром сдуло. Вспомнив, что после той вечеринки они еще не виделись, она остановилась.

Увидев Дагни, Риарден приветствовал ее жестом, полным приятного удивления, и пошел навстречу. Он улыбался.

– Привет, – проговорил он. – Впервые выбрались посмотреть?

– В пятый раз за три месяца.

– А я и не знал, что вы здесь. Мне никто не говорил.

– Я знала, что однажды вы не выдержите.

– То есть?

– Приедете, чтобы посмотреть на свой металл. И как вам нравится?

Риарден огляделся по сторонам:

– Если вам когда-нибудь надоест возиться с железной дорогой, дайте мне знать.

– Вы хотите дать мне работу?

– В любой момент.

Дагни посмотрела на него.

– Хэнк, вы ведь шутите только наполовину. И, думаю, вы были бы рады, если бы я попросилась к вам на работу. Чтобы я стала вашим сотрудником, а не клиентом. Чтобы вы отдавали мне приказы, а я выполняла их.

– Да. Готов к этому.

– Не закрывайте свой завод, я вам места на железной дороге обещать не стану, – строго и даже сухо ответила она.

Он рассмеялся:

– Даже и не пытайтесь.

– Не понимаю.

– Выторговывать себе что-то, когда условия называю я.

Дагни не ответила. Эти слова вызвали в ней чувство... нет, скорее, даже не чувство, а физическое ощущение удовольствия, которого она не могла толком понять и истолковать.

– Кстати, – добавил Риарден, – это не первая моя поездка. Я был здесь вчера.

– Правда? Зачем?

– О, я приехал в Колорадо по своим делам и решил заодно посмотреть, что здесь происходит.

– Ну и как, цель достигнута?

– А почему вы решили, что *здесь* у меня есть какая-то цель?

– Вы не стали бы тратить время попусту, чтобы *просто* посмотреть. Тем более дважды.

Риарден рассмеялся и показал на мост:

– Вы правы. Меня интересует этот объект.

– И чем же?

– Его можно хоть сейчас отправлять на свалку.

– Вы думаете, мне это неизвестно?

– Я просмотрел спецификацию вашего заказа на детали из моего металла для этого моста. Вы попусту тратите деньги. Разница между вашими затратами на продление существования этой рухляди, которая протянет всего пару лет, и стоимостью нового моста из риарден-металла настолько невелика, что я просто не понимаю, зачем вам нужен этот музейный экспонат.

– Я думала о новом мосте из вашего металла и попросила своих инженеров провести оценку.

– И какую же цифру они называли?

– Два миллиона долларов.

– Великий боже!

– А что скажете вы?

– Восемьсот тысяч.

Дагни пристально посмотрела на Риардена. Ей было известно, что слов на ветер он не бросает. И она спросила, стараясь сохранить спокойствие в голосе:

– Но как это может быть правдой?

– Вот так.

Он показал ей свой блокнот. Дагни увидела несколько не связанных друг с другом записей, множество цифр, несколько грубых набросков. Замысел его она поняла еще до того, как Риарден закончил объяснять. Она не заметила, как они сели, что пристроились на груде мерзлых досок, что ноги ее касаются ледяной шершавой древесины и холод проникает через тонкие чулки. Риарден держал в руках несколько листов, которые могли позволить перебрасывать тысячи тонн груза через черную пропасть. Ясным четким голосом он рассказывал о векторах приложения усилий, напряжениях, нагрузках и давлении ветра. Мост должен был представлять собой единое строение с пролетом в двенадцать сотен футов. Риарден изобрел новый тип мостовой фермы. Подобных прежде не делали, да и не могли делать из материала, не обладающего прочностью и легкостью риарден – металла.

– Хэнк, – спросила она, – вы придумали все это за два дня?

– Нет, конечно... Эта идея зацепила меня задолго до того, как я получил риарден-металл. Я сделал расчет, когда изготавливал сталь для мостов. Мне хотелось иметь металл, из которого, среди прочего, можно сделать подобную конструкцию. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы увидеть вашу проблему собственными глазами.

Он усмехнулся, заметив неторопливое движение ее руки, прикоснувшейся к глазам, и горькую складку губ, словно бы пытавшихся изгнать из памяти то, против чего она вела столь утомительную и безрадостную борьбу.

– Это всего лишь грубая схема, – проговорил Риарден, – но, полагаю, вы видите, что она вполне реальна?

– Даже не могу пересказать вам все, что вижу здесь, Хэнк.

– Не утруждайте себя. Я это знаю.

– Вы во второй раз спасаете «*Таггерт Трансконтинентал*».

– Раньше вы были лучшим психологом.

– Что вы хотите этим сказать?

– Зачем мне утруждать себя спасением «*Таггерт Трансконтинентал*»? Разве вы не понимаете, что мост из риарден-металла нужен мне для демонстрации его преимуществ всей стране?

– Да, Хэнк. Я понимаю это.

– Слишком много всякой публики вопит сейчас о том, что рельсы из моего металла нельзя назвать безопасными. И поэтому я решил предоставить им более заметный предмет для нападок. Пусть посмотрят на мост из риарден-металла.

Взглянув на него, Дагни рассмеялась, охваченная почти детским восторгом.

– А это еще что такое? – поинтересовался он.

– Хэнк, я не знаю никого на свете, кто в подобных обстоятельствах таким вот образом ответил бы общественному мнению – кроме вас.

– А как *вы* отнесетесь к подобной перспективе? Хотите ли вы встать под удар вместе со мной и выслушать в свой адрес, как они завопят?

– Вы прекрасно знаете, что я согласна.

– Да. Я знаю.

Риарден посмотрел на Дагни, прищулив глаза; в отличие от нее, он не смеялся, но взгляд его был полон веселья.

Дагни вдруг вспомнила их последнюю встречу на вечеринке у него дома. Воспоминание казалось немыслимым. Их непринужденное общение – странное легкомысленное чувство, что более понятных и простых людей, чем они сами, другу для друга, им просто не найти – делало невозможным любую враждебность. Тем не менее Дагни не могла забыть о том, что вечеринка эта все-таки была. Риарден же вел себя так, словно ее не было.

Они подошли к краю каньона и вместе посмотрели на темный обрыв, на высящуюся за ним скалу и на солнце, освещавшее верхушки вышек «*Уайэтт Ойл*». Дагни остановилась, расставив ноги на мерзлых камнях, стараясь не поддаться ветру. Не прикасаясь к Риардену, она чувствовала за своим плечом его надежное присутствие. Ветер хлестал полами ее пальто по его ногам.

– Хэнк, а мы сумеем построить мост вовремя? Осталось всего шесть месяцев.

– Конечно. На постройку уйдет меньше времени и труда, чем на сооружение моста любой другой конструкции. Позвольте моим инженерам разработать базовую схему. Они передадут ее вам без всяких обязательств с вашей стороны. Просто внимательно просмотрите материалы и решите, в состоянии ли вы позволить себе это строительство. Оно будет вам по карману. А потом пусть ваши мальчики с дипломами рассчитают детали.

– А как насчет металла?

– Я буду прокатывать для вас столько, сколько потребуется, даже если придется отказаться от всех прочих заказов.

– И вы начнете прокат при столь малом сроке на подготовку?

– Разве я когда-нибудь не выполнял ваш заказ?

– Нет. Но, учитывая нынешнее состояние дел, вы можете оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства.

– С кем, по-вашему, вы говорите – с Орреном Бойлем?

Дагни рассмеялась.

– Ну хорошо. Пришлите мне свои чертежи сразу, как только они будут готовы. Я посмотрю предварительный проект и дам ответ через сорок восемь часов. Что касается моих ученых мальчиков, они... – Дагни нахмурилась. – Хэнк, почему сейчас так трудно найти хорошего работника на любую должность?

– Не знаю... – Риарден посмотрел на контур горных вершин, вырисовывавшихся на фоне неба. Над далекой долиной поднималась в небо струйка дыма.

– Вы видели новые города и заводы Колорадо? – спросил он.

– Да.

– А здорово, не правда ли, смотреть на работу тех людей, что собрались там со всех уголков страны? Молодых, начинавших с нуля и способных сдвинуть горы.

– И какую же гору собрались сдвинуть вы?

– Почему вы так решили?

– Что вы делали в Колорадо?

Риарден улыбнулся:

– Осматривал рудники.

– Какие же?

– Медные.

– Великий Боже, разве у вас мало других дел?

– Я знаю, что дело сложное. Однако поставки меди сделались совершенно ненадежными. В этой области бизнеса в нашей стране, похоже, не осталось ни одной первоклассной компании, а я не хочу иметь дело с «Д'Анкония Коппер». Не доверяю я этому плеядою.

– В этом вас трудно обвинить, – проговорила Дагни, отвернувшись.

– Посему, раз на свете не осталось надежного поставщика, мне придется добывать собственную медь, так же как я уже добываю свою железную руду. Я не могу позволить себе рисковать при всех нынешних случайностях и дефицитах. Для производства риарден-металла требуется много меди.

– И вы уже купили рудник?

– Пока еще нет. Осталось решить несколько проблем, связанных с персоналом, оборудованием и перевозками.

– Ого!.. – усмехнулась она. – Намереваетесь предложить мне построить ветку?

– Вполне вероятно. В этом штате не видно предела возможностям. Вам известно, что он располагает всеми существующими разновидностями природных ресурсов, в неприкосновенности дожидаящимися своего часа? А как здесь растут заводы! Приезжая сюда, я становлюсь на десяток лет моложе.

– А я нет, – Дагни посмотрела на восток мимо гор. – Мне сразу приходит в голову контраст со всеми прочими линиями нашей фирмы. С каждым годом становится все меньше товара, общий объем перевозок постоянно падает. Как будто бы... Хэнк, что случилось с нашей страной?

– Не знаю.

– А я все думаю о том, что нам говорили в школе о Солнце – о том, что оно теряет энергию, становясь с каждым годом все холоднее. Помню, как я размышляла тогда, каково придется людям в последние дни мира. Мне кажется, все будет как сейчас... холод вокруг, и все останавливается.

– Я никогда не верил в это. Мне казалось, что, когда Солнце погаснет, люди найдут ему замену.

– В самом деле? Забавно. Мне тоже приходила в голову подобная мысль.

Риарден указал на струйку дыма:

– Вот ваш новый восход. И он должен прокормить все остальное.

– Если только его не остановят.

– И вы считаете это возможным?

Дагни посмотрела под ноги, на рельсы, и произнесла:

– Нет.

Риарден улыбнулся. Он тоже посмотрел на рельсы, потом взгляд его переместился вдоль колеи к склонам гор, к далекому крану путеукладчика. И на мгновение в поле ее зрения не осталось ничего, кроме двух вещей: очертаний его профиля и иссиня-зеленой нитки, протянутой сквозь пространство.

– Мы сделали это, не так ли? – проговорил он.

Мгновение это стоило всех стараний, всех бессонных ночей, всех беззвучных сражений с отчаянием; она не хотела ничего другого.

– Да. Сделали.

Дагни отвернулась, заметила на ветке старый кран и решила, что тросы его износились и требуют замены: такова великая ясность мысли, дарованная выходом за пределы всякого чувства после такой награды, когда испытываешь все, что можно пережить. *Наше* достижение, подумала она, *наше* признание его – разве существует на свете бóльшая близость? И теперь она

могла возвратиться к самым простым и обыкновенным потребностям, ибо все, на что ложился теперь ее взгляд, было исполнено глубокого смысла.

Дагни попыталась понять, почему она так уверена в том, что Риарден полностью разделяет ее чувства. Резко повернувшись, он направился к своей машине. Она последовала за ним. Они не смотрели друг на друга.

– Через час мне надо уезжать на Восток, – проговорил он.

Дагни указала на автомобиль:

– Где вы его взяли?

– Здесь. Это «хэммонд». Только завод Хэммонда в Колорадо еще делает хорошие машины. Я приобрел его в этой поездке.

– Прекрасная работа.

– Да, конечно.

– Поедете на нем до Нью-Йорка?

– Нет. Распоряжусь, чтобы отправили следом. Я прилетел сюда на своем самолете.

– О, в самом деле? А я ехала из Шайенна – надо было посмотреть линию, – но мне необходимо быстрее попасть домой. Возьмете меня с собой? Можно я полечу с вами?

Риарден ответил не сразу. Дагни отметила это.

– Увы, – проговорил он, наконец, и Дагни подумала, не пригрезилась ли ей грубоватая нотка в его голосе. – Я лечу не в Нью-Йорк. Мой путь лежит в Миннесоту.

– Ну ладно, тогда полечу на рейсовом, если сегодня есть рейс.

Она проводила взглядом его машину, исчезнувшую за крутым поворотом дороги. Час спустя она подъехала к аэропорту. Небольшое поле располагалось внутри разрыва унылой цепочки холмов. Жесткую неровную землю покрывали лоскутья снега. В одном конце поля высился столб маяка, провода от него свисали на землю; прочие столбы были повалены бурей.

Навстречу ей вышел одинокий дежурный.

– Нет, мисс Таггерт, – проговорил он полным сожаления голосом, – самолет будет только послезавтра. На этой линии компании «Трансконтинентал» самолеты летают через день, и тот, который должен был прилететь сегодня, остался в Аризоне. Как обычно, что-то с двигателем.

Он добавил:

– Как жаль, что вы опоздали. Буквально несколько минут назад мистер Риарден вылетел в Нью-Йорк на своем собственном самолете.

– Но ведь он не собирался лететь в Нью-Йорк?

– Мне он сказал так.

– Вы в этом уверены?

– Он сказал, что у него на сегодня назначена там деловая встреча.

Обратившись к востоку, Дагни поглядела на небо пустыми глазами, не понимая причин такого поступка, не умея ни осудить, ни принять его, теряя последнюю опору.

* * *

– К черту эти улицы! – проговорил Джеймс Таггерт. – Все равно опоздаем.

Дагни посмотрела вперед, поверх плеча шофера. Сквозь лобовое стекло, очищаемое «дворниками», она видела застывшую цепочку черных блестящих крыш старых автомобилей. Далеко впереди неподвижный красный глазок фонаря, подвешенного невысоко над землей, оповещал о земляных работах.

– На каждой улице что-нибудь не так, – раздраженным тоном буркнул Таггерт. – Копать здесь вздумали! Почему никто ничего не делает вовремя?

Откинувшись на сиденье, Дагни поплотнее закуталась в накидку.

Она чувствовала усталость рабочего дня, который начался в ее кабинете в семь часов утра, и конец которого ей пришлось скомкать, не закончив всех дел, чтобы помчаться домой и переодеться, так как она дала согласие Джиму выступить на ужине Нью-Йоркского бизнес-совета.

– Они хотят, чтобы мы рассказали им о риарден-металле, – сказал он. – И ты сделаешь это лучше меня. Мы должны выглядеть внушительно. Ведь по поводу этого заменителя традиционной стали идет столько споров.

Сидя рядом с братом в его машине, Дагни жалела о том, что согласилась. Скользя взглядом по улицам Нью-Йорка, она думала о гонке между металлом и временем, о состязании между рельсами Рио-Норте и пролетающими днями. Ей казалось, что царящий в автомобиле покой до предела напрягает ее нервы, предвещая безвозвратную потерю целого вечера в то время, когда она не имела права потратить впустую даже час.

– При всех нынешних атаках на Риардена, – продолжил Таггерт, – ему могут потребоваться друзья.

Дагни недоверчиво посмотрела на брата.

– Ты хочешь сказать, что поддержишь его?

Вместо ответа Джим вялым тоном спросил:

– А что ты думаешь об отчете, представленном спецкомитетом Национального совета металлопромышленников?

– Ты знаешь, *что* я о нем думаю.

– Они утверждают, что риарден-металл представляет собой угрозу общественной безопасности. Они говорят, что химический состав его ничем не обоснован, что металл этот хрупок, подвержен молекулярному разрушению, что он будет растрескиваться без предварительных признаков... – Таггерт умолк, как бы ожидая ответа. Дагни молчала, и он встревоженным тоном спросил:

– Ты не передумала, а?

– Относительно чего?

– Относительно этого металла.

– Нет, Джим, не передумала.

– Но ведь там... в комитете этом... знатоки, специалисты своего дела... эксперты высшего класса... Главные металлурги крупнейших корпораций, обладатели университетских дипломов со всех концов страны... – проговорил он несчастным тоном, словно бы умоляя сестру дать ему доказательства своего права отрицать приговор этих людей.

Дагни посмотрела на брата с недоумением: такое поведение было ему не свойственно.

Дернувшись, машина поползла вперед. Медленно въехав в брешь дощатого забора, она миновала котлован с лопнувшей водопроводной трубой. Возле котлована сложены были новые трубы. Дагни заметила на них торговую марку: «*Литейный завод Стоктон*», Колорадо. Она отвернулась; ей не хотелось, чтобы хоть что-то напоминало ей о Колорадо.

– Ничего не могу понять... – пожаловался Таггерт. – Лучшие специалисты Национального совета металлопромышленников...

– А кто, Джим, является его президентом? Оррен Бойль, не так ли?

Таггерт не повернулся к ней, однако челюсть его отвисла.

– Если этот жирный тупица считает, что ему можно... – начал он, но оборвал фразу.

Дагни посмотрела на висевший на углу фонарь. Это был шар, наполненный светом. Не покоряясь непогоде, он освещал заколоченные окна и шербатые тротуары как единственный их хранитель. В конце улицы, за рекой, на фоне огней фабрики угадывались очертания электростанции. Мимо проехал тяжелый грузовик, закрывший собой весь обзор. Такие грузовики развозили топливо. На ярком зеленом боку свежеокрашенной цистерны, невзирая на слякоть, блестели белые буквы: «*Уайэтт Ойл*», Колорадо».

– Дагни, ты слышала о дискуссии, которая состоялась на собрании Союза рабочих сталелитейных заводов в Детройте?

– Нет. И о чем они спорили?

– Все было в газетах. Там говорили о том, можно ли разрешать членам профсоюза работать с риарден-металлом. Решение принято не было, однако самого обсуждения уже хватит для подрядчика, пожелавшего рискнуть... о, он немедленно отменит заказ!.. Но что если... что если все выступят против риарден-металла?

– Пусть себе возражают.

Светлая точка поднималась по прямой линии к верхушке невидимой башни. Это работал лифт огромного отеля. Мимо здания на боковую улицу проехал легковой автомобиль. Бригада рабочих сгружала тяжелый ящик с грузовика в открытую дверь подвала. Дагни прочла на ящике: «*Нильсен Моторс*», Колорадо».

– Потом, мне не нравится резолюция, которую приняло собрание школьных учителей Нью-Мексико, – продолжил Таггерт.

– Какая резолюция?

– Они решили, что не следует позволять детям ездить по новой линии Рио-Норте компании «*Таггерт Трансконтинентал*» после завершения ее постройки, поскольку это небезопасно... Так и подчеркнули, новой линии «*Таггерт Трансконтинентал*». Это напечатали во всех газетах. Жуткая реклама для нас... Дагни, чем, по-твоему, нам нужно ответить?

– Пуском первого поезда по новой линии Рио-Норте.

Таггерт надолго погрузился в молчание. Он выглядел очень подавленным.

Дагни не могла верить себе: он не пытался осмеять ее, он не выставлял против нее мнения своих любимых авторитетов, он словно бы просил утешения.

Мимо промелькнул легковой автомобиль. За короткое мгновение Дагни успела оценить его мощь, плавность и уверенность хода, великолепный дизайн. Ей было известно, кто производит подобные машины: «*Хэммонд Кар Компани*», Колорадо.

– Дагни, а мы... а мы действительно построим эту линию... вовремя?

Ей было странно слышать голос Джеймса полным столь обыкновенного чувства, простейшего животного страха.

– Если уж мы не сумеем помочь этому городу, тогда да поможет ему Господь! – ответила она.

Машина обогнула угол. Над черными крышами маячила страница календаря, освещенного белым светом прожектора. На ней значилось: 29 января.

– Дэн Конвей оказался сукиным сыном!

Слова эти вырвались у Таггерта внезапно, словно он более не мог сдерживаться.

Она с возмущением посмотрела на брата:

– С чего это ты так решил?

– Он отказался продать нам ветку «*Феникс-Дуранго*» в Колорадо.

– Надеюсь... – Ей пришлось остановиться и начать снова, стараясь не сорваться на крик. – Надеюсь, *ты* не обращался к нему с этим предложением?

– Конечно, обращался!

– Неужели ты ожидал, что он... продаст ее... *тебе*?

– А почему нет? – истерическая и задиристая манера вернулась к Таггерту. – Я предложил ему больше, чем мог бы предложить кто-то другой. Нам не нужно было бы тогда разбирать и перевозить ее, мы могли бы воспользоваться ею на месте. И какая бы получилась реклама – с учетом общественного мнения мы отказываемся от колеи из риарден-металла. Его ветка оправдала бы себя до последнего цента! Но этот сукин сын отказался. Он даже заявил, что не продаст «*Таггерт Трансконтинентал*» и фута собственных рельсов. А сейчас он распродает их по частям любому желающему, вплоть до конок в Арканзасе и Северной

Дакоте, продает с ущербом для себя, и это с учетом того, что я предлагал ему, сукину сыну! Даже не хочет заработать! И видела бы ты, как слетаются к нему эти коршуны! Они-то знают, что нигде больше рельсов не найдешь!

Дагни склонила голову на грудь. Она не могла даже смотреть в сторону брата.

– По-моему, это противоречит *Правилу против хищнической конкуренции*, – раздраженным тоном проговорил Таггерт. – Насколько я помню, Национальный железнодорожный альянс в первую очередь намеревался защитить своих основных членов, а не мелких ершей из Северной Дакоты. Но у меня нет возможности заставить альянс провести голосование на эту тему, потому что все члены его сейчас замешаны в эту историю и вырывают рельсы друг у друга!

Дагни медленно выдавила из себя, сожалея, что на ней нет перчаток и она может испачкаться этими словами:

– Теперь мне понятно... почему тебе понадобилось... чтобы я выступала... в защиту риарден-металла.

– Вот уж не знал, что ты такая...

– Заткнись, Джим, – спокойно проговорила она.

Какое-то мгновение Таггерт молчал. А потом откинулся на спинку сиденья и недовольным тоном пробурчал:

– И постарайся выступить поубедительнее, потому что Бертрам Скаддер может проявить крайний скепсис.

– Бертрам Скаддер?

– Он будет сегодня среди выступающих.

– Среди выступающих... Ты не говорил мне, что будут другие ораторы.

– Ну... я... Какая тебе разница? Ты ведь не боишься его, так ведь?

– Нью-Йоркский бизнес-совет! И вы приглашаете *Бертрама Скаддера*?

– А почему нет? По-моему, неплохая идея. Он не испытывает никакой неприязни к бизнесменам. Потом, он принял наше приглашение. Нам следует проявить широту взглядов, заслушать все мнения и, быть может, перетянуть его на свою сторону... На что это ты уставилась? Ты ведь сумеешь победить его в споре, правда?

– ...победить его в споре?

– В прямом эфире. Будет радиопередача. Ты будешь дискутировать с ним на тему «Является ли металл Риардена смертоносным продуктом жадности?»

Наклонившись вперед, Дагни опустила стеклянную перегородку, отделявшую ее от шофера, и приказала:

– Остановите машину!

Она не слышала слов Таггерта. Откуда-то издали до нее доносились его вопли.

– Нас ждут!.. На ужине будут присутствовать пятьсот человек и вся национальная верхушка!.. Ты не можешь обойтись со мной таким образом!

Наконец он схватил ее за руку и выкрикнул:

– Но почему???

– Идиот несчастный, неужели ты действительно думаешь, что этот вопрос можно решить голосованием?

Автомобиль остановился. Дагни выскочила из него и побежала.

Несколько успокоившись, она первым делом обратила внимание на свою обувь. Она шла спокойно и неторопливо, чувствуя холод тротуара под каблучками черных атласных босоножек. Дагни откинула волосы со лба, на ладони остались таять хлопья снега.

Теперь, когда слепящий гнев оставил ее, Дагни не ощущала ничего, кроме гнетущей усталости. У нее чуть побаливала голова; она почувствовала голод и вспомнила, что собира-

лась отужинать на бизнес-совете. Не останавливаясь, она подумала, что есть все-таки не стоит, и решила выпить где-нибудь чашечку кофе, а потом отправиться домой на такси.

Дагни огляделась. Ни одного кеба поблизости видно не было. Она не представляла себе, где находится. Район вообще не производил хорошего впечатления. На противоположной стороне улицы зияла широкая щель между домами; в окнах обшарпанных домов светились редкие огоньки, несколько маленьких грязных лавчонок были уже закрыты на ночь, в двух кварталах от нее наплзал туман от Ист-ривер.

Дагни повернула к центру города. Впереди маячил черный скелет здания. Некогда в нем размещались конторы; теперь же сквозь обнажившиеся стальные конструкции и углы раскрошившейся кирпичной кладки просвечивало небо. В тени остова, подобно пробивающейся к небу травинке у подножия мертвой скалы, оказалась небольшая закусочная. Чистые окна ее были ярко освещены. Она вошла.

Внутри был свежавытертый прилавок, опоясанный полоской хрома. На нем стоял полированный титан, пахло кофе. За прилавком сидели несколько бродяг, позади него орудовал пожилой здоровяк, рукава его безукоризненно белой рубашки были закатаны выше локтя. Волна теплого воздуха заставила Дагни понять, как же она замерзла. Поплотнее закутавшись в черную бархатную накидку, она села на высокий стул.

– Пожалуйста, чашку кофе, – попросила она.

Окружающие смотрели на нее безо всякого любопытства. Появление в грошовой забегаловке женщины в вечернем платье их не удивило; впрочем, теперь никто ничему не удивлялся. Хозяин закусочной принялся невозмутимо выполнять ее заказ. В безразличной манере его, впрочем, проявлялась своего рода деликатность, не позволяющая ему задавать вопросы.

Дагни не могла определить, работают или перебиваются подаванием четверо сидевших возле нее людей: ни их одежда, ни манеры не обнаруживали в эти дни никаких различий. Хозяин поставил перед ней кружку кофе. Дагни обхватила ее ладонями, радуясь теплу.

Оглядевшись по сторонам, она по профессиональной привычке прикинула, сколько можно купить в этом заведении на 10 центов, и порадовалась своим выводам.

Взгляд ее перебрался от блестящего нержавеющей бака кофеварки к литой сковороде, к стеклянным полкам, к эмалированной раковине, к хромированным лопастям миксера. Хозяин занялся приготовлением тостов. Дагни с удовольствием проводила взглядом цепочку ломтиков хлеба, медленно ползущих по узкому конвейеру мимо раскаленных нагревателей. А потом она заметила название, вытесненное на тостере: «*Марш Электрик*», Колорадо».

И в бессилии уронила голову на лежавшую на прилавке руку.

– Бесполезно, мадам, – буркнул сидевший возле нее старикашка.

Ей пришлось поднять голову, улыбнуться – ему и самой себе.

– В самом деле? – спросила Дагни.

– В самом деле. Забудьте об этом. Не надо обманывать себя.

– В чем?

– В том, что цена всему больше гроша. Кругом, дамочка, только грязь да кровь. Не верьте тем мечтам, которыми вас накачивают под завязку, и вам не будет больно.

– Каким мечтам?

– Тем сказкам, которыми нас пичкают в молодости, – о человеке, о духе. В людях нет никакого духа. Человек – это просто низменное животное, без интеллекта, души, добродетелей и моральных ценностей. Животное, наделенное двумя способностями – жрать и размножаться.

Его исхудавшее лицо с тонкими чертами и широко раскрытыми глазами все еще хранило следы прежнего достоинства. Он был похож на проповедника или профессора эстетики, который провел долгие годы в пыльном заштатном музее. Интересно, что могло погубить этого человека, какая ошибка на пути могла довести его до такого состояния...

– Человек вступает в жизнь, ища в ней красоту, величие, возвышенные свершения, – продолжил он. – И что же он находит? Уйму хитроумных машин для производства автомобильной обивки или пружинных матрасов.

– Чем тебе не угодили пружинные матрасы? – спросил мужчина, похожий на водителя грузовика. – Не обращайтесь на него внимания, мэм. Он любит поговорить, чтобы послушать себя самого. И ничего плохого не делает.

– Человек наделен одним-единственным талантом – низменным хитроумием, расходуемым на удовлетворение потребностей, – проговорил старик. – Для этого никакого интеллекта не надо. Не надо верить всем рассказам о разуме человека, о его душе, его идеалах, безграничном честолюбии.

– А я и не верю, – проговорил молодой парень с крупным ртом, сидевший в углу, у стойки. Пальто его было разорвано на плече, а горечи в изломе губ хватило бы на целую длинную жизнь.

– И что такое душа? – продолжил старик. – Разве наделен духом производственный процесс или акт размножения? Но ничем другим человек не интересуется. Материальное – вот все, что известно человеку, все, что заботит его. О том свидетельствует наша великая промышленность – единственное достижение так называемой цивилизации, – созданная вульгарными материалистами, наделенными моральным уровнем свиньи и ее же целями и интересами. Чтобы собрать на конвейере десятитонный грузовик, не требуется никакой нравственности, никаких моральных принципов.

– Что такое мораль? – спросила Дагни.

– Способность отличать добро от зла, умение видеть истину, отвага, необходимая, чтобы следовать ей, преданность добру, целостность натуры, чтобы не изменять добру ни за что и никогда. Но где отыскать все это?

Юноша насмешливо фыркнул.

– И кто такой Джон Голт?

Дагни допила кофе, сосредоточившись лишь на том удовольствии, которое приносила ей горячая жидкость, разливавшаяся живительным огнем по всему ее телу.

– Могу сказать тебе, – проговорил невысокий морщинистый бродяга, надвинувший кепку на самые глаза. – Я знаю.

Его словно бы не услышали или просто не обратили внимания. Юноша не отводил от Дагни задиристых, рассеянных глаз.

– Вы не боитесь, – вдруг проговорил он без всякого повода, просто констатируя факт безжизненным, отрывистым тоном, в котором звучала и нотка удивления.

Дагни посмотрела на него.

– Нет, – проговорила она, – не боюсь.

– Я знаю, кто такой Джон Голт, – проговорил снова бродяга. – Это тайна, но я знаю.

– И кто же он? – спросила она безо всякого интереса.

– Первопроходец, – ответил бродяга. – Величайший среди всех, кто когда-либо жил на свете. Тот, который открыл источник вечной молодости.

– Мне еще одну. Темного, – сказал старик, пододвигая к хозяину свою кружку.

– Джон Голт потратил на поиски много лет. Он переплывал океаны, пересекал пустыни, спускался в забытые рудники, протянувшиеся на многие мили под землей. Но нашел он свой источник на вершине горы. Чтобы подняться туда, ему потребовалось десять лет. В теле его не осталось ни одной целой кости, на руках – кожи, он забыл свой дом, свое имя, свою любовь. Но все-таки он поднялся на гору. И нашел там источник вечной молодости, который хотел дать людям. Только он так и не вернулся.

– Интересно, почему? – спросила Дагни.

– Потому что, как оказалось, этот источник нельзя перенести к людям.

* * *

Человек, сидевший перед столом Риардена, казался каким-то расплывчатым, и манеры его также были лишены выразительности, так что никто не мог бы запечатлеть в памяти его лицо или обнаружить в нем нечто особенное. Единственной отличительной чертой его был большой нос картошкой. Человек этот держался кротко, однако в поведении его замечен был некий абсурдный намек – угроза, преднамеренно скрываемая, но так, чтобы все же оставаться заметной. Риарден не мог понять цели встречи. Визитер этот, доктор Поттер, занимал какую-то непонятную должность в Государственном научном институте.

– Чего вы от меня хотите? – в третий раз спросил Риарден.

– Я прошу вас учитывать социальные аспекты, мистер Риарден, – негромко проговорил Поттер. – Я умоляю вас не забывать, в какое время мы живем. Наша экономика к этому не готова.

– К чему именно?

– Наша экономика находится в состоянии крайне шаткого равновесия. И все мы должны объединить свои усилия, чтобы спасти ее от коллапса.

– Хорошо, и что я должен сделать для вас?

– Таковы соображения, на которые меня попросили обратить ваше внимание. Я представляю Государственный научный институт, мистер Риарден.

– Вы уже говорили. Но чего ради вы решили встретиться со мной?

– В Государственном научном институте сложилось неблагоприятное мнение о риарден-металле.

– Знаю.

– Но разве это не является фактором, который вы должны принять во внимание?

– Нет.

Дни стали короче, и за окном начинало темнеть. Риарден заметил неправильной формы тень носа, легшую на щеку визитера, и следившие за ним блеклые глаза; рассеянный взгляд, тем не менее, был целеустремленным.

– В Государственном научном институте собраны лучшие умы страны, мистер Риарден.

– Мне говорили об этом.

– И вы, конечно же, не намереваетесь оспаривать их мнение?

– Намереваюсь.

Гость посмотрел на Риардена как бы моля о помощи, словно бы Риарден нарушил неписаное правило, требовавшее от него давным-давно понять всю щекотливость своего положения. Риарден помогать не стал.

– И это все, что вы хотели выяснить? – спросил он.

– Дело во времени, мистер Риарден, – умиротворяющим тоном произнес посетитель. – Это всего лишь временная задержка. Нужно, чтобы наша экономика получила шанс на стабилизацию. Если бы только вы согласились подождать пару лет...

Риарден усмехнулся – весело и презрительно.

– Так вот что вам нужно? Хотите, чтобы я убрал риарден-металл с рынка? Почему?

– Всего несколько лет, мистер Риарден. Только до того как...

– Вот что, – проговорил Риарден. – Могу ли я задать вам вопрос: неужели ваши специалисты решили, что риарден-металл совсем не то, за что я его выдаю?

– Мы не делали такого заключения.

– Вы решили, что он плох?

– Речь идет о социальной значимости вашего изобретения. Мы мыслим в рамках всей страны, нас заботят общественное благосостояние и терзающий нас в настоящий момент ужасный кризис, который...

– Так хорош риарден-металл или плох?

– Если рассмотреть настоящий вопрос под углом вселяющего тревогу роста безработицы, который в настоящее время...

– Так, значит, он хорош?

– Во время отчаянного дефицита стали мы не можем позволить себе дальнейшее увеличение производства сталелитейной компании, выпускающей слишком много продукции, потому что она в таком случае вытеснит фирмы, производящие слишком мало, что приведет к нарушению стабильности экономики, что в свой черед...

– Вы намереваетесь дать ответ на мой вопрос?

Посетитель пожал плечами:

– Оценки всегда относительны. Если риарден-металл плох, он представляет для общества физическую опасность. Если же хорош – социальную.

– Если вам есть что сказать мне о физической опасности, которую может представить риарден-металл, выкладывайте. Остальное можно опустить. Сразу же. Я не понимаю этого языка.

– Но вопросы общественного благосостояния, конечно же...

– Оставим эту тему.

Посетитель, казалось, пребывал в полном смятении, словно его ноги потеряли опору. И через какое-то мгновение он беспомощно спросил:

– Но что же тогда является основной сферой ваших интересов?

– Рынок.

– Что вы имеете в виду?

– На риарден-металл существует спрос, и я намереваюсь удовлетворить его в полной мере.

– Но не является ли понятие рынка чем-то гипотетическим? Реакция общества на ваш металл не обнадеживает. За исключением контракта с «*Таггерт Трансконтинентал*» вы не имеете других крупных заказов...

– Хорошо, раз публика, по-вашему, не интересуется моим металлом, что же вас беспокоит?

– Раз публика не интересуется им, вы понесете крупные потери, мистер Риарден.

– Ну, это уж моя забота, а не ваша.

– Но если вы проявите хоть какое-то стремление к компромиссу и согласитесь подождать несколько лет...

– Почему я должен ждать?

– Но, по-моему, я дал вам понять, что в настоящее время Государственный научный институт не одобряет появления риарден-металла в металлургии.

– Почему ваше мнение должно интересовать меня?

Гость вздохнул:

– Вы очень тяжелый человек, мистер Риарден.

Предвечернее небо темнело, обретало плотность за стеклами окон. Фигура посетителя расплывалась кляксой среди резких, прямых плоскостей мебели.

– Я согласился принять вас, – проговорил Риарден, – потому что вы сказали, что намереваетесь обсудить со мной крайне важный вопрос. Если это все, что вы можете сказать, то прошу меня извинить. Я очень занят.

Посетитель откинулся на спинку кресла.

– Насколько я слышал, вы потратили на разработку риарден-металла десять лет. Во сколько она вам обошлась?

Риарден поднял глаза: он не понял смысла этого вопроса, однако в голосе Поттера читалось явное намерение; голос его сделался жестким.

– В полтора миллиона долларов, – проговорил Риарден.

– И сколько вы хотите за него?

Риарден невольно сделал паузу. Он не верил своим ушам. И наконец негромко переспросил:

– За что именно?

– За все права на риарден-металл.

– Я думаю, будет лучше, если вы уберетесь отсюда, – проговорил Риарден.

– Ваша позиция ничем не оправданна. Вы бизнесмен, и я делаю вам предложение. Назовите свою цену.

– Права на риарден-металл не продаются.

– Я уполномочен предложить вам крупную сумму. В правительственных масштабах.

Риарден сидел, не шевелясь, только на скулах его ходили желваки; однако взгляд оставался безразличным, если не считать едва заметное любопытство.

– Вы бизнесмен, мистер Риарден. И от такого предложения вы не имеете права отказываться. С одной стороны, вы крупно рискуете, вам придется идти против неблагоприятно настроенного общественного мнения, вы вполне можете потерять все вложенные в риарден-металл деньги до последнего пенни. И мы могли бы избавить вас от риска и ответственности, вы сорвете крупный куш, причем без задержки и куда в большем размере, чем сумеете получить от продаж в ближайшие двадцать лет.

– Насколько я понял, Государственный научный институт представляет собой научное, а не коммерческое заведение, – проговорил Риарден. – И чего же вы так боитесь?

– Вы прибегаете к некрасивым и лишним словам, мистер Риарден. Я пытаюсь вести наш разговор в дружеских тонах. Вопрос крайне серьезный.

– Я начинаю понимать это.

– Мы предлагаем вам открытый чек... на неограниченную сумму. Чего вы еще хотите? Называйте свою цену.

– Продажа прав на риарден-металл не является темой для обсуждения. Если у вас есть еще, что сказать, говорите, и до свидания.

Посетитель посмотрел на Риардена недоверчивым взглядом и спросил:

– Чего вы хотите?

– Я? О чем вы?

– Вы занимаетесь бизнесом для того, чтобы делать деньги, не так ли?

– Так.

– И вы хотите иметь максимально возможный доход, не правда ли?

– Хочу.

– Тогда почему вы хотите вести борьбу еще годы и годы, выжимая какие-то жалкие пенни с тонны проданного металла, вместо того чтобы сразу получить целое состояние за свой товар? Почему?

– Потому что он принадлежит *мне*. Вы понимаете последнее слово?

Посетитель вздохнул, поднялся на ноги и проговорил, явным образом подразумевая обратное.

– Надеюсь, у вас не возникнет причин сожалеть о своем решении, мистер Риарден.

– До свидания, – произнес Риарден.

– Полагаю, я должен предупредить вас о том, что Государственный научный институт может выпустить официальное отрицательное заключение относительно риарден-металла.

– Это ваше полное право.

– Такое заключение существенно осложнит ваше положение.

– Вне сомнения.

– Что касается более отдаленных последствий... – гость пожал плечами. – Наше время не любит людей, отказывающихся от сотрудничества. В наше время человеку нужны друзья. А вы, мистер Риарден, не относитесь к числу людей... популярных.

– Что вы хотите этим сказать?

– Вы меня прекрасно поняли.

– Нет.

– Общество представляет собой сложный организм. Решения ждут многочисленные вопросы, подвешенные на тонких нитях. И мы не можем сказать заранее, когда будет найдено решение того или иного вопроса и какие факторы станут *решающими* в этом тонком равновесии. Я сказал достаточно ясно?

– Нет.

Сумерки озарились пламенем, вспыхнувшим над разливаемой сталью. Оранжевое свечение, отливающее чистым золотом, легло на стену за спиной Риардена.

Полоса света медленно двигалась по его лбу. Лицо Риардена хранило безмятежное выражение.

– Государственный научный институт представляет собой правительственную организацию, мистер Риарден. Законодательные власти в настоящее время рассматривают несколько законов, которые могут оказаться принятыми буквально в любой момент. В наши дни бизнесмены находятся в особенно уязвимом положении. Не сомневаюсь в том, что *теперь* вы меня понимаете.

Риарден поднялся на ноги, он улыбался. Улыбался так, словно все тревоги разом оставили его.

– Нет, доктор Поттер, – проговорил он, – не понимаю. Но если бы понял, мне пришлось бы убить вас.

Посетитель подошел к двери, остановился и посмотрел на Риардена взглядом, в котором в данный миг не было ничего, кроме простого человеческого недоумения. Риарден застыл на фоне ползущего по стене светового пятна; поза его оставалась непринужденной, руки покоились в карманах.

– Не скажете ли вы мне, – спросил Поттер, – между нами, просто так, из личного любопытства, зачем вам все это нужно?

Риарден ответил спокойным тоном:

– Скажу. Но вы не поймете. Дело, видите ли, в том, что риарден-металл очень хорош.

* * *

Дагни не могла понять, что именно двигало мистером Моуэном. «Объединенная стрелочно-семафорная компания» вдруг прислала извещение о том, что не сумеет выполнить ее заказ. Ничего нового не происходило, причин для отказа не было, объяснений ей тоже не предоставили.

Она бросилась в Коннектикут, чтобы лично повидаться с мистером Моуэном, однако единственным результатом визита стала лишь очередная тяжесть, с новой силой навалившаяся на нее. Мистер Моуэн объявил, что прекращает изготавливать стрелки из риарден-металла. И в качестве единственного объяснения сказал, стараясь не смотреть ей в глаза:

– Слишком многие этим недовольны.

– Чем именно? Риарден-металлом или тем, что вы делаете из него стрелки?

– И тем, и другим, как мне кажется... Людям это не нравится... И я не хочу иметь неприятности на свою голову.

– И какие же неприятности?

– Всякие.

– Вы слышали хотя бы об одном-единственном настоящем недостатке риарден-металла?

– Ну кто может сказать, что верно, а что нет?.. В резолюции Национального совета металлопромышленников сказано...

– Вот что, вы работали с металлами всю свою жизнь. Четыре последних месяца вы имеете дело с риарден-металлом. Неужели вы не понимаете, что ничего более качественного в ваши руки еще не попадало?

Моуэн молчал.

– Вы не понимаете этого?

Он отвернулся.

– Разве вы не можете сказать, что истинно, а что нет?

– Черт побери, мисс Таггерт, я занимаюсь своим делом, и я – человек маленький. Я просто хочу делать деньги.

– И каким, по-вашему, способом их делают?

Однако она понимала, что уговоры бесполезны. Глядя на лицо мистера Моуэна, на его блуждавшие по сторонам глаза, она ощущала себя на шоссе под оборванными бурей телефонными проводами, когда связь прервана и слова превратились в ничего не значащие звуки.

Спорить бесполезно, думала она, и незачем забивать себе голову мыслями о людях, которые не способны ни опровергнуть аргумент, ни принять его.

Возвращаясь поездом в Нью-Йорк, Дагни твердила себе, что мистер Моуэн ничего не значит и ничто, с ним связанное, теперь не имеет значения. Она лихорадочно соображала, где отыскать нового производителя стрелок. Дагни перебирала в уме список имен, стараясь понять, кого можно побыстрее убедить, упротить или подкупить.

Едва переступив порог приемной своего кабинета, Дагни поняла: что-то произошло. Ее встретила неестественная тишина и устремленные на нее взгляды сотрудников, словно все они только и ждали ее появления, ждали с надеждой и ужасом.

Эдди Уиллерс поднялся и направился к двери ее кабинета, зная заранее, что она все поймет и пойдет следом за ним. Дагни успела заметить выражение его лица и подумала: что бы ни произошло, жаль, что он так расстроен.

– Государственный научный институт, – негромко проговорил он, когда они остались вдвоем, – выпустил заявление, в котором предостерег людей от использования риарден-металла.

Он добавил:

– Это передали по радио. И напечатали в вечерних газетах.

– И что же они там сказали?

– Дагни, по сути, ничего!.. Ничего плохого, и вместе с тем выходит, что все плохо. Вот что самое чудовищное.

Он старался прежде всего говорить спокойно, но это давалось ему с трудом, и он уже просто не мог уследить за словами. Они слетали с его губ, как бы повинувшись полному боли неверию ребенка, громко негодующего при первом столкновении со злом.

– Но что они сказали, Эдди?

– Они... Тебе придется прочитать, – он указал Дагни на газету, оставленную на ее столе. – Они не сказали, что риарден-металл плох. Они не стали утверждать, что пользоваться им опасно. Они просто...

Эдди развел руки и уронил их.

Она сразу поняла, что они сделали. Ей на глаза тут же попались предложения: «есть вероятность того, что в результате тяжелых нагрузок может появиться внезапное растрескивание, хотя продолжительность этого периода невозможно просчитать заранее... нельзя полностью отвергнуть и вероятность молекулярных реакций неизвестной пока природы... Хотя прочность металла на растяжение вполне очевидна, возникают некоторые сомнения в отношении его поведения после резких ударных нагрузок... Хотя все свидетельства не позволяют последовать предложению о запрещении использования риарден-металла, необходимо дальнейшее исследование его характеристик».

– Мы не можем оспорить это... возразить, – неторопливо проговорил Эдди. – Мы не можем даже потребовать опровержения. Мы не можем показать им результаты своих экспериментов и что-либо изменить. Они ничего не сказали. Не сказали ничего такого, что можно опровергнуть, бросив на них тень подозрения в профессиональной несостоятельности. Дело рук труса. Этого можно было бы ожидать от какого-нибудь мошенника или шантажиста. Но, Дагни! Это говорит Государственный научный институт!

Она молча кивнула. Дагни стояла, обратив глаза к какой-то точке за окном. В конце темной улицы все вспыхивали и гасли лампы рекламной вывески, злорадно подмигивая ей.

Собравшись с духом, Эдди заговорил в тоне военной реляции:

– Акции компании «*Таггерт*» рухнули. Бен Нили разорвал договор, Национальное товарищество шоссейных и железнодорожных рабочих запретило своим членам работать на линии Рио-Норте. Джим уехал из города.

Сняв шляпку и пальто, Дагни пересекла комнату, неторопливо и как-то *осторожно* села за свой стол.

Перед ней лежал большой бурый конверт с фирменным штампом «*Риарден Стил*».

– Принес специальный курьер вскоре после твоего отъезда, – проговорил Эдди.

Дагни положила руку на конверт, но не стала вскрывать его. Она и так знала, что внутри, – чертежи моста.

Немного помедлив, она спросила.

– А кто подписал это заявление?

Поглядев на нее, Эдди горько улыбнулся и покачал головой.

– Да, – сказал он, – я тоже об этом подумал. Я позвонил по междугородному в институт и спросил. Документ этот вышел из канцелярии доктора Флойда Ферриса, их координатора.

Дагни молчала.

– Но все же главой института является доктор Стэдлер. Институт представляет он. И ему должно быть известно о природе этой бумаги. Он позволил выпустить ее. Раз она обнародована, значит, это произошло с его ведома... Доктор Роберт Стэдлер... Помнишь... когда мы учились в колледже... как мы говорили о великих людях нашего времени... людях, наделенных чистым интеллектом... мы всегда называли среди них его имя, и... – Эдди умолк. – Прости меня, Дагни. Я знаю, говорить что-либо бесполезно. Только...

Она сидела, прижав ладонь к бурому конверту.

– Дагни, – негромко спросил Эдди, – что происходит с людьми? Как могло подобное заявление вызвать столько шума? Это же чистейшее очернительство – грязная, абсолютно очевидная пачкотня. Человек достойный выбросил бы это заявление в канаву. Как... – голос его дрогнул в отчаянном, воинственном гневе – как могли они принять *это*? Интересно, его хотя бы прочли в институте? Неужели они не способны видеть? Неужели они не умеют мыслить? Дагни! Что случилось с людьми, раз они позволяют себе такое, и как мы можем жить в такой обстановке?

– Успокойся, Эдди, – проговорила она, – успокойся. И не бойся.

Здание Государственного научного института стояло над рекой в Нью-Хэмпшире, на склоне уединенного холма, на половине пути между рекой и небом. Издали оно казалось

одиноким монументом, воздвигнутым в девственном лесу. Деревья были аккуратно высажены, дороги проложены, как в парке; в нескольких милях от него из долины выглядывали крыши небольшого городка. Впрочем, в непосредственной близости от здания не было ничего, что могло бы сгладить его величественную строгость.

Белые мраморные стены придавали сооружению классическое величие; композиция прямоугольных элементов наделяла его чистотой и красотой современного промышленного предприятия. Здание можно было назвать вдохновенным. Люди из-за реки смотрели на этот дом с почтением, усматривая в нем памятник человеку, характер которого соответствовал благородству линий здания.

Над входом были высечены строки посвящения: «*Бесстрашному разуму. Нерушимой истине*». В тихом уголке ничем не примечательного коридора небольшая бронзовая табличка на двери, подобная сотням других табличек на других дверях, гласила: «Доктор Роберт Стэдлер».

В возрасте двадцати семи лет доктор Роберт Стэдлер написал научный труд о космических лучах, в пух и прах разгромив большинство теорий, созданных его предшественниками. Последователи Стэдлера начали обнаруживать постулаты своего учителя в основе каждого предпринимавшегося ими исследования.

В возрасте тридцати лет он был признан крупнейшим физиком своего времени. В тридцать два его избрали руководителем Физического факультета университета Патрика Генри – в те самые дни, когда великий университет еще был достоин своей славы. Именно о докторе Роберте Стэдлере сказал один из журналистов: «Быть может, среди всех явлений той самой Вселенной, которую он изучает, наибольшего удивления заслуживает мозг самого доктора Роберта Стэдлера». Именно доктор Роберт Стэдлер некогда поправил студента: «Независимое научное исследование? Первое из двух прилагательных является лишним».

В возрасте сорока лет доктор Роберт Стэдлер обратился к народу, требуя создания Государственного научного института.

«Предоставим науке возможность освободиться от власти доллара», – призывал он сограждан. Вопрос приняли к рассмотрению. Группа малоизвестных ученых смогла без лишнего шума провести законопроект по длинным законодательным коридорам. Принятие решения затягивалось из-за нерешительности чиновников, чувствовались сомнения и беспокойство, причину которых никто не мог определить. Но имя доктора Роберта Стэдлера уже уподобилось тем космическим лучам, что он изучал: они проникали сквозь любую преграду. И страна построила беломраморный дворец в качестве подарка одному из своих величайших сограждан.

Скромный кабинет доктора Стэдлера в институте ничем не отличался от кабинета бухгалтера какой-нибудь фирмы средней руки. Дешевый стол из уродливого желтого дуба дополняли шкаф с папками дел, два кресла и черная доска, исписанная математическими формулами. Опустившись в одно из кресел, поставленных у пустой стены, Дагни подумала, что кабинет сочетает в себе показную роскошь и элегантность: роскошь, поскольку скромная обстановка явно предполагала, что хозяин кабинета достаточно велик, чтобы позволить себе отсутствие украшений; элегантность, потому что он действительно не нуждался ни в чем другом.

Дагни уже была знакома с доктором Стэдлером; они несколько раз встречались на банкетах, устраивавшихся видными бизнесменами или известными техническими обществами по тому или иному торжественному случаю. Она посещала эти банкеты столь же неохотно, как Стэдлер, и в итоге обнаружила, что ему приятно разговаривать с ней.

– Мисс Таггерт, – сказал он ей как-то раз, – я никогда не рассчитываю обнаружить интеллект на подобных сборищах. И знакомство с вами в высшей степени радует меня!

Дагни пришла в его кабинет, припоминая эти слова. Она сидела, наблюдая за Стэдлером чисто по-научному: ничего заранее не предполагая, отбросив эмоции, стараясь только смотреть и понимать.

– Мисс Таггерт, – бодрым тоном начал он, – вы возбуждаете во мне любопытство, а я испытываю его всегда, когда событие выходит за рамки прецедента. Как правило, прием посетителей превращается для меня в мучительную обязанность. Я искренне удивлен, что ваш визит доставляет мне такое удовольствие. Известны ли вам те чувства, которые ощущаешь, имея, наконец, дело с тем редкостным собеседником, из которого не надо вытаскивать понимание клещами?

Стэдлер присел на краешек своего стола самым непринужденным и живым образом. Он не был высок, и худоба придавала ему вид моложавый и энергичный, едва ли не мальчишеский. По его лицу сложно было определить возраст, оно было простоватым, однако высокий лоб и большие серые глаза свидетельствовали о настолько выдающемся интеллекте, что ничего другого в его чертах уже нельзя было заметить. От уголков глаз разбегались веселые морщинки, но в уголках рта залегла печаль. Кроме чуть поседевших волос, ничто не напоминало о том, что он разменял уже шестой десяток.

– Расскажите мне, пожалуйста, о себе, – предложил он. – Мне всегда хотелось расспросить вас о том, каким образом вам удастся делать такую неожиданную для женщины карьеру в тяжелой промышленности и как вам удастся выносить всех этих людей.

– Я не вправе отнимать слишком много вашего времени, доктор Стэдлер, – вежливо, с безличной корректностью произнесла Дагни. – И я пришла к вам по чрезвычайно важному делу.

Тот рассмеялся:

– Вот она – истинно деловая женщина... сразу и прямо к сути. Ну хорошо. Только не беспокойтесь о моем времени – оно принадлежит вам. Итак, о чем вы хотели поговорить со мной? Ах, да. О риарден-металле. Я не слишком хорошо информирован о нем, но если я могу что-то сделать для вас... – рука его шевельнулась, предлагая начать разговор.

– Вы знакомы с тем заключением, которое ваш институт выпустил о риарден-металле?

Стэдлер чуть нахмурился.

– Да, я слышал о нем.

– Вы его читали?

– Нет.

– Оно преследовало своей целью предотвратить использование риарден-металла.

– Да-да, что-то такое я слышал.

– Вы можете объяснить мне причину подобного заключения?

Стэдлер развел руками. У него были красивые руки: длинные, тонкие, исполненные нервной энергии и силы.

– Скажу прямо – не знаю. Это относится к епархии доктора Ферриса. Не сомневаюсь, что у него были особые причины для такого решения. А не хотите ли вы переговорить с самим доктором Феррисом?

– Нет. Вы знакомы с физическими свойствами риарден-металла, доктор Стэдлер?

– Так, в общих чертах. Но скажите мне, почему этот металл так волнует вас?

Легкое удивление промелькнуло в глазах Дагни, и, не меняя бесстрастного тона, она ответила.

– Я строю ветку с рельсами из риарден-металла, которая...

– Ах да, конечно! Я что-то слышал об этом. Простите, я не читаю газеты так часто, как это следует делать. Так, значит, именно ваша фирма строит эту ветку?

– От завершения этой ветки зависит само существование моей дороги – а в конечном счете, на мой взгляд, и существование этой страны.

Вокруг его глаз собрались удивленные морщинки.

– Неужели вы можете с полной уверенностью утверждать такое, мисс Таггерт? Я на это не способен.

– В *данном* случае?

– В любом случае. Никто не может заранее сказать, по какому пути пойдет страна дальше. Здесь дело не в просчитываемых тенденциях, мы имеем дело с хаосом, требованиями момента, который может сделать возможным все.

– Доктор Стэдлер, вы согласны с тем, что производство необходимо для существования страны?

– Ну да... да, конечно.

– Строительство этой линии было остановлено в результате заключения, сделанного вашим институтом.

Стэдлер не улыбнулся и промолчал.

– Соответствует ли это заключение *вашему* мнению о природе риарден-металла? – спросила она.

– Я уже говорил, что не читал его, – в голосе Стэдлера мелькнуло легкое неудовольствие.

Открыв сумочку, Дагни вынула из нее газетную вырезку и протянула своему собеседнику.

– Не хотите ли прочесть, а потом сказать мне, на таком ли языке должна изъясняться наука?

Пробежав вырезку взглядом, Стэдлер пренебрежительно улыбнулся и отбросил ее.

– Отвратительно, – проговорил он. – Но что поделать, когда имеешь дело с людьми?

Она посмотрела на него полным недоумения взглядом.

– Так, значит, вы не одобряете это заявление?

– Мое одобрение, как и неодобрение, не имеет никакого отношения к делу, – пожал плечами Стэдлер.

– А вы сформировали собственное мнение в отношении риарден-металла?

– Ну, скажем так: металлургия несколько выходит за рамки моей научной специализации.

– Вам известны характеристики риарден-металла?

– Мисс Таггерт, я не вижу смысла в ваших вопросах, – в голосе его промелькнуло нетерпение.

– Мне хотелось бы услышать ваше личное заключение по поводу риарден-металла.

– Для какой цели?

– Чтобы я могла обратиться с ним к прессе.

Стэдлер встал.

– Это невозможно.

Дагни произнесла, стараясь вложить в свой голос всю силу убеждения:

– Я передам вам всю информацию, необходимую для формирования обоснованного суждения.

– Я не могу выступать с публичными заявлениями на эту тему.

– Почему же?

– Ситуация слишком сложна, чтобы ее можно было объяснить при поверхностной беседе.

– Но если окажется, что риарден-металл на самом деле представляет собой чрезвычайно ценный материал, который...

– Это не относится к делу.

– Истинная ценность риарден-металла *не относится к делу*?

– Помимо констатации факта здесь следует учитывать и другие вопросы.

Дагни спросила, не будучи уверена, что не ослышалась:

– С какими другими вопросами может иметь дело наука помимо прямой констатации факта?

Горькие линии в уголках губ Стэдлера сложились в подобие улыбки:

– Мисс Таггерт, вы и понятия не имеете о проблемах, стоящих сейчас перед наукой.

Дагни неторопливо, словно поняв это только что, сказала:

– Мне кажется, вам прекрасно известно, что представляет собой на самом деле риарден-металл.

Стэдлер снова пожал плечами:

– Да. Я это знаю. Из той информации, которой я располагаю, следует, что это удивительный материал, блестящее достижение нашей технологии.

Он нетерпеливо прошелся по кабинету:

– На самом деле мне бы хотелось иметь возможность однажды заказать специальный лабораторный двигатель, способный выдерживать такие же высокие температуры, как риарден-металл. Он чрезвычайно нужен мне для изучения ряда конкретных явлений. Я обнаружил, что когда частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, они...

– Доктор Стэдлер, – сухо перебила его Дагни, – если вам известна истина, почему вы не можете изложить свое мнение публично?

– Мисс Таггерт, вы пользуетесь абстрактной терминологией, в то время как нам приходится иметь дело с реальностью.

– Мы говорим сейчас о науке.

– О науке? Не путаете ли вы определения? Истина является абсолютным критерием только в области чистой науки. Если речь заходит о прикладных дисциплинах, о технике, нам приходится иметь дело с людьми. А имея дело с людьми, мы вынуждены принимать во внимание и другие соображения, помимо истины.

– Какие же именно?

– Я не имею представления о мире техники, мисс Таггерт. У меня нет ни способностей, ни желания общаться с людьми. Я не могу уделять внимание так называемым практическим вопросам.

– Но это заявление было сделано от вашего имени.

– Я не имею к нему никакого отношения!

– Вы несете ответственность за весь институт.

– Это ничем не обоснованное утверждение.

– Люди считают, что ваше честное имя дает гарантию объективности и безупречности всякому действию института.

– Я никак не могу повлиять на мысли людей – если только они думают вообще!

– Они приняли ваше заявление за истину, хотя оно лживо.

– Разве можно говорить об истине, имея дело с людьми?

– Не понимаю вас, – стараясь сохранить невозмутимый тон, ответила Дагни.

– Вопрос об истине не имеет отношения к обществу как таковому. Никакие принципы никогда не оказывали на общество никакого воздействия.

– Тогда чем же руководствуются люди в своих поступках?

Он, в который уже раз, пожал плечами.

– Сиюминутными потребностями.

– Доктор Стэдлер, – проговорила Дагни, – по-моему, я должна объяснить вам те последствия, к которым приведет прекращение строительства моей ветки. Меня останавливают, ссылаясь на общественную безопасность, потому что я воспользовалась самыми лучшими из произведившихся когда-либо рельсов. Если я не закончу строительство этой линии через шесть месяцев, крупнейший промышленный район страны окажется без транспорта. Он погибнет,

потому что оказался лучшим, и нашлись люди, посчитавшие возможным приложить руку к разграблению его богатств.

– Что ж, возможно, это плохо, несправедливо, возмутительно, но такова жизнь общества. Кого-то всегда приносят в жертву, причем, как правило, несправедливо; но так принято среди людей. Что может сделать с этим один человек?

– Вы можете сказать правду о риарден-металле.

Стэдлер не ответил.

– Я могла бы умолять вас сделать это, чтобы спасти свое дело. Я могла бы просить вас сделать это, чтобы избежать национальной катастрофы. Но я не буду прибегать к этим причинам. Они могут оказаться недостаточно вескими. Остается одна-единственная причина: вы должны сказать правду, просто потому, что это правда.

– Со мной не консультировались по поводу этого заявления! – возглас вырвался непроизвольно. – Я не позволил бы сделать его! И мне оно нравится не больше, чем вам! Но я не могу выступить с публичным опровержением!

– С вами не консультировались? Тогда не стоит ли выяснить, что *на самом деле* стоит за этим заявлением?

– Я не могу погубить институт именно теперь!

– Но разве вам не хотелось бы выяснить причины?

– Я знаю их! Они не говорили мне, но я знаю. И не могу сказать, что осуждаю их.

– А мне скажете?

– Скажу, если хотите. Вам же нужна истина, не так ли? И доктор Феррис также не в силах ничего сделать, когда голосующие за выделение средств институту идиоты берутся настаивать на том, что они называют результатами. Они неспособны понять такую простую вещь, как абстрактная наука. Они воспринимают ее только через те последние побрякушки, которые удалось получить с ее помощью. Не знаю, каким образом доктору Феррису удастся поддерживать жизнь в этом институте, я могу только удивляться его практическому дарованию. Не думаю, чтобы он когда-то был крупным ученым, – я вижу в нем в первую очередь бесценного *слугу* науки! Мне известно, что недавно он столкнулся с серьезной проблемой. Он старается не вмешивать меня в нее, избавляет от всего этого, но слухи доходят и до меня. Люди критикуют институт, потому что, по их мнению, от нас нет достаточной отдачи. Общество требует экономии. И в такие времена, когда ставятся под угрозу все их мелкие удобства, можете не сомневаться, что люди в первую очередь пожертвуют наукой. Наш институт остался в этой сфере практически в одиночестве. Частных исследовательских фондов почти не осталось. Посмотрите только на алчных негодяев, управляющих нашей промышленностью! Как можно предполагать, что кто-то из них будет поддерживать науку?

– А кто сейчас финансирует вас? – негромко спросила Дагни.

– Общество, – почти небрежно ответил Стэдлер.

Она произнесла напряженным тоном:

– Вы хотели перечислить мне причины, стоящие за этим заявлением.

– Не думаю, чтобы вам было трудно догадаться. Если учесть, что в нашем институте тринадцать лет существует отдел металлургических исследований, израсходовавший более двадцати миллионов долларов и не давший ничего, кроме нового способа серебрения изделий и нового антикоррозийного покрытия, которое, на мой взгляд, уступает существовавшему прежде, вы можете представить реакцию публики на частную фирму, выступающую с материалом, способным учинить подлинную революцию в металлургии, произвести настоящую сенсацию!

Дагни опустила голову. Говорить было нечего.

– Я не виню наш металлургический отдел! – раздраженным тоном сказал Стэдлер. – Мне известно, что результаты подобного рода не относятся к числу предсказуемых. Но публика

этого не поймет. И кого тогда нам остается принести в жертву? Великолепную металлургическую находку или последний оставшийся на цивилизованной земле научно-исследовательский центр вкупе со всем будущим человеческого познания? Такова альтернатива.

Она сидела, опустил голову. И после некоторой паузы проговорила:

– Хорошо, доктор Стэдлер. Мне нечего возразить.

Он увидел, как она судорожно хватается за сумочку, словно пытаясь припомнить всю последовательность движений, необходимую, чтобы встать.

– Мисс Таггерт, – негромко проговорил он. В голосе его угадывалась едва ли не мольба. Дагни подняла голову.

Сосредоточенное лицо ее ничего не выражало.

Подойдя ближе, он уперся ладонью в стену над ее головой, будто намереваясь обнять ее за плечи.

– Мисс Таггерт, – повторил Стэдлер голосом мягким, убедительным, полным сожаления, – я старше вас. Поверьте мне, на земле нельзя жить иначе. Люди не воспринимают истину или доводы рассудка. Им не нужны рациональные аргументы. Разум для них ничто. И тем не менее нам приходится иметь с ними дело. Если мы хотим совершить что бы то ни было, нам необходимо обмануть их, дабы они позволили нам сделать свое дело. Или заставить их. Ничего другого они не понимают. Мы не можем ждать их поддержки в любом усилии разума, в стремлении к любой поставленной разумом цели. Люди – это всего лишь злобные животные. Жадные, самодовольные, хищные охотники за долларами, которые...

– Я тоже принадлежу к числу охотников за долларами, доктор Стэдлер, – вставила Дагни негромко.

– Вы – необыкновенное, блистательное дитя, не успевшее ознакомиться с жизнью в достаточной степени, чтобы познать полную меру человеческой тупости. Я сражался с ней всю свою жизнь. И очень устал... – голос Стэдлера наполняла неподдельная искренность. Он неторопливо отошел от Дагни. – Было время, когда я смотрел на ту трагическую неразбериху, которую они учинили на этой земле, и мне хотелось кричать, молить их прислушаться... ведь я мог научить их жить много лучше и полноценней, но никто не желал меня слушать, им попросту *нечем* было слушать меня... Интеллект? Эта редкая и ненадежная искра вспыхивает на мгновение в мире людей и гаснет. И никто не может определить его природу, будущее... определить опущенное ему время...

Она попыталась встать.

– Не уходите вот так, мисс Таггерт. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Дагни посмотрела на него с полным безразличием. Она побледнела, черты обострились.

– Вы еще молоды, – проговорил Стэдлер. – В вашем возрасте я также верил в беспредельную силу разума. В этот блистательный облик человека рационального. С тех пор я многое повидал. И так часто расставался с иллюзиями... Мне бы хотелось кое-что рассказать вам.

Он стоял у окна своего кабинета. Снаружи успело стемнеть. Ночь будто поднималась от черной прорези оставшейся далеко внизу реки. На воде уже трепетали отражения редких огоньков, светивших на холмах противоположного берега. Небо еще хранило густую вечернюю синеву. Низко над землей висела неестественно большая одинокая звезда, заставлявшая небо выглядеть темнее, чем на самом деле.

– Когда я преподавал в университете Патрика Генри, – начал Стэдлер, – у меня было трое учеников. В прошлом у меня было много талантливых студентов, но эти трое явились истинной наградой для преподавателя. Если ты мечтаешь получить в свое распоряжение высший дар – человеческий разум в пору его расцвета, юный и отданный тебе в обучение, – таким именно даром они и оказались. Это был тот тип интеллекта, от которого ждешь, что когда-нибудь он изменит движение мира. Происхождения они были самого разного, однако же дружили так, что водой не разольешь. Они избрали странное сочетание интересов. Их интере-

совали два предмета – мой и Хью Экстона. Физика и философия. Редкая для сегодняшнего дня комбинация стремлений... Хью Экстон был человеком достойным, человеком великого ума... совершенно не похожим на то немыслимое создание, которое университет ныне поставил на его место... Мы с Экстоном даже чуть ревновали друг друга к этим студентам. У нас даже возникло нечто вроде соревнования, дружеского соревнования, потому что интересы-то у нас были общие. Экстон однажды даже сказал, что видит в них своих сыновей. Я был этим несколько раздражен... потому что считал этих юношей *своими* детьми... – повернувшись, Стэдлер посмотрел на нее. Оставленные возрастом горькие морщины пересекали его щеки. – Когда я начал ходатайствовать об учреждении этого института, один из них резко выступил против. С тех пор я не видел его. Память об этом в первые годы смущала меня. Со временем я начал иногда задумываться о том, не был ли он прав... Но воспоминание это перестало волновать меня достаточно давно, – он улыбнулся. На лице его и в этой улыбке не было теперь ничего, кроме горечи. – И кем же стали эти трое парней, воплощавших в себе все надежды, которые может даровать разум, кем же стали эти трое, которым мы сулили столь великолепное будущее... Одним из них был Франсиско д'Анкония, превратившийся в порочного плейбоя. Второй, Рагнар Даннескьолд, стал обыкновенным бандитом. Такова цена посулам человеческого ума.

– А кто был третьим? – спросила она.

Стэдлер пожал плечами:

– Третий не достиг даже печальной известности. Он исчез без следа – в великом море посредственности. Должно быть, служит сейчас где-нибудь вторым помощником счетовода.

* * *

– Это ложь! Я не сбежал! – вскричал Джеймс Таггерт. – Я отправился сюда, почувствовав, что заболел. Спроси доктора Уилсона. У меня было что-то вроде гриппа. Он подтвердит. Потом, как ты узнала, что я здесь?

Дагни стояла посреди комнаты. На воротнике ее пальто и на полях шляпки таял снег. Она огляделась с чувством, которое вполне могло бы перерасти в печаль, если бы у нее было для этого время.

Она находилась в старом доме Таггертов на Гудзоне. Дом по наследству достался Джиму, который редко приезжал сюда. В их детстве комната эта была кабинетом отца. Теперь в ней царил унылый дух помещения, которым только изредка пользуются, но не живут в нем. Мебель, кроме двух кресел, прикрыта чехлами, холодный камин, унылое тепло электрического нагревателя, провод, протянутый от него к стене, пустая стеклянная поверхность стола.

Джим лежал на кушетке, шея его была обмотана полотенцем наподобие шарфа. На стуле возле него рядом с бутылкой виски стояла полная старых окурков пепельница, с ней соседствовал мятый бумажный стаканчик; по полу разбросаны позавчерашние газеты. Над камином висел сделанный в полный рост выцветший портрет их деда на фоне железнодорожного моста.

– У меня нет времени на разговоры, Джим.

– Это была твоя идея! Надеюсь, ты признаешь перед всем правлением, что идея принадлежала тебе. Вот что сделал с нами твой проклятый риарден-металл! Если бы мы подождали Оррена Бойля... – Небритое лицо искажала сложная смесь эмоций: паники, ненависти, мстительного триумфа, возможности накричать на побежденного. К этому добавлялся взгляд, острый, робко пытающийся нащупать надежду на спасение.

Джим смолк, однако Дагни не торопилась с ответом. Она молча смотрела на него, опустив руки в карманы пальто.

– Больше мы ничего не можем сделать! – простонал он. – Я пытался позвонить в Вашингтон, чтобы там отобрали «Феникс-Дуранго» и передали эту дорогу нам по соображениям наци-

ональной безопасности, но со мной на эту тему даже разговаривать не стали! Слишком, мол, многие будут против, слишком опасный прецедент!.. Я просил Национальный железнодорожный альянс дать нам отсрочку и позволить Дэну Конвею работать на своей дороге еще год – тогда мы получили бы необходимое время, – но он сам отказался от такого предложения! Я попытался связаться с Эллисом Уайэттом и его друзьями в Колорадо – пусть потребуют от Вашингтона особого указания на этот счет, чтобы Конвей продолжил работу, – но все они, и сам Уайэтт, и все остальные сукины дети, не согласились! А ведь речь идет об их собственной шкуре, их положение хуже нашего, они вылетят в трубу – и все-таки они отказались!!!

Коротко улыбнувшись, Дагни промолчала.

– И теперь мы ничего больше не можем сделать! Мы в западне. Мы не можем достроить эту ветку и не можем отказаться от нее. Мы не можем ни идти, ни стоять. У нас нет денег. Мы никому не интересны! Что осталось у нас без линии Рио-Норте? Но мы не можем достроить ее. Нас будут бойкотировать. Мы попадем в черный список. Профсоюз железнодорожных рабочих подаст на нас в суд. Непременно подаст, на этот случай есть особый закон. Мы не можем достроить эту линию! Господи! Что нам теперь делать?

Дождавшись паузы, Дагни проговорила ледяным тоном:

– Ты закончил, Джим? Если да, то я расскажу тебе, *что* нам делать.

Он молчал, разглядывая ее из-под тяжелых век.

– Это не предложение, Джим. Это ультиматум. Слушай и думай. Я намереваюсь завершить сооружение линии Рио-Норте. Я лично, а не *«Таггерт Трансконтинентал»*. Я временно оставляю пост вице-президента и образую собственную компанию. Твое правление передает мне линию Рио-Норте. Я буду исполнять роль подрядчика. *Подрядчика для самой себя*. Я обеспечу собственное финансирование. Я приму на себя все обязанности вместе со всей ответственностью. Я дострою линию вовремя. И после того как вы убедитесь в полной работоспособности рельсов из риарден-металла, я передаю Рио-Норте назад *«Таггерт Трансконтинентал»* и возвращаюсь на свою работу. Это все.

Таггерт молча смотрел на нее, покачивая шлепанцем на ноге. Дагни даже не подозревала, что надежда может столь уродливым образом исказить лицо человека: к болезненному облегчению тут же примешалось коварство. Она отвела глаза, не понимая, как можно в такой момент первым делом думать о том, какую *еще* выгоду можно выжать.

Но ее ждала еще большая нелепость – голосом, полным тревоги, он пролепетал:

– Но кто будет тем временем управлять делами *«Таггерт Трансконтинентал»*?

Дагни усмехнулась – собственный смех изумил ее, показавшись горьким старческим кряхтением, – и проговорила:

– Эдди Уиллерс.

– О нет! Он не справится!

Дагни снова рассмеялась, столь же отрывисто и безрадостно:

– Я думала, что тебе хватит ума понять: Эдди займет пост *исполняющего обязанности* вице-президента. Он переберется в мой кабинет и будет сидеть за моим столом. Но кто, потвоему, будет руководить делами *«Таггерт Трансконтинентал»*?

– Но... я не вижу, как...

– Я буду постоянно летать между кабинетом Эдди и Колорадо. А для чего еще существует самолет? Кроме того, остаются междугородные разговоры. Я буду делать только то, чем занимаюсь сейчас. Ничто не переменится, и ты получишь возможность устроить представление для своих друзей... ну, а мне станет несколько тяжелее.

– О каком представлении ты говоришь?

– Ты прекрасно понимаешь меня, Джим. Я понятия не имею, в какого рода играх замешаны вы – ты и твоё правление. Я не знаю, сколько партий разыгрывается у вас одновременно против всех остальных и друг против друга и сколько взаимоисключающих претензий вам

приходится учитывать. Я этого не знаю и знать не хочу. Все вы можете спрятаться за мной. Если ты боишься, потому что заключал сделки с друзьями, которым риарден-металл опасен, что ж, ты получаешь шанс уверить их в том, что ты здесь ни при чем, что все это делаю я и только я. Можешь помогать им, можешь проклинать и поносить меня. Все вы можете оставаться при своем, ничем не рисковать и не наживать врагов. Просто не становитесь на моем пути.

– Что ж... – неторопливо произнес он, – конечно, политические проблемы, стоящие перед крупной железнодорожной компанией, достаточно сложны... в то время как маленькая и независимая фирма, действующая от частного лица, может...

– Да, Джим, да, я понимаю все это. В тот самый момент, когда ты объявишь, что передаешь мне линию Рио-Норте, акции «*Таггерт*» пойдут вверх. Перестанут выползать из разных углов клопы, поскольку им незачем будет кусать крупную компанию. И я дострою линию еще до того, как они решат, что делать со мной. Ну а мне самой не придется иметь дело с тобой и твоим правлением, убеждать вас, просить разрешения. Для этого просто нет времени, если мы хотим, чтобы работа была закончена. Поэтому я намереваюсь сделать все сама... одна.

– Ну... а если ты потерпишь неудачу?

– Это будут *мои* поражение и падение.

– Ты понимаешь, что в таком случае «*Таггерт Трансконтинентал*» ничем не сможет помочь тебе?

– Понимаю.

– И ты не будешь рассчитывать на нас?

– Нет.

– Ты прекратишь все официальные сношения с нами, чтобы твои действия не отразились на репутации компании?

– Да.

– Думаю, мы должны заранее обговорить и то, что в случае неудачи или крупного скандала... твой *временный отпуск* сделается постоянным... то есть ты не сможешь рассчитывать на возвращение на пост вице-президента компании.

Дагни на мгновение прикрыла глаза.

– Хорошо, Джим. В таком случае я не вернусь.

– И прежде чем мы передадим тебе Рио-Норте, ты должна будешь подписать соглашение о том, что вернешь ее нам вместе с контрольным пакетом, если линия начнет приносить доход. Иначе ты можешь попытаться лишить нас непросчитанной прибыли, поскольку эта линия нам нужна.

Негодование лишь на миг промелькнуло в глазах Дагни, и она безразличным тоном произнесла, словно бросая нищему подаяние:

– Безусловно, Джим. Изложи все это в письменном виде. Я подпишу.

– Что касается твоего временного преемника...

– Да?

– Ты и в самом деле хочешь, чтобы это место занял Эдди Уиллерс?

– Да, хочу.

– Но он просто не сможет исполнять обязанности вице-президента! У него нет должной осанки, манер...

– Он знает свою работу... и мою. Он знает, что мне нужно. Я доверяю ему. Я смогу сотrudничать с ним.

– А ты не думаешь, что следовало бы выбрать достойного молодого человека из хорошей семьи, обладающей большим общественным весом и...

– Это будет Эдди Уиллерс, Джим.

Таггерт вздохнул:

– Ну хорошо. Только... только нам придется проявлять осторожность... Люди не должны заподозрить, что ты по-прежнему руководишь «*Таггерт Трансконтинентал*». Этого никто не должен знать.

– Это будут знать все, Джим. Но открыто не признает никто, и все будут довольны.

– Нам нужно сохранить свое лицо.

– О, конечно! Можешь не узнавать меня на улице, если не хочешь. Можешь говорить, что никогда не видел меня, а я скажу, что и слыхом не слыхивала про «*Таггерт Трансконтинентал*».

Джеймс молчал, в задумчивости разглядывая пол.

Дагни повернулась к окну. Серое небо отливало ровной зимней пеленой. Далеко внизу, по берегу Гудзона, тянулась дорога, по которой приезжал автомобиль Франсиско... над рекой поднимался утес, на который они забирались, чтобы посмотреть на башни Нью-Йорка... где-то за лесом прятались рельсы, уходившие к станции Рокдейл. Припорошенная снегом земля напоминала набросок того родного края – бледный рисунок, на котором из снега тянутся к небу голые ветви. Это был серо-белый снимок, мертвая фотография, которую хранят на память, но которая ничего не может вернуть.

– Как ты хочешь назвать ее?

Удивленная Дагни обернулась.

– Что?

– Как ты хочешь назвать свою компанию?

– Ах да... Ну, наверно, «*Линия Дагни Таггерт*».

– Но... По-твоему, это разумно? Подобный факт нетрудно истолковать превратно. Могут решить, что «*Таггерт*» ...

– И как ты хочешь, чтобы я ее назвала? – отрезала утомленная до предела Дагни. – «*Линия Мисс Никто*»? Или «*Мадам Икс*»? Или «*Джона Голта*»?.. – Дагни смолкла и вдруг улыбнулась – холодной, блестящей и опасной улыбкой. – Так я ее и назову: «*Линия Джона Голта*».

– Великий Боже, нет!

– Да.

– Но это же... просто дешевый трюк, дань городским низам!

– Да.

– Ты не можешь превратить в шутку такой серьезный проект!.. Ты не можешь вести себя столь вульгарно и... недостойно!

– Ты так считаешь?

– Но скажи мне, бога ради, почему?

– Потому что все вокруг будут шокированы – как и ты сам.

– Я никогда не думал, что ты способна на показуху.

– В данном случае способна.

– Но... – Джеймс понизил голос до едва ли не суеверного шепота. – Видишь ли, Дагни, это же... такое имя накличет беду... Оно означает...

Он умолк.

– И что же оно означает?

– Не знаю... Но когда люди произносят его, это всегда бывает из...

– Страха? Отчаяния? Безысходности?

– Да... да, именно так.

– Я хочу, чтобы они понимали это!

Наполненные гневными искрами глаза сестры, неожиданный проблеск веселья в них подсказали Джеймсу, что ему лучше помалкивать.

– Пиши во всех документах и ваших бюрократических бумажках название: «*Линия Джона Голта*».

– Что ж, это твоя линия, – вздохнул он.

– Ей-богу, моя!

Джеймс с удивлением посмотрел на сестру. Дагни отбросила все приличествующие вице-президенту манеры, в полном блаженстве нисходя до уровня рабочих-путейцев.

– Кстати, о бумагах и юридической стороне дела, – проговорил он, – у нас могут возникнуть некоторые трудности. Нам придется обратиться за разрешением...

Дагни рывком повернулась к нему. Часть прежнего энтузиазма еще читалась на ее лице. Однако на нем более не было веселья, Дагни не улыбалась. Лицо ее странным образом сделалось жестким и непреклонным. Увидев это выражение, Джеймс подумал, что не хотел бы увидеть его снова.

– Слушай меня, Джим, – произнесла Дагни; такой интонации ему еще не приходилось слышать ни от кого. – Есть одна вещь, которую ты должен выполнить как *свою* часть сделки, так что внимательно следи за этим: держи своих вашингтонских приятелей подальше от меня. Позаботься, чтобы они давали мне все необходимые разрешения, акты, справки и прочий бумажный хлам, которого требует их законодательство. Только не позволяй им пытаться остановить меня. Если они только попробуют... Джим, люди говорят, что наш предок, Нат Таггерт, убил политика, попытавшегося отказать ему в разрешении, которого тот не имел права не дать. Не знаю, было ли это на самом деле. Но говорю тебе честно: если он и сделал это, я вполне понимаю его чувства. А если он все-таки не был грешен, я вполне могу сделать это за него, чтобы оправдать семейную легенду. Я не шучу, Джим.

* * *

Франсиско д'Анкония сидел перед ее столом. Лицо его ничего не выражало. Оно оставалось бесстрастным, когда Дагни четким и бесцветным тоном деловой беседы объясняла ему цели и задачи своей железнодорожной компании. Франсиско выслушал, но не произнес ни слова.

Она еще не видела его лица таким опустошенным; на нем не было насмешки, удивления, противоречия; просто казалось, что все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Тем не менее Франсиско смотрел на нее с интересом; видимо, он замечал больше, чем ей казалось.

– Франсиско, я попросила тебя приехать, потому что хотела увидеть тебя в моем кабинете. Ты здесь впервые. А некогда он мог бы многое значить для тебя.

Франсиско неторопливо обвел помещение взглядом. На стенах не было ничего, кроме трех вещей: карты линий «*Таггерт Трансконтинентал*», оригинала карандашного портрета Ната Таггерта, послужившего моделью для статуи, и большого железнодорожного календаря из тех, что выпускались каждый год, броского и яркого, с картинками, изображавшими станции сети Таггертов; такой же когда-то висел над ее первым рабочим столом в Рокдейле.

Франсиско поднялся и негромко произнес:

– Дагни, ради себя самой, и... – голос его на мгновение нерешительно замер, – и во имя той жалости, которую ты, может быть, еще испытываешь ко мне, не проси того, что ты намереваешься попросить. Не надо. Позволь мне уйти прямо сейчас.

Фраза эта была для него столь не характерна, что Дагни просто не ожидала услышать ничего подобного. И после недолгой паузы произнесла:

– Почему же?

– Я не могу ответить тебе. Я не могу отвечать ни на какие вопросы. Вот почему об этом лучше вообще не говорить.

– Ты знаешь, что я собиралась попросить у тебя?

– Да.

Она посмотрела на него с настолько красноречивым, настолько отчаянным недоумением, что ему пришлось добавить.

– А еще мне известно, что я откажу тебе.

– Почему?

С безрадостной улыбкой он развел руками, как бы пытаясь показать, что именно этого ожидал и пытался избежать.

Она негромко произнесла:

– Мне все-таки придется попытаться, Франсиско. Мне придется обратиться к тебе с просьбой. Это моя обязанность. Как ты отнесешься к моим словам, это уже твое дело. Но тогда я буду знать, что испробовала все.

Не садясь, он чуть наклонил голову в знак согласия и сказал:

– Слушаю, если это тебе поможет.

– Мне нужно пятнадцать миллионов долларов, чтобы завершить строительство линии Рио-Норте, семь миллионов я получила в залог под мои акции компании «*Таггерт*». Больше собрать я не могу. Я выпущу облигации от имени своей новой компании. Я позвала тебя для того, чтобы попросить купить их.

Он промолчал.

– Франсиско, я стала нищенкой и прошу у тебя денег. Я всегда считала, что в бизнесе просить не подобает. Я всегда считала, что все зависит от качества того, что ты предлагаешь, и отдавала деньги за то, чего они стоили. Теперь правило это не работает, хотя я не понимаю, как можно заменить его чем-то другим. Судя по всем объективным показателям, линия Рио-Норте должна стать самой прибыльной железной дорогой в стране. Судя по всем известным мне стандартам, лучшего вложения капиталов нельзя найти. И в этом мое проклятие. Я не могу собрать деньги, предложив людям хорошее вложение капитала: они отвергнут его уже в силу того, что оно *слишком* хорошее. Ни один банк не купит облигации моей компании. Но я не могу предложить ничего другого. Мне остается только просить.

Дагни произносила это, чеканя каждое слово. Смолкнув, она стала ждать ответа. Франсиско молчал.

– Я понимаю, что и тебе мне нечего предложить, – вздохнула она. – Я не могу предлагать тебе инвестирование капитала. Тебе незачем делать деньги. Промышленные проекты давным-давно перестали тебя интересовать. Поэтому я не стану представлять это честной сделкой. Считай, что я попрошайничаю... – Вдохнув поглубже, Дагни добавила: – Дай мне эти деньги как подаяние, просто потому, что ты можешь это сделать.

– Не надо, – проговорил он негромко. Дагни не могла понять, чем вызван столь странный тон – болью или гневом; Франсиско не смотрел на нее.

– Ты сделаешь это, Франсиско?

– Нет.

Спустя мгновение, она сказала:

– Я позвала тебя не потому, что рассчитывала на твое согласие, а потому, что лишь ты способен понять меня. Вот я и попыталась, – голос Дагни звучал все тише и тише, как если бы она все сильнее и сильнее пыталась скрыть свои чувства. – Понимаешь, я не могу поверить в то, что тебя больше нет... потому что знаю, что ты до сих пор способен слышать меня. Образ твоей жизни порочен, но поступки – нет. Даже то, как ты говоришь, не... Мне пришлось попытаться... Но я не могу больше напрягать силы, пытаясь понять тебя.

– Дам тебе намек. Противоречий не существует. Если ты усматриваешь где-то противоречие, проверь исходные данные. И найдешь ошибку в одном из них.

– Франсиско, – прошептала она, – почему ты так и не рассказал мне, что произошло с тобой?

– Потому что в данный момент правда окажется для тебя мучительней сомнений.

– Неужели все настолько ужасно?

– А на этот вопрос должна ответить ты сама.

Она покачала головой:

– Я не знаю, что предложить тебе. Я больше не понимаю, что представляет для тебя ценность. Разве ты не понимаешь, что даже попрошайка должен что-то дать тебе взамен, должен веско аргументировать причину, которая заставит тебя помочь ему?.. Ну, я думала... когда-то, что для тебя важен успех. Успех в бизнесе. Помнишь, как мы говорили с тобой об этом? И ты был очень строг. Ты ожидал от меня многого. Ты говорил мне, что я должна постараться. Я постаралась. Ты гадал, насколько высоко поднимусь я с «*Таггерт Трансконтинентал*».

Дагни обвела кабинет рукой:

– Вот как высоко я поднялась... И я подумала... если память о прежних ценностях еще что-то значит для тебя, хотя бы в порядке развлечения, печального воспоминания или просто вроде... посаженного на могиле цветка... ты можешь захотеть дать мне эти деньги... во имя прошлого.

– Нет.

Дагни произнесла, делая над собой усилие:

– Эти деньги для тебя пустяк – ведь ты столько тратил на бессмысленные приемы... и куда больше выбросил на рудники Сан-Себастьян...

Франсиско оторвал взгляд от пола. Он поглядел прямо на Дагни, и она впервые заметила искорку живой реакции в его глазах, ясную, безжалостную и невероятно горделивую, словно бы обвинение это наделяло его силой.

– Ах да, – проговорила она, словно бы отвечая на его мысль. – Понимаю. Я прокляла тебя за эти рудники, я отреклась от тебя, я выказывала тебе свое презрение всеми возможными способами, а теперь явилась просить... просить денег. Как Джим, как любой попрошайка. Я понимаю, что для тебя это триумф, я знаю, что достойна смеха, и ты имеешь полное право презирать меня. Что ж, быть может, я могу предложить тебе такое развлечение. Если тебе нужно повеселиться, если тебе было приятно смотреть на ползущего к тебе Джима в компании с мексиканскими комиссарами, может, тебе понравится сломать и меня? Не доставит ли это тебе удовольствие? Может быть, ты хочешь, чтобы я признала свое поражение? И тебе будет приятно увидеть меня у своих ног? Скажи мне, какую форму моего унижения ты предпочитаешь, и я покорюсь.

Франсиско двигался столь быстро, что Дагни даже не заметила, когда он сорвался с места; ей показалось только, что он просто вздрогнул. Обогнув стол, Франсиско взял Дагни за руку и поднес ее к своим губам. Сперва жест его был полон глубочайшего уважения, словно он стремился поделиться с ней своей силой; но по тому, как губы его и лицо прижались к ее руке, Дагни поняла, что он сам ищет у нее силу.

Выронив ее ладонь, Франсиско посмотрел ей в лицо, прямо в испуганную тишину глаз, и улыбнулся, не пытаясь скрыть страдание, гнев и нежность, смешавшиеся воедино.

– Дагни, неужели ты хочешь *ползть*? Тебе неизвестно, что означает это слово, ты никогда не узнаешь этого. Человек не пресмыкается, когда заявляет об этом так откровенно, как сделала ты. Неужели ты думаешь, что я могу не оценить всю отвагу, которая потребовалась тебе для этого? Но... не проси меня, Дагни.

– Во имя всего, чем я когда-то была для тебя... – прошептала она, – всего, что в тебе осталось...

И в тот миг, когда она подумала, что уже видела это выражение на его лице в ту ночь, когда, вглядываясь в огни спящего города, он в последний раз лежал рядом с нею в постели, Дагни услышала стон, какой еще не сходил с его уст:

– Любовь моя, *я не могу этого сделать!*

Потом, когда, онемев от растерянности, они вглядывались друг в друга, она заметила перемену в его лице. Она произошла внезапно, словно кто-то нажал выключатель. Внезапно рассмеявшись, Франсиско отодвинулся от нее и произнес оскорбительнейшим по своей небрежности тоном:

– Прошу тебя простить меня за это смешение стилей. Видимо, привык говорить эти слова женщинам, правда, по совершенно иным поводам.

Голова Дагни поникла, она сгорбилась и обняла себя за плечи, не заботясь о том, что он видит ее такой. Наконец, подняв голову, она посмотрела на него безразличным взглядом.

– Ну хорошо, Франсиско. Разыграно было великолепно. Я поверила. Если другой забавы я тебе не могу предоставить, ты добился успеха. Я не буду просить тебя ни о чем.

– Я предостерегал тебя.

– Я не знала, на чьей ты стороне. Это казалось невозможным... быть союзником Оррена Бойля, Бертрама Скаддера... и твоего старого учителя.

– Моего старого учителя? – резким тоном переспросил Франсиско.

– Доктора Роберта Стэдлера.

Он с облегчением усмехнулся:

– Ах ты о нем? Это грабитель, который считает, что его цель оправдывает потраченные мною средства. Знаешь, Дагни, мне бы хотелось, чтобы ты запомнила эти слова, насчет того, на чьей я стороне. Однажды я напомню тебе о них и спрошу, хочешь ли ты еще раз произнести их.

– Тебе не придется напоминать мне.

Франсиско повернулся, чтобы уйти. Подняв руку в небрежном прощании, он произнес:

– Желаю процветания линии Рио-Норте, если ее удастся построить.

– Она будет построена. И будет носить имя Джона Голта.

– Что?!

Услышав вопль неподдельного изумления, Дагни задиристо усмехнулась:

– *Линия Джона Голта.*

– Дагни, во имя небес, скажи почему?

– Тебе не нравится?

– Как ты выбрала такое название?

– Оно звучит лучше, чем *Линия мистера Немо* или *мистера Зеро*, правда?

– Дагни, но почему??

– Потому что это пугает тебя.

– И что, по-твоему, означает это название?

– Невозможное. Недостижимое. И все вы боитесь моей линии не меньше, чем этого имени.

Франсиско расхохотался. Он смеялся, не глядя на нее, и Дагни ощутила странную уверенность в том, что он забыл о ней, что находится где-то далеко, и что смех его – при всем яростном веселье и горечи – относится к чему-то такому, в чем ей нет места.

Снова повернувшись к ней, Франсиско совершенно искренне сказал:

– Дагни, на твоём месте я бы не делал этого.

Она пожала плечами:

– Джиму это тоже не понравилось.

– А тебе-то что нравится в этом названии?

– Я ненавижу его! Я ненавижу ту участь, которой все вы дожидаетесь, эту капитуляцию и бессмысленный вопрос, в котором всегда звучит мольба о помощи. Я устала слышать обращения к Джону Голту. Я намереваюсь сразиться с ним.

Франсиско невозмутимо проговорил:

– Ты это уже делаешь.

– Я хочу построить для него железную дорогу. Пусть придет, чтобы отобрать!

Печально улыбнувшись, Франсиско кивнул:

– Он это сделает.

* * *

Отблески расплавленной стали плясали по потолку и стене. Риарден сидел за столом, освещенным светом единственной лампы. За пределами этого кружка в кабинете царил мрак, сливавшийся с тьмой снаружи. Ему казалось, что там, за стенами, находится пустое пространство, в котором по собственной воле разгуливают вырывавшиеся из печей лучи; что стол его подобен висящему в воздухе плоту, дающему уединение только двоим, – перед столом сидела Дагни.

Она скинула с плеч пальто, и теперь ее изящное, напряженное тело в сером костюме вырисовывалось в просторном кресле на его фоне.

Освещена была только ее рука, лежавшая на краешке стола; в полумраке за ним угадывались ее лицо, белая блузка, треугольник расстегнутого воротника.

– Итак, Хэнк, – сказала она, – начинаем строительство нового моста из риарден-металла. Вот официальный заказ от официального владельца «*Линии Джона Голта*».

Риарден улыбнулся, бросив взгляд на освещенный кружком света чертеж моста.

– У вас была возможность проанализировать предложенную нами схему?

– Да. Вы не нуждаетесь в моих комментариях и комплиментах. Их заменяет мой заказ.

– Отлично. Благодарю вас. Мы начинаем прокатку металла.

– Вы не хотите спросить, располагает ли «*Линия Джона Голта*» возможностью размещать заказы или просто функционировать?

– В этом нет необходимости. Обо всем свидетельствует ваше появление здесь.

Дагни улыбнулась:

– Вы правы. Все улажено, Хэнк. Я приехала, чтобы сказать вам это и приступить к обсуждению деталей конструкции моста.

– Хорошо, но мне все-таки интересно: кто стал держателем облигаций «*Линии Джона Голта*»?

– Не думаю, чтобы кто-то один мог позволить себе это. Все наши пайщики – растущие предприятия. Всем нужны деньги на собственные нужды. Однако им нужна была линия, и они ни к кому не обращались за помощью.

Дагни вынула из сумочки листок бумаги.

– Вот список членов компании «*Джон Голт Инкорпорейтед*», – проговорила она, протягивая листок через стол.

Риарден знал большую часть присутствовавших в списке лиц: Эллис Уайэтт – «*Уайэтт Ойл*», Колорадо. Тед Нильсен – «*Нильсен Моторс*», Колорадо, Лоренс Хэммонд – «*Хэммонд Кар Компани*», Колорадо, Эндрю Стоктон – «*Литейный завод Стоктон*», Колорадо. Несколько пайщиков были из других штатов; он отметил про себя следующее имя: Кеннет Данаггер – «*Данаггер Коул*», Пенсильвания. Суммы подписки варьировались от пятизначных до шестизначных цифр.

Протянув руку к авторучке, он подписал под нижней строкой: «Генри Риарден – «*Риарден Стил*», Пенсильвания – \$1 000 000» и перебросил лист Дагни.

– Хэнк, – проговорила она негромко, – я не хотела привлекать вас к этому делу. Вы и так вложили в риарден-металл уйму денег. Вы не можете позволить себе новые расходы.

– Я никогда не принимаю любезностей, – ответил он холодным тоном.

– Что вы хотите этим сказать?

– Я не прошу людей вкладывать в мои предприятия больше, чем я сам. Если это игра, моя ставка будет наравне с самыми крупными. Разве не вы сказали, что эта колея является первой демонстрацией возможностей нового металла?

Наклонив голову, она произнесла серьезным тоном:

– Хорошо. Благодарю вас.

– Кстати, я не собираюсь терять эти деньги. Мне известно об условиях, согласно которым, по моему желанию, облигации могут быть преобразованы в акции. Поэтому я рассчитываю на крупный доход, который принесете мне вы.

Дагни рассмеялась:

– Боже мой, Хэнк, я успела переговорить со столькими трусливыми тупицами, что они едва ли не заразили меня своим неверием в успех дороги! Спасибо, что вы напомнили мне о другом. Да, я также считаю, что сумею заработать для вас кучу денег.

– Если бы не эти безнадежные тупицы, в вашем предприятии не было бы никакого риска. Но мы должны победить их. И мы победим, – Риарден взял две телеграммы из груды бумаг, лежавших на его столе.

– Есть еще люди на белом свете. – Он протянул телеграммы Дагни. – По-моему, вам стоит просмотреть их.

Одна из них гласила: «Я намеревался приступить к постройке через два года, однако заявление Государственного научного института заставляет меня спешить. Рассматривайте настоящую телеграмму как предварительный заказ на сооружение двенадцатидюймового трубопровода из риарден-металла длиной 600 миль от Колорадо до Канзас-Сити. Подробности отдельно. Эллис Уайэтт».

В другой было написано: «К вопросу о моем заказе. Приступайте. Кен Данаггер».

В качестве пояснения Риарден добавил:

– Он не был готов к немедленному началу работ. Речь идет о восьми тысячах тонн риарден-металла. Крепи для угольного рудника.

Они обменялись улыбками. Комментариев не требовалось.

Риарден обратил внимание на руку Дагни, вернувшую ему телеграммы. В свете лампы кожа руки, лежавшей на краю стола, казалась прозрачной... У нее были руки молодой девушки, с длинными тонкими пальцами, которые она на мгновение расслабила, сделав беззащитными.

– «Литейный завод Стоктон» в Колорадо, – сказала она, – пообещал мне закончить тот заказ, от которого отказалась «Объединенная стрелочно-семафорная компания». Они хотят встретиться с вами относительно поставок металла.

– Они уже были здесь. А как у вас с персоналом?

– Лучшие инженеры Нили остались – именно те, в которых я нуждаюсь. И большинство прорабов и мастеров. С ними особых сложностей не предвидится. В конце концов, от самого Нили было немного толка.

– А как насчет рабочих?

– Предложений больше, чем требуется. Не думаю, что профсоюз станет вмешиваться. Большинство претендентов вписывают в анкеты подложные имена. Они – члены профсоюза. Работа им нужна отчаянно. Я выставлю на линии легкую охрану, однако особых неприятностей не ожидаю.

– А как ведет себя правление вашего брата Джима?

– Всей компанией пишут в газеты заявления о том, что не имеют абсолютно никакого отношения к «*Линии Джона Голта*» и самым решительным образом осуждают мое начинание. Они согласились на все мои условия.

Напряженные плечи Дагни были чуть отведены назад, словно в готовности к драке. Такая собранность казалась естественной, в ней читалась не тревога, а восторг; напряженным было и все тело под серым костюмом, растворявшимся в полутьме.

– Эдди Уиллерс приступил к исполнению обязанностей вице-президента, – добавила она. – В случае необходимости связывайтесь с ним. Сегодня ночью я улетаю в Колорадо.

– Сегодня?

– Да. Надо спешить. Мы потеряли неделю.

– На своем самолете?

– Буду дней через десять. Я намереваюсь возвращаться в Нью-Йорк один-два раза в месяц.

– А где вы там будете жить?

– На стройплощадке. В своем железнодорожном вагоне, то есть в вагоне, который мне одалживает Эдди.

– Это безопасно?

– В каком смысле? – Дагни удивленно усмехнулась. – Ну, Хэнк, вы впервые вспомнили о том, что я не мужчина. Со мной ничего не случится.

Риарден не смотрел на нее; взгляд его был обращен к листку бумаги с цифрами.

– Мои инженеры подготовили расчет стоимости моста и приблизительный график его сооружения. Нам надо все это обсудить.

Он протянул Дагни бумаги. Она приступила к чтению.

Клинышек света лег на ее лицо, подчеркивая четкие очертания жесткого, чувственного рта. Потом она чуть отодвинулась в тень, оставив на свету переносицу и опущенные темные ресницы.

«Разве не о тебе... – думал он. – Разве не о тебе мечтал я с самой первой встречи? О ком же еще? Все эти два года...»

Риарден, не шевелясь, смотрел на Дагни. В ушах его звучали слова, которых он никогда не позволял себе произнести даже в мыслях, слова, которые он *ощущал*, не позволяя им обрести форму, которые надеялся уничтожить, не позволяя им прозвучать в собственной голове. И теперь они полились внезапным, ужасавшим своей откровенностью потоком – он словно бы говорил их Дагни...

«С первой же нашей встречи... ни о чем, кроме твоего тела, твоих губ, твоих глаз, которые будут смотреть на меня, если... В каждой сказанной мною фразе, на каждом, таком невинном в твоих глазах, совещании, при всей важности обсуждавшихся нами вопросов... Ты ведь доверяла мне, правда? Признать твой дар? Видеть в тебе равного... думать о тебе как о мужчине?.. Неужели, по-твоему, я не представляю, что предал в своей жизни? Ты – единственное яркое событие в ней, единственный человек, которого я уважаю, лучший среди известных мне бизнесменов, мой союзник, мой партнер в отчаянной битве... Низменнейшее среди желаний – вот мой ответ на то высшее, что я встретил в жизни... Знаешь ли ты, что я собой представляю? Я думал об этом, потому что мое желание невыносимо. Эта унизительная потребность, которая не должна коснуться тебя... но я никого не хотел, кроме тебя... я не знал, что это такое, пока не увидел тебя. Я думал: только не я, меня этим не сломить... и с тех пор... уже два года... ни мгновения передышки... Знаешь ли ты, что это такое – хотеть? Не угодно ли тебе послушать, что я думал, глядя на тебя... лежа ночью без сна... узнавая твой голос в телефонной трубке, а потом, на работе, не умея прогнать его прочь?.. Низвести тебя до того, чего ты не можешь принять, и знать, что это я виноват в этом. Низвести тебя до плоти, дать тебе животное наслаждение, видеть, как ты

нуждаешься в нем, видеть, как ты просишь его у меня, видеть удивительный дух скованным непристойной потребностью. Видеть тебя такой, какая ты есть, чистой, гордой, сильной, противостоящей миру, а потом видеть тебя в своей постели, покорной любой моей позорной прихоти, любому действию, которое я могу совершить, единственно для того, чтобы полюбоваться твоим бесчестьем, и которому ты покоришься ради невыразимого удовольствия... Я хочу тебя – и проклинаю себя за это!..»

Дагни читала бумаги, откинувшись в полумраке – отблески пламени раскаленного металла ложились на ее волосы, перебегали на плечо, вниз по руке, к оголенной коже запястья.

«...Знаешь ли ты, о чем я думаю прямо сейчас?..

Твой серый костюм, растянутый воротничок... ты такая молодая, строгая, такая уверенная в себе... А если бы я сейчас обнял тебя, бросился на пол в этом официальном костюме, если бы задрал твою юбку...»

Дагни посмотрела на него. Риарден сидел, уткнувшись носом в разложенные на столе документы.

После небольшой паузы он произнес:

– Подлинная стоимость моста оказалась ниже нашей предварительной оценки. Учтите, что прочность сооружения позволяет по прошествии нескольких лет добавить вторую колею, которая, по моему мнению, очень скоро понадобится этому району страны. Если распределить стоимость на период в...

Риарден говорил, и в свете лампы Дагни разглядывала его лицо, вырисовывавшееся на фоне царившего в кабинете мрака. Лампа была закрыта от ее взгляда, и ей казалось, что это его лицо освещает лежавшие на столе бумаги. *«Его лицо, – думала она, – и эта холодная, полная света ясность голоса, ума, стремление к единственной цели. Лицо его подобно словам – единая тема, словно упорный взгляд глаз, пронизывает, проходит по впалым щекам, до чуть презрительных, обращенных вверх уголков рта, линией беспощадного аскетизма».*

* * *

День начался с известия о страшной катастрофе: товарный состав «Атлантик Саусерн» лоб в лоб столкнулся с пассажирским поездом в штате Нью-Мексико на резком повороте в горах, груженные вагоны разбросало по склону. В вагонах находилось пять тысяч тонн меди, отправленной из рудника в Аризоне на предприятие Риардена. Он лично звонил генеральному менеджеру «Атлантик Саусерн», однако добился только такого ответа: «Господи, мистер Риарден, ну как мы можем это сказать? Кто вообще может знать, сколько мы будем исправлять последствия крушения? Худшего у нас, кажется, не было... не знаю, мистер Риарден. В этом районе нет других линий. Рельсы сорваны на протяжении двенадцати сотен футов. Был обвал. Наш ремонтный поезд не может пройти сквозь него. Я не знаю, поставим ли мы эти грузовые вагоны на рельсы, и когда это будет сделано. Раньше чем через две недели обещать не могу... За три дня? Это немыслимо, мистер Риарден!.. Но мы не можем этого сделать!.. Но вы же можете сказать своим клиентам, что такова воля Божия! Но ведь можно и опоздать с выполнением! В подобном случае никто вас не осудит!»

За следующие два часа с помощью секретаря и двоих молодых инженеров из его Транспортного отдела, карты дорог и телефонного аппарата, Риарден отправил к месту аварии армаду грузовиков и состав пустых вагонов, который должен был ожидать их на ближайшей станции «Атлантик Саусерн». Состав одолжили у «Таггерт Трансконтинентал». Грузовики собирали по трем штатам: Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо. Инженеры Риардена обзвонили частных владельцев грузовых машин и пресекли все возражения предложенными деньгами.

Это была третья ожидавшаяся Риарденом партия меди; две предыдущие доставлены не были: одна из компаний закрылась, другая ссылалась на независимые от нее обстоятельства.

Риарден урегулировал дело, не прерывая приема посетителей, не повышая голоса, не обнаруживая признаков напряжения, неуверенности или смущения; он действовал с безошибочной точностью офицера, попавшего вместе со своим подразделением под внезапный огонь, – и Гвен Айвз, его секретарь, действовала как самый невозмутимый его помощник. Ей было уже под тридцать, и приятное, гармоничное лицо этой девушки чем-то напоминало безупречный образчик оборудования кабинета; она являлась одним из самых компетентных работников, и ее манера исполнять свои обязанности предполагала такую рациональную чистоту, что превращала любые проявленные на службе эмоции в непростительное нарушение морали.

Когда ситуация выправилась, она ограничилась единственным комментарием:

– Мистер Риарден, по-моему, мы должны попросить всех наших клиентов производить перевозки через *«Таггерт Трансконтинентал»*.

– Я тоже подумываю об этом, – ответил Риарден и добавил: – Телеграфируйте Флемингу в Колорадо. Пусть покупает медный рудник, который я выбрал.

Риарден вернулся за свой стол; он разговаривал со своим управляющим по одному телефону и коммерческим директором – по другому, сверяя даты и имеющиеся в наличии тонны руды, – нельзя было позволить случаю или чужой небрежности устроить задержку в работе печей даже на час. Шла плавка металла последних рельсов для *«Линии Джона Голта»*, когда раздался звонок и голос мисс Айвз оповестил Риардена о том, что в приемной дожидается его мать, настаивающая на немедленной встрече с сыном.

Риарден требовал от своих родных, чтобы они никогда не являлись на завод без предварительного уведомления. Он был рад тому, что его предприятие было им ненавистно и они редко появлялись в его кабинете. И в данный момент он чувствовал сильнейшее желание выставить мать с территории, которую привык считать своей и только своей. Однако, сделав над собой усилие, большее, чем потребовалось ему на разрешение кризиса, вызванного катастрофой, он негромко ответил:

– Хорошо. Пусть войдет.

Матушка явилась в его кабинет в полной боевой готовности. Она огляделась вокруг так, словно бы понимала, что именно означает для него это помещение, и весьма сожалела о том, что в жизни его есть нечто более важное, чем ее собственная персона. Она долго ерзала в кресле, старательно пристраивая и перекладывая сумочку и перчатки, и при этом жужжала:

– Хороши это порядочки, когда родной матери приходится ожидать в приемной и спрашивать у какой-то стенографистки разрешения увидеть собственного сына, который...

– Мама, у тебя важное дело? У меня сегодня нет ни минуты.

– Проблемы существуют не только у тебя. Конечно, у меня важное дело. Стала бы я ехать в такую даль, если бы оно не было важным?

– И в чем же оно заключается?

– Речь идет о Филиппе.

– Да?

– Филипп несчастен.

– Вот как?

– Он считает неправильным жить на твою милостыню и подачки, не имея за душой самостоятельно заработанного доллара.

– Хорошо! – проговорил Риарден с удивленной улыбкой. – Я все ожидал, что он, наконец, поймет это.

– Чувствительному человеку неприятно находиться в таком положении.

– Безусловно.

– Рада слышать, что ты согласен со мной. Поэтому ты можешь сделать вот что: представить ему работу.

– Что... что?

– Ты должен предоставить ему работу у себя на заводе – конечно, чистую, хорошую, за письменным столом и с собственным кабинетом, при хорошем жалованье, подальше от твоих рабочих и вонючих печей.

Риарден понимал, что слышит эти слова собственными ушами, однако не мог поверить им.

– Мама, ты это серьезно?

– Безусловно. Мне известно, что именно этого он и хочет, только слишком горд, чтобы просить. Но если ты предложишь сам, причем так, как будто хочешь, чтобы он сделал тебе одолжение... тогда, я знаю, он с радостью согласится. Вот почему я должна была приехать к тебе сюда, чтобы он не догадался о моих намерениях.

Подобные вещи просто не укладывались в саму природу сознания Риардена. Мысли его сводились к одной-единственной, настолько очевидной, что не было понятно, как чьи-то глаза могут не заметить ее. Мысль вырвалась наружу в наивном восклицании:

– Но он ничего не понимает в сталеплавильном деле!

– А зачем ему это? Ему нужна просто работа.

– Но он не справится со своими обязанностями.

– Ему нужно добиться уверенности в себе и ощутить собственную значимость.

– Но от него не будет никакого толка.

– Он должен чувствовать себя необходимым.

– Здесь? Зачем он вообще может мне понадобиться?

– Ты же нанимаешь уйму всяких людей.

– Я нанимаю работников. Что может предложить мне он?

– Он ведь твой брат, правда?

– Какое это имеет отношение к делу?

Теперь уже она в свой черед онемела от потрясения. Какое-то мгновение мать и сын смотрели друг на друга, словно разделенные межпланетным расстоянием.

– Он твой брат, – повторила она голосом граммофонной записи магическую формулу, в которой не могла допустить ни малейшего сомнения. – Ему необходимо положение. Ему нужно жалованье, чтобы он воспринимал получаемые им деньги как положенные ему, а не как подавание.

– Как *положенные* ему? Но он не принесет мне и пятицентовой монеты.

– И ты думаешь в первую очередь об этом? О собственной выгоде? Я прошу тебя помочь брату, а ты прикидываешь, как заработать на нем, и не намереваешься помогать ему, если это не принесет тебе дохода... так?

Заметив выражение его глаз, она отвернулась и поспешно заговорила, возвысив голос.

– Да, конечно, ты помогаешь ему – как любому уличному попрошайке. Материальная помощь – вот что ты знаешь и понимаешь. А думал ли ты когда-нибудь о его духовных потребностях и о том, как влияет его положение на уважение к самому себе? Он не хочет жить, как нищий. Он хочет быть независимым от тебя.

– Получая от меня в виде жалованья деньги, не заработанные собственным трудом, он не добьется независимости.

– Ты этого не заметишь. Тебя окружает достаточно людей, зарабатывающих для тебя деньги.

– Итак, ты просишь меня помочь инсценировать жульничество подобного рода?

– Не надо пользоваться такими словами.

– Если это не жульничество, то что же?

– Вот поэтому-то я и не могу разговаривать с тобой – потому что в тебе нет ничего человеческого. У тебя нет жалости, нет симпатии к родному брату, нет сочувствия к его переживаниям.

– Так это жульничество или нет?

– У тебя нет милосердия ни к кому.

– Неужели ты считаешь подобный обман справедливым?

– Ты самый аморальный среди всех людей на свете – тебя интересует только справедливость! В тебе нет ни капли любви!

Он встал, резким и решительным движением давая понять, что разговор закончен и посетительнице давно пора удалиться:

– Мама, я руковожу сталелитейным заводом, а не борделем.

– Генри! – негодование было вызвано только грубым словом, и ничем иным.

– И более не говори мне о работе для Филиппа. Я не поставлю его даже сбивать окалину. Я не пущу его на свой завод. И я хочу, чтобы ты поняла это раз и навсегда. Можешь пытаться помочь ему всеми удобными тебе средствами, только не надо пытаться использовать для этого мой завод.

Морщины на ее мягком подбородке собрались в некое подобие насмешки:

– И что же такое, этот твой завод – храм, что ли?

– А что... пожалуй, да, – проговорил негромко Риарден, удивившись тому, что такая мысль еще не приходила ему в голову.

– Ты когда-нибудь думаешь о людях и о собственных моральных обязательствах перед ними?

– Я не знаю, что тебе угодно называть моралью. Да, я не думаю о людях. Только если я предоставлю место Филиппу, то не смогу посмотреть в глаза любому нормальному специалисту, нуждающемуся в работе и заслуживающему ее.

Мать Риардена встала. Втянув голову в плечи, с праведной горечью в голосе она обрушила на стройную статную фигуру сына последние аргументы:

– Причина всему этому лежит в твоей жестокости, в твоём низменном эгоизме. Если бы ты любил своего брата, то предоставил бы ему работу, которой он не заслуживает. Да, да, *именно потому*, что он не заслуживает ее, – в этом проявилась бы истинная любовь и братские чувства. Зачем тогда нужна любовь? Если человек достоин своей работы, нет никакой добродетели в том, чтобы ее ему дать. Добродетель – это когда тебе дают *незаслуженное* тобой.

Риарден смотрел на мать, как дитя на невиданное кошмарное видение, когда лишь неверие собственным глазам не позволяет покориться ужасу.

– Мама, – проговорил он неторопливо, – ты сама не ведаешь, что говоришь. Я никогда не сумею презирать тебя в достаточной мере, чтобы поверить в то, что ты действительно так считаешь.

Выражение на лице матери озадачило его более всего остального: к читавшемуся на нем поражению примешивалась странная, лукавая и циничная хитрость, словно бы осенившая ее на мгновение мирская мудрость смеялась над его невинностью.

Взгляд этот застыл в памяти Риардена как памятная отметка, указывающая на то, что он столкнулся с непонятным фактом, над которым еще следовало поразмыслить.

Однако Риарден не мог позволить себе отвлечься, не мог принудить свой ум счесть этот факт достойным раздумий, не мог отыскать к нему никаких ключей, кроме непонятного смятения и отвращения, да и времени у него не было, он уже смотрел на следующего посетителя, сидевшего перед его столом, и слушал мольбу о помощи в смертельной опасности.

Человек этот не излагал свое дело подобным образом, однако Риарден понимал, что речь идет о жизни и смерти. Но на словах этот посетитель просил только пятьсот тонн стали.

Он – мистер Уард – возглавлял компанию «Комбайны Уарда» из Миннесоты.

Ничем не примечательная компания обладала безупречной репутацией и принадлежала к тому типу предприятий, которые редко вырастают в крупную компанию, но никогда не разоряются. Мистер Уард был представителем четвертого поколения семьи, владевшей компанией и руководившей ею в меру тех способностей, которыми были наделены ее члены.

Это был мужчина, которому перевалило за пятьдесят, с широким флегматичным лицом. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: человек этот считает любое открытое проявление своего страдания столь же непристойным, как и появление нагишом на публике. В сухой, деловой манере он объяснил, что всегда имел дело – как и его отец – с одной из небольших сталелитейных компаний, которая теперь оказалась поглощенной «*Ассошиэйтед Стил*» Оррена Бойля. Последней заказанной партии металла он ждал уже целый год и потратил последний месяц на попытки попасть на прием к Риардену.

– Я понимаю, что ваше предприятие работает с предельной нагрузкой, мистер Риарден, – сказал Уард. – Я знаю, что вы не в состоянии думать о новых заказах, когда вашим крупнейшим и старым заказчиком приходится дожидаться своей очереди у единственного пристойного – то есть надежного – поставщика стали, оставшегося во всей стране. Я не знаю, что может сподвигнуть вас сделать для меня исключение. Но мне не остается ничего другого, разве что навсегда закрыть ворота своего завода, а я... – тут голос его чуть дрогнул, – ...не могу представить себе, как это сделать... пока еще... поэтому я решил переговорить с вами, невзирая на то, что у меня почти нет никаких шансов... тем не менее я должен был испытать все возможности.

Такой язык Риардену был понятен.

– Мне бы хотелось помочь вам, – проговорил он, – но вы выбрали наихудшее время для просьб, поскольку я выполняю очень большой, особый заказ, имеющий для меня несомненный приоритет.

– Я знаю. Но может быть, вы выслушаете меня, мистер Риарден?

– Конечно.

– Если дело в деньгах, я заплачу столько, сколько вы запросите. Если я могу заинтересовать вас таким образом, что ж, возьмите с меня столько, сколько посчитаете нужным, возьмите двойную цену, только дайте мне сталь. В этом году я могу продавать свои комбайны в убыток себе, чтобы только не закрывать завод. Мне хватит имеющихся средств, чтобы торговать в убыток пару лет, если это окажется необходимым, потому что, как я полагаю, дела не могут оставаться в подобном состоянии слишком долгое время, они должны пойти на поправку, должны наладиться, иначе... – не договорив, Уард твердым тоном заявил: – Они не могут не исправиться.

– Не могут, – согласился Риарден.

Мысль о «*Линии Джона Голта*» не оставляла его – как созвучие слов, внушающее лишь уверенность. Строительство дороги продвигалось вперед. Нападки на его металл прекратились. Ему казалось, что, разделенные многомильным расстоянием, он и Дагни Таггерт видят ныне новый горизонт, не имеющий препятствий, чтобы закончить работу. «Они оставят нас в покое», – думал он. Слова эти звучали боевым гимном: нас оставят в покое.

– Производительность моего завода составляет тысячу комбайнов в год, – продолжил мистер Уард. – В прошлом году мы выпустили три сотни. Я собирал сталь по распродажам банкротов, выпрашивал по несколько тонн в крупных компаниях, просто рыскал по самым неожиданным местам, как мусорщик... ну, не буду докучать вам этим рассказом, только признаюсь, что никогда не думал дожить до того времени, когда мне придется вести дела подобным образом. И все это время мистер Оррен Бойль клялся и божился, что поставит мне сталь на будущей неделе. Однако все, что ему удавалось прокатать, по никому не известным причинам отправлялось к его новым клиентам... я, правда, слышал шепоток, что все эти люди пользуются некоторым политическим влиянием. А теперь я просто не в состоянии пробиться

к мистеру Бойлю. Он уже целый месяц сидит в Вашингтоне. И вся его контора дружно твердит мне, что не в силах ничем помочь, потому что у них нет руды.

– Не стоит тратить на них время, – фыркнул Риарден, – от этой компании ничего не добьешься.

– Понимаете, мистер Риарден, – сказал Уард тоном, полным недоверия к собственному открытию, – по-моему, есть что-то нечистое в том, как мистер Бойль ведет свое дело. Я не понимаю, чего ему нужно. Половина его печей простаивает, однако в прошлом месяце об «*Ассошиэйтед Стил*» писали во всех газетах. И вы думаете о том, сколько они выпустили стали? Нет, там говорилось о тех домах, которые мистер Бойль только что построил для своих рабочих. На прошлой неделе в кино показывали цветной киножурнал о том, как мистер Бойль послал своих представителей во все институты показывать, как разливают сталь и какую роль этот металл играет в жизни человека. Кроме того, мистер Бойль обзавелся радиопрограммой, на которой постоянно идут разговоры о том, насколько сталелитейная промышленность важна для страны... они все твердят, что мы должны сохранить ее целиком. Я не понимаю, что он хочет сказать этим словом... *целиком*?

– А я понимаю. Не думайте об этом. Ему не удастся.

– Знаете ли, мистер Риарден, мне не нравятся люди, которые постоянно уверяют нас в том, что делают все ради блага ближних и дальних. Это совсем не так, и мне не кажется, что подобная идея верна, даже если бы они не лгали. И поэтому я скажу, что сталь мне нужна для того, чтобы спасти собственное дело. Потому что оно *мое*. Потому что, если мне придется закрыть его... впрочем, в наши дни этим никого не проймешь.

– Я понимаю вас.

– Да... Да, вы должны это понимать... И меня в первую очередь заботит этот факт. Но, кроме того, у меня есть и свои клиенты. Они много лет работали со мной. Они рассчитывают на меня. Ведь в наши дни практически невозможно достать любую машину. Сами понимаете, что случится там, в Миннесоте, когда у фермеров не будет инструментов, когда машины станут ломаться посреди уборочной кампании, когда исчезнут запасные части, не будет новых комбайнов... ничего не будет, кроме цветной хроники мистера Оррена Бойля... Ладно... Кроме того, на меня работают люди. Причем некоторые работали еще у моего отца. Им не найти себе другого места. Во всяком случае, сейчас.

«Невозможно, – подумал Риарден, – выжать дополнительное количество стали, если каждая печь, каждый час ее работы и каждая тонна стали расписаны наперед на шесть месяцев для срочных заказов. Однако... „*Линия Джона Голта*”, – напомнил он себе. Если он сумеет закончить ее, то сможет сделать все, что угодно... Он едва ли не ощущал в себе желание немедленно взяться за разрешение еще десятка проблем. Ему казалось, что в этом мире для него нет ничего невозможного.

– Вот что, – произнес он, протягивая руку к телефонной трубке, – позвольте мне связаться со своим управляющим и узнать, какие заказы мы выполняем в ближайшие несколько недель. Быть может, мы сумеем занять по несколько тонн металла от разных заказов и...

Мистер Уард торопливо отвернулся, однако Риарден успел заметить выражение его лица. «Как много значит для этого человека такая малость с моей стороны», – подумал Риарден.

Он поднял трубку, но тут же выронил ее, потому что дверь кабинета распахнулась, и в нее влетела Гвен Айвз.

Подобное нарушение порядка со стороны мисс Айвз казалось немыслимым, как и непривычная буря чувств на ее обыкновенно спокойном лице, как и ничего не видящий взгляд, как и вдруг сделавшаяся неуверенной походка. Она пролепетала:

– Простите меня за вторжение, мистер Риарден, – и он понял, что она не видит кабинета, не видит мистера Уарда, не видит ничего, кроме него. – Я подумала, что должна сообщить вам о том, что законодательные власти только что приняли Закон справедливой доли.

Глядя на Риардена, невозмутимый мистер Уард воскликнул:

– О боже, нет! Нет, только не это!

Риарден вскочил на ноги и замер, неестественно согнувшись, выставив одно плечо вперед. Пауза затянулась только на мгновение. Потом он огляделся и, словно зрение только что вернулось к нему, произнес:

– Простите меня, – охватив взглядом сразу мисс Айвз и мистера Уарда, и опустился обратно в кресло.

– Но нас ведь не информировали о том, что закон вынесен на голосование, так ведь? – спросил он сухим, полностью контролируемым тоном.

– Нет, мистер Риарден. Ход был сделан неожиданно, и на голосование ушло всего сорок пять минут.

– Это вам Моуч сообщил?

– *Нет*, мистер Риарден, – она подчеркнула голосом отрицание. – Это сделал посыльный с пятого этажа, прибежавший, чтобы сообщить мне о том, что минуту назад услышал это по радио. Я позвонила в газеты, желая получить подтверждение. Я попыталась дозвониться в Вашингтон до мистера Моуча, но его кабинет не отвечает.

– Когда он в последний раз давал о себе знать?

– Десять дней назад, мистер Риарден.

– Хорошо. Благодарю вас, Гвен. Постарайтесь дозвониться до него.

– Да, мистер Риарден.

Она вышла. Мистер Уард был уже на ногах со шляпой в руках. Он пробормотал:

– Полагаю, что мне лучше...

– Сядьте! – рявкнул Риарден.

Мистер Уард уныло повиновался.

– Мы, кажется, не закончили наше дело? – проговорил Риарден. Мистер Уард не смог бы охарактеризовать чувство, искажавшее сейчас рот Риардена. – Мистер Уард, и за что же эти грязные ублюдки так ненавидят нас? Ах да, за девиз «Бизнес – прежде всего». Ну что ж, бизнес – прежде всего, мистер Уард!

Подняв телефонную трубку, он попросил соединить его с управляющим.

– Привет, Пит... Что?.. Да, я слышал. Оставь. Поговорим об этом потом. А сейчас я хочу знать, не сможешь ли ты выделить мне сверх плана пятьсот тонн стали в ближайшие несколько недель?.. Да, я знаю... понимаю, что это сложно... назови мне даты и цифры. – Он слушал, торопливо делая пометки на листке бумаги. Сказав, наконец: – Хорошо. Спасибо тебе, – Риарден повесил трубку.

Несколько мгновений он изучал цифры, а потом принялся подсчитывать на краешке листка. Подняв голову, он произнес:

– Вот так, мистер Уард. Вы получите свою сталь через десять дней.

Когда мистер Уард удалился, Риарден вышел в приемную.

Обратившись к мисс Айвз, он сказал ровным голосом:

– Дайте телеграмму Флемингу в Колорадо. Отбой по покупке рудника. Он поймет, почему мне пришлось отказаться от этого приобретения.

Не глядя на него, та склонила голову в знак повиновения.

Риарден повернулся к следующему посетителю и, жестом приглашая в кабинет, промолвил:

– Здравствуйте. Входите.

Обмозгуя все позже, подумал он; человек идет вперед, совершая шаг за шагом, и он не должен останавливаться. На какое-то мгновение в сознании его с неестественной ясностью, с жестокой простотой, едва ли не облегчавшей положение, осталась одна мысль: *это не должно остановить меня*. Фраза эта висела в мозгу, не имея прошлого и будущего. Он не думал о том,

что именно не должно остановить его или почему эти слова превратились в столь критический абсолют. Она полностью завладела его сознанием, Риардену же оставалось только повиноваться. И он продолжил свое движение, делая шаг за шагом. Запланированные на день посетители один за другим сменяли друг друга.

Было уже поздно, когда последний посетитель покинул его кабинет, и Риарден снова вышел в приемную. Его люди уже разошлись по домам. Лишь мисс Айвз сидела за своим столом в опустевшем помещении. Она сидела с прямой спиной, стиснутые ладони лежали на коленях. Она держала голову прямо, не позволяя ей опуститься, лицо ее словно окаменело. По щекам бежали слезы – против воли, беззвучно, вопреки всем усилиям.

Заметив его, она произнесла сухо и виновато «простите-меня-мистер-Риарден», даже не попытавшись скрыть своего лица.

Приблизившись к ней, он негромко сказал:

– Благодарю вас.

Удивленная Гвен повернулась к нему.

Риарден улыбнулся:

– Вам не кажется, что вы недооцениваете меня, Гвен? Что меня еще рано оплакивать?

– Я могла бы примириться со всем остальным, – прошептала она, указывая на лежавшие перед ней газеты, – но они называют это победой антижадности.

Риарден расхохотался:

– Я понимаю, что подобное насилие над английским языком может разъярить кого угодно. Но есть ли что-то еще?

Она снова посмотрела на него, уже более спокойно. Тот, кого она не могла защитить, был для нее единственной точкой опоры в распадавшемся вокруг мире.

Риарден ласково провел рукой по ее волосам; подобные нарушения делового этикета не были в его стиле: он просто молча признавал то, над чем *нельзя* было смеяться:

– Идите домой, Гвен. Сегодня вы больше мне не понадобятся. Я сам намереваюсь вот-вот отправиться к себе. Нет, я не хочу, чтобы вы меня ждали.

Было уже за полночь, когда, все еще сидя за столом над чертежами моста для «*Линии Джона Голта*», он вдруг бросил работу, покорившись внезапному уколу чувств, которых он не мог более избегать, как если бы прекратилось действие какой-то анестезии. Плечи его опустились; сопротивляясь накатившей слабости, Риарден привалился грудью к столу, стараясь удержать над ним голову – так, словно только это отделяло его от капитуляции. Замерев на несколько мгновений, он не ощущал ничего, кроме боли, обжигающей боли, не знающей ни предела, ни пощады... муки, одолевшей душу, тело, разум.

Впрочем, скоро все закончилось. Он поднял голову и сел прямо, чуть откинувшись назад на спинку своего кресла. Теперь Риарден понимал, что весь день интуитивно старался отсрочить это мгновение, но отнюдь не из нерешительности: он даже не думал о нем, ведь думать было попросту не о чем.

Мысль – напомнил он себе – есть оружие, которое используют для действия. Но действия были невозможны. Мысль – это средство выбора. Но никакого выбора ему не оставили. Мысль устанавливает цель, равно как и способ достижения ее. И сейчас, когда, кусок за куском, из него вырывали саму жизнь, он не мог протестовать, не мог найти цели, способа, защиты...

Риарден был подавлен и растерян. Он впервые понял, что никогда не знал страха, так как в любом несчастье прибегал ко всесильному средству – способности действовать. Нет, думал он, речь идет не об уверенности в победе (кто может быть уверен в ней до конца?), просто о *возможности* действовать, кроме которой не нужно ничего другого. И теперь он испытывал, впервые за всю свою жизнь, истинный ужас, самую суть его: его разоряли, предварительно связав ему руки за спиной.

Что ж, сказал он себе, надо идти со связанными руками. Идти, даже в оковах. Иди вперед. *Это не должно остановить тебя...* Но другой голос напоминал о вещах, о которых он не желал даже слышать, которые гнал от себя, протестуя: «Зачем тебе все это нужно... какая от этого польза... чего ради?.. наплюй!»

Но он не мог этого сделать. Сидя над чертежами моста для «*Линии Джона Голта*», он прислушивался к внутреннему голосу, подсовывавшему ему то звуковые, то зрительные образы: решение было принято без него... его не позвали, его не спросили, не дали ему высказаться... они не дали себе труда даже известить его – сказать, что отсекали от него целую часть жизни, и что теперь он должен передвигаться, подобно калеке... Из всех заинтересованных лиц – кем бы они ни были и какие бы цели ни ставили, – не учли мнения лишь его одного.

Вывеска из далекого прошлого оповещала: *Руда Риардена*. Она висела над длинными штабелями черного металла... над годами и ночами... над часами, отсчитывающими капли его крови... которую он отдавал охотно, с восторгом, расплачиваясь за тот далекий день и вывеску над дорогой... расплачиваясь своим усердием, силами, разумом, надеждами.

И все это разрушено по прихоти каких-то людей, которые просто сели и проголосовали... кто знает, чьим интересам повинуюсь?.. И кому ведомо, чья воля наделила их властью?.. Какие ими двигали мотивы... Что знали они?.. Кто из них смог бы без посторонней помощи извлечь из земли просто глыбу руды?.. А теперь он разорен по воле тех, кого он никогда в жизни не видел, тех, кто в жизни не видел этих штабелей металлических слитков... разорен, потому что они так решили. *По какому праву?*

Риарден тряхнул головой. Есть вещи, над которыми лучше не задумываться. Зло непристойно в своем обличье, и вид его оскверняет. Есть предел тому, *что* может видеть человек. И он не должен думать о нем, не должен вглядываться внутрь, не должен докапываться до корней.

На него снизошли спокойствие и пустота; он напомнил себе, что завтра будет в полном порядке. Он простит себе проявленную ночью слабость – слезы позволительны лишь на похоронах – и научится жить с открытой раной, то есть с изувеченной фабрикой.

Риарден встал и подошел к окну. Завод казался пустым и тихим; над черными трубами угадывались красноватые отблески, длинные струи пара соседствовали с диагональными сетками мостовых кранов.

Его терзало отчаянное одиночество, какого он еще никогда не знал в своей жизни.

Он подумал, что Гвен Айвз и мистер Уард обращаются к нему за надеждой, утешением, за новой отвагой. А у кого мог почерпнуть все эти добродетели *он*? Сегодня они были необходимы ему самому как воздух. Он пожалел, что у него нет друга, которому можно было бы доверить свои страдания, не ища при этом у него защиты, на которого можно было опереться в любой момент, просто сказать: «Я так устал» – и обрести мгновение отдыха. Так кого же сейчас из всех на свете он хотел бы увидеть рядом с собой? Шокирующий своей откровенностью ответ немедленно прозвучал в его мозгу: Франсиско д'Анкония.

Гневный смешок вернул его к делам. Сама абсурдность ситуации заставила его успокоиться: так бывает со всяким, подумал Риарден, кто позволяет себе излишне расслабиться.

Стоя у окна, он попытался прогнать из головы все мысли. Однако слова возвращались к нему: *Руда Риардена... Уголь Риардена... Сталь Риардена... Риарден-металл...* Зачем? Зачем он делал все это? Зачем он хочет делать что-то еще?..

Первый день на ступенях рудничного разреза... День был ветреный, он стоял тогда и рассматривал руины сталелитейного завода... А потом – другой день, когда он стоял возле этого окна и старался представить себе мост, способный принять невероятную нагрузку на несколько металлических балок, если соединить их аркой, если поставить диагональную связку с изогнутыми...

Риарден замер на месте. *В тот день ему не пришло в голову соединить связку балок с аркой.*

И уже в следующее мгновение он оказался за столом и, став на одно колено, согнулся над ним; не имея времени сесть, он рисовал прямые и кривые линии, чертил треугольники, торопливо вычислял – на синьках чертежей, прямо на пресс-папье, на чьих-то письмах.

Спустя час он уже звонил по междугородному, ждал, пока зазвонит телефон возле постели в железнодорожном вагоне, говорил, почти кричал:

– Дагни! Я насчет нашего моста... выбрось в корзину все чертежи, которые я прислал вам... Что?.. Ах, это? Пошли их к черту! Незачем обращать внимания на грабителей и их законы! Забудь о них! Дагни, что они нам с тобой! Послушай, помнишь балку, которую ты назвала «балкой Риардена» и так ею восхищалась? Она не стоит и ломаного гроша. Я придумал балку, которая превосходит все, когда-либо существовавшее! Твой мост выдержит четыре поезда сразу, простоит три сотни лет и обойдется тебе дешевле водопроводной трубы. Уже через два дня я пришлю новые чертежи, но вот, не удержался, решил сообщить прямо сейчас. Все просто, надо соединить арки в пучок. Если связать их диагональной оплеткой... Что?.. Не слышу... Ты не простудилась?... За что ты меня благодаришь? Подожди, сейчас я все объясню...

ГЛАВА VIII. ЛИНИЯ ДЖОНА ГОЛТА

Рабочий улыбнулся Эдди Уиллерсу, сидевшему напротив него за столиком.

– Я чувствую себя здесь беглецом, – проговорил Эдди. – Наверно, ты знаешь, почему меня не было несколько месяцев? – Он кивнул в сторону кафельной стены подземного кафе-терия. – Теперь я считаюсь вице-президентом. Вице-президентом, начальником производственного отдела. Только, ради бога, не принимай этого всерьез. Я крепился, пока хватало сил, но потом пришлось сбежать, пусть и всего на один вечер... Когда я первый раз явился сюда обедать после моего, так сказать, повышения, все смотрели на меня такими глазами, что я не осмелился прийти сюда снова. Ладно, пусть себе глазеют. С тобой не так. Я рад, что тебе это безразлично... Нет, я не видел ее две недели. Но каждый день разговариваю с ней по телефону, иногда даже по два раза... Да, я знаю, каково ей там, но она любит свое дело. Что мы слышим в телефонной трубке – звуковые вибрации, так ведь? Так вот, ее голос звучит в трубке так, словно превращается в пульсацию света – если ты понимаешь меня, конечно. Ей радостна эта страшная битва, одинокая и победоносная... О да, она побеждает! Знаешь, почему в последнее время в газетах ничего не слышно о *«Линии Джона Голта»*? Потому что дела на ней идут хорошо... Только... лучшей колее, чем из риарден-металла, еще не существовало на свете, но какая будет от нее польза, если нам не хватит достаточно мощных двигателей, чтобы мы могли воспользоваться ее преимуществами? Посмотри на эти латаные-перелатанные угольные паровозы, которые у нас остались, – они тащатся, как старый трамвай... Однако надежда осталась. Фирма *«Юнайтед Локомотив»* обанкротилась. За последние недели для нас не было более радостного события, потому что завод ее купил Дуайт Сандерс, блестящий молодой инженер, которому принадлежал лучший авиационный завод в стране. Чтобы стать владельцем *«Юнайтед Локомотив»*, ему пришлось продать свой авиационный завод брату. Кстати, из-за Закона справедливой доли. Конечно, все сделано по договоренности между ними, но кто станет винить его? Во всяком случае, мы, наконец, получим от *«Юнайтед Локомотив»* свои дизеля. Дуайт Сандерс сдвинет дело с мертвой точки... Да, она рассчитывает на него. Почему ты это спрашиваешь?.. Да, в данный момент он особенно важен для нас. Мы только что подписали с ним контракт на первые же выпущенные заводом дизельные тепловозы. Когда я позвонил ей, чтобы сообщить о том, что контракт подписан, она рассмеялась и сказала: «Ну, видишь теперь? Разве можно чего-нибудь бояться?..» Она сказала так, потому что знает, – я никогда не говорил ей, но она знает, – что я боюсь... Да, я боюсь... не знаю... я не боялся бы, если бы знал причину, тогда можно было бы что-нибудь сделать. Но это... скажи-ка, а ты не презираешь меня за то, что я стал вице-президентом?.. Разве ты не понимаешь, что это несправедливо?.. Да какая там честь?! Я не знаю, что представляю собой на самом деле: шута, привидение, дублера или просто глупую марионетку. А когда я сижу в ее кабинете, в ее кресле, за ее столом, я чувствую себя еще хуже: я ощущаю себя убийцей... Да нет, я понимаю, что замещаю ее – и это действительно честь –...но отчего-то, непонятным для меня способом, я оказываюсь дублером и Джима Таггерта. Ну зачем ей понадобилось оставлять заместителя? Почему ей потребовалось прятаться? Почему они выставили ее из конторы? Ты знаешь, что ей пришлось перебраться в засиженную мухами дыру, напротив нашего входа в отдел почты и багажа? Загляни как-нибудь, увидишь, как выглядит офис фирмы *«Джон Голт»*. Тем не менее всем известно, что это она по-прежнему руководит *«Таггерт Трансконтинентал»*. Почему ей приходится прятать то великолепное дело, которым она занимается? Почему они не уважают ее? Почему крадут у нее достижения – а я исполняю роль перекупщика краденого? Почему они делают все, что в их власти, чтобы помешать ее успеху, когда она, и только она, спасает их от разорения? Почему они в благодарность за спасение мучают ее?.. Ну, что это ты? Почему ты смотришь на меня такими глазами?.. Да, по-моему, ты все понимаешь... Во всем этом

деле есть нечто непонятное для меня, нечто злое. Вот поэтому-то я и боюсь... Я не думаю, что все так просто уляжется... А знаешь, как ни странно, мне кажется, что это понимают и они сами – Джим, его дружки, все, кто остался в здании. В нем повсюду чувствуются вина и подлость. Вина, подлость и мертвечина. «*Таггерт Трансконтинентал*» теперь уподобилась чело- веку, который потерял свою душу... который предал ее... Нет, это ее не волнует. Она нагр- нула ко мне, когда в последний раз приезжала в Нью-Йорк, – я был в своем кабинете, в ее кабинете то есть, – и вдруг дверь открылась, и она вошла. Вошла и говорит: «Мистер Уиллерс, я ищу место дежурного по станции, не предоставите ли вы мне такой шанс?» Я хотел было обругать их всех, но пришлось расхохотаться: я был рад видеть ее, потом она так весело смея- лась. Она явилась прямо из аэропорта, в брюках и летной куртке – выглядела прекрасно. Лицо было обветренное, но в остальном словно вернулась из отпуска. Она заставила меня остаться на ее месте, то есть в ее кресле, села на стол и принялась рассказывать о новом мосте «*Линии Джона Голта*»... Нет. Нет, я никогда не спрашивал ее о том, почему она выбрала именно это название... Не знаю, что оно говорит ей. Какой-то вызов, насколько я могу понять... Только не знаю, кому... Ну это ничего не значит, совершенно ничего, никакого Джона Голта не суще- ствует, однако мне не хотелось бы, чтобы она пользовалась им... А тебе? Что-то в твоём голосе не слышно особой радости.

* * *

Окна конторы «*Линии Джона Голта*» выходили в темный переулок.

От своего стола Дагни не могла видеть небо: боковая стена огромного небоскреба «*Таг- герт Трансконтинентал*» закрывала ей все поле зрения.

Теперь ее штаб-квартира представляла собой две комнаты, располагавшиеся на первом этаже вконец обветшавшего дома. Он еще не начал рушиться, однако верхние этажи были заколочены как небезопасные для проживания. Здание это являлось приютом полубанкротов, существовавших, как и само оно, благодаря инерции прошлого.

Новое место ей нравилось: оно позволяло сэкономить деньги. В комнатах не было ни лишней мебели, ни лишних людей. Мебель привезли из магазинов старья. Люди были отборными, лучших найти она не могла. Во время редких наездов в Нью-Йорк Дагни не хва- тало времени разглядывать комнату, в которой она работала; она замечала только то, что поме- щение отвечало своему назначению.

Дагни не знала, что заставило ее в тот день остановиться у окна и смотреть на тонкие струйки дождя на стекле, на стену дома на другой стороне переулка.

Перевалило за полночь. Горстка ее сотрудников уже разошлась по домам. К трем часам утра ей нужно было оказаться в аэропорту, чтобы вернуться на своем самолете в Колорадо. Особых дел уже не оставалось, нужно было только дочитать отчеты Эдди. Внезапно поняв, что торопиться нет никакой необходимости, она остановилась, давая себе немного отдохнуть. Чтение отчетов требовало напряжения, на которое сегодня она уже не была способна. Ехать домой и ложиться спать – слишком поздно, отправляться в аэропорт – рановато. Подумав: «Ну и устала же ты», – Дагни с презрением к себе стала с нетерпением ждать, когда это ее мерзкое настроение, наконец, пройдет. Скорей бы уж...

Она прилетела в Нью-Йорк неожиданно, повинувшись внезапному порыву; в своем самолете она оказалась через двадцать минут после того, как услышала короткий абзац в передаче ново- стей. Радио сообщило, что Дуайт Сандерс внезапно, без объяснения причин, отошел от дел. И она поспешила в Нью-Йорк, надеясь отыскать его и отговорить.

Однако, пересекая по воздуху континент, она думала, что не найдет уже и следа этого человека.

Весенний дождь висел за окном недвижимой дымкой тумана. Дагни смотрела на разверстную пещеру почтово-багажного отдела вокзала «*Таггерт*», или, как его теперь стали именовать, терминала. Внутри, среди стальных балок потолка, горели лампочки, на истертом бетонном полу в несколько штабелей был уложен багаж. Отдел казался вымершим.

Дагни посмотрела на трещину, зигзагом протянувшуюся по стене ее кабинета. Вокруг не слышалось ни звука. Она понимала, что осталась одна среди руин этого здания. Здесь нетрудно было вообразить, что кроме нее во всем городе никого не осталось. На нее нахлынуло чувство, с которым она боролась не один год: чувство одиночества, куда большего, чем просто это мгновение, чем царящее в комнате безмолвие, чем сырая и безлюдная улица, – одиночества серой пустоши, одиночества, в котором нет цели, достойного стремления к ней; одиночества ее детства.

Поднявшись, она подошла к окну. Прижав лицо к стеклу, Дагни смогла увидеть все здание «*Таггерт*», стены которого сходились к далекой башенке, упиравшейся, казалось, в самое небо. Она посмотрела на темное окно комнаты, прежде служившей ей кабинетом. Она ощущала себя в ссылке, из которой не возвращаются, – словно бы от здания этого ее отделяло нечто большее, чем тонкий лист оконного стекла, полог дождя и считанные месяцы.

Дагни стояла в комнате, со стен которой осыпалась штукатурка, прижавшись лицом к оконному стеклу, разглядывая недостижимые очертания всего, что она любила. Она не понимала природы своего одиночества. Его можно было описать только так: *это не тот мир, в котором я хотела бы жить.*

Когда-то, в шестнадцать лет, вглядываясь в длинную колею линии *Таггерт*, сходящуюся – как и очертания небоскреба – в одну, находящуюся где-то вдаль точку, она сказала Эдди Уиллерсу, что ей всегда казалось, будто рельсы эти держит в своей руке человек, находящийся где-то за горизонтом, – нет, не ее отец и не один из его сотрудников, – и однажды она встретится с ним.

Тряхнув головой, Дагни отвернулась от окна.

Она вернулась к столу, потянулась к отчетам, но вдруг обнаружила, что лежит грудью на столе, положив голову на руку. Не надо, не поддавайся, подумала она, но даже не шевельнулась, не попыталась распрямиться: какая разница?.. ее ведь сейчас все равно никто не видит...

Дагни никогда не позволяла себе признать свое самое страстное желание.

И теперь оно вновь навалилось на нее. Дагни подумала: если на то, что предлагает ей мир, она отвечает любовью, если она любит эти рельсы, это здание и не только их, если она любит в себе саму любовь к ним – остается еще одно чувство, величайшее среди всех прочих, которое она пропустила. Она думала: надо найти такое чувство, которое суммирует все, что любила она на земле, которое явится *окончательным* выражением этой любви... надо найти ум, подобный ее собственному, ум, способный стать смыслом ее мира, так же как она станет смыслом его мира... Нет, это не будет Франсиско д'Анкония или Хэнк Риарден, или кто-то из тех мужчин, которых она встречала или которыми восхищалась... Человек этот существовал лишь в ее *желании* испытать это чувство, а она еще ни разу не переживала его, хотя отдала бы жизнь за то, чтобы пережить... Припав грудью к столу, Дагни томно шевельнулась; томление это переполняло все ее тело.

«И ты хочешь только этого? Неужели все так просто?» – подумала она, прекрасно понимая, что все как раз много сложнее. Между ее любовью к своей работе и желанием плоти, словно бы одно давало ей право на другое, существовала неразрывная связь, сообщая и тому, и другому целостность и смысл, становясь *завершением*... соответствовать которому мог лишь равный ей человек.

Припав лицом к руке, она шевельнулась, медленно покачав головой. Она никогда не найдет его. И ее представление о жизни, какой она должна быть, останется единственным видением того мира, в котором она хотела бы существовать. Видением, мыслью и теми редкими

мгновениями, которые иногда посещали ее на жизненном пути, чтобы знала их, ценила их и следовала им до самого конца...

Дагни подняла голову.

За окном, на мостовой переулка, лежала тень человека, стоявшего перед дверью ее конторы.

Сама дверь находилась в нескольких шагах в стороне; Дагни не видела его, не видела уличного фонаря – только лежавшую на брусчатке тень. Человек стоял, не шевелясь.

Он стоял прямо у двери так, как если собирался войти, и она уже ожидала услышать стук. Но тень вдруг дернулась, потом повернулась и чуть отошла. Когда человек снова замер, на земле остались только контуры плеч и полей шляпы. Затем тень опять дрогнула и выросла вновь, вернувшись назад.

Дагни не ощущала страха. Она недвижно застыла за столом, выжидая. Мужчина недолго постоял возле двери, а потом отступил назад; он оказался посреди переулка, сделал несколько нервных шагов и снова остановился. Тень его качалась по мостовой каким-то неровным маятником, свидетельствующим о течении беззвучной битвы: человек этот боролся с собой, не решаясь ни войти в дверь, ни уйти прочь.

Дагни наблюдала за происходящим почти отстраненно. У нее не было сил действовать, она могла только смотреть. Словно бы из какой-то дали она гадала: «Кто этот человек? Неужели он следит за ней из темноты? Видел ли он ее в освещенном, не занавешенном окне, одинокую, привалившуюся к столу? Следил ли он за ее отчаянным одиночеством так, как теперь она наблюдает за его душевной борьбой?» Она ничего не чувствовала.

Они были вдвоем посреди безмолвного, мертвого города – ей казалось, что человек этот в милях от нее и воплощает свое безымянное страдание... уцелевший собрат, чьи проблемы так же далеки от нее, как далеки от него ее трудности.

Он отошел, исчезнув за стеной, потом снова вернулся. Дагни выжидала, рассматривая мокрую блестящую мостовую – тень неведомой муки.

Тень вновь отодвинулась. Дагни ждала. И тень не возвратилась.

Тут она вскочила на ноги. Ей нужно было знать результат битвы; теперь, когда неизвестный выиграл – или проиграл – свое сражение, ее обожгло внезапное, срочное желание выяснить, кто этот человек, и понять причину его нерешительности. Пробежав через темную приемную, она распахнула дверь и выглянула наружу.

В переулке было пусто. Мостовая, сужаясь, уходила вдаль, напоминая мокрое зеркало, над которым горели несколько огоньков. Людей поблизости не было. Взгляд Дагни остановился на темной бреши разбитого окна в заброшенном магазине. Позади него начинались двери нескольких жилых домов. Напротив струи дождя блестели в лучах фонаря над черным жерлом открытой двери, уводившим вниз, к подземным тоннелям *«Таггерт Трансконтинентал»*.

* * *

Риарден расписался в бумагах, передвинул их через стол и отвернулся, желая никогда более не вспоминать о них, а еще лучше – перенестись в будущее, к тому времени, когда мгновение это изгладится из его памяти.

Пол Ларкин нерешительно протянул руку к документам; беспомощность его казалась полной лести.

– Хэнк, это всего лишь юридическая формальность, – проговорил он. – Ты же знаешь, я всегда буду считать эти рудники твоими.

Риарден неторопливо покачал головой: чуть шевельнулись мускулы шеи, лицо же осталось практически неподвижным; он вообще вел себя так, словно Ларкин был ему не знаком.

– Нет! – сказал он. – Собственность или принадлежит мне, или нет.

– Но... ты же знаешь, что можешь доверять мне. Тебе не придется беспокоиться относительно поставок руды. Мы заключим договор. Можешь полностью на меня рассчитывать.

– Пока не знаю... Надеюсь, что могу.

– Но я дал тебе слово!

– Никогда не полагаюсь на милость чьего-либо слова.

– Но почему... почему ты говоришь все это? Мы же друзья. И я сделаю все, что тебе нужно. Ты получишь все, что я буду добывать. Рудники по-прежнему принадлежат тебе и не стали ничуть хуже. Тебе нечего опасаться. Я... Хэнк, в чем дело?

– Зачем эти слова?

– Но... но в чем все-таки дело?

– Я не люблю заверений. Не нужно рассказывать, как мне стало теперь хорошо. Это не так. Мы заключили соглашение, которого я не могу расторгнуть. И мне хочется, чтобы ты знал: я в полной мере отдаю себе отчет, в каком положении оказался. Если ты собираешься держать свое слово, не надо *говорить* об этом, просто держи его.

– Почему ты смотришь на меня так, словно я в чем-то виноват? Тебе известно, насколько отрицательно я отношусь к этому закону. Я купил твои рудники только потому, что рассчитывал помочь тебе, то есть потому, что, на мой взгляд, тебе было бы проще продать их другу, чем какому-нибудь незнакомцу. Моей вины тут нет. Мне не нравится этот жалкий закон, я не знаю, кто за ним стоит, я и подумать не мог, что его примут, для меня стало потрясением, когда они...

– Оставь.

– Но я только...

– Почему тебе так хочется порассуждать на эту тему?

– Я... – голос Ларкина сделался умоляющим. – Я ведь дал тебе лучшую цену, Хэнк. В законе сказано «разумная компенсация». И мое предложение оказалось самым выгодным для тебя.

Риарден посмотрел на документы, еще лежавшие на столе. Он представил себе платеж, который получит согласно этим бумагам за свои рудники. Две третьих всей суммы составляли деньги, полученные Ларкиным в качестве займа от правительства; новый закон предусматривал подобные займы, чтобы предоставить «честную возможность» новым владельцам, никогда не имевшим такого шанса.

Оставшуюся треть Ларкину предоставил он сам – по закладной, которую получил за свои рудники... А правительственные деньги, подумал он вдруг, деньги, которые он получил в качестве платежа за свою собственность, откуда они взялись? *Кто* заработал их?

– Можешь не беспокоиться, Хэнк, – проговорил Ларкин с прежней, до тошноты молящей интонацией. – Это всего лишь формальность.

Риарден попытался понять, чего хочет от него Ларкин.

Риарден чувствовал, что помимо самого факта продажи от него ждут чего-то еще – каких-то подобающих случаю слов сознательного гражданина, проявления какого-то нелепого милосердия. Глаза Ларкина в этот миг его наивысшей удачи почему-то походили на глаза самого жалкого бедняка.

– Ну почему ты сердишься, Хэнк? Это всего лишь новые бюрократические формальности. Изменились исторические условия. И в этом никто не виноват, история выше нас. В прошедшем нельзя никого винить. Всегда находится способ продлить существование. Посмотри на других. Они не обращают внимания. Они...

– Они ставят во главе отобранных у них предприятий своих марионеток, которых могут контролировать. Я...

– Ну почему ты предпочитаешь именно такие слова?

– Могу напомнить тебе – хоть ты и так прекрасно это знаешь, – что я не искусен в играх подобного рода. У меня нет времени и желания выдумывать некую разновидность шантажа, чтобы связать тебя по рукам и ногам и продолжать управлять своими рудниками через тебя. Владение собственностью – такая вещь, которую нельзя поделить. И я не хочу удерживать ее, пользуясь твоей трусостью, – постоянно пытаться перехитрить тебя, постоянно придумывать новые угрозы. *Я не хочу* вести дело подобным образом, *не хочу* сотрудничать с трусами. Рудники принадлежат тебе. Если ты хочешь предоставить мне право забирать всю добытую тобой руду, ты так и поступишь. Если же намереваешься обмануть меня – это тоже в твоей власти.

На лице Ларкина проступила обида.

– Это нехорошо с твоей стороны, – произнес он с сухой ноткой праведной укоризны. – Я никогда не давал тебе повода не доверять мне.

Торопливым движением Ларкин подхватил бумаги, тут же исчезнувшие в боковом кармане его пиджака.

Под распахнувшимся на мгновение пиджаком Риарден заметил жилет, натянутый пухлой плотью, пятно пота под мышкой.

И на память ему вдруг пришло лицо, которое он видел двадцать семь лет назад: лицо проповедника – тот прошел мимо него на углу какой-то улицы в каком-то городке, названия которого теперь уж и не вспомнить. Он помнил только темные стены трущоб, осенний вечер, дождь и искривленные праведным гневом губы этого человека, вопиющего в полумраке.

– ...благороднейший идеал – человек, живущий ради ближних своих, чтобы сильный работал для слабого, чтобы обладающий способностями служил тому, кому Господь их не дал...

А потом он увидел парня, каким был он сам, Хэнк Риарден, в восемнадцать лет. Увидел напряженное лицо, быструю походку, владеющий телом пьяный восторг – пьяный от полных энергии бессонных ночей – гордую посадку головы, чистый и ровный взгляд жестких глаз, глаз человека, не зная жалости гнавшего себя к поставленной цели.

А еще он увидел Пола Ларкина, каким тот, должно быть, был в то время, – юнца с лицом состарившегося младенца, льстиво и безрадостно улыбающегося, молящего пощадить его, молящего Вселенную предоставить ему шанс. Если бы кто-нибудь показал этого юнца тогдашнему Хэнку Риардену и сказал, что трудиться он будет ради этого слизняка, присвоившего плоды, добытые трудом его рук, тот бы...

Это трудно было назвать просто воспоминанием, это было подобно удару кулаком по голове.

Вновь обретя способность мыслить, Риарден понял, что почувствовал бы тот парень, которым он когда-то был: желание раздавить ногой эту непристойную тварь, изгнать из бытия всю влажную плоть Ларкина до последнего клочка.

Подобного чувства ему еще не приходилось испытывать. И Риарден не сразу понял, что именно это называется ненавистью.

Он отметил, что на лице поднявшегося и бормотавшего прощальные слова Ларкина почивало обиженно-укоризненное и расстроенное выражение, словно бы потерпевшей стороной был он, Ларкин.

Продавая свои угольные шахты Кену Данаггеру, владельцу пенсильванской угольной компании, Риарден не мог понять, почему процесс не приносит ему особой боли. Никакой ненависти он не ощущал. Кену Данаггеру перевалило за пятый десяток, лицо его было замкнутым и жестким; свой трудовой путь он начинал горняком.

Когда Риарден передавал ему акт на владение новой собственностью, Данаггер бесстрастным тоном сказал:

– По-моему, я не сказал, что весь уголь, который вы будете заказывать у меня, вам будут отгружать по себестоимости.

Риарден с удивлением посмотрел на него:

– Это же противозаконно.

– Кто может знать, сколько денег я передал вам в вашей гостиной?

– Вы говорите о скидке?

– Да.

– Это противоречит двум дюжинам законов. Если вас поймают на этом, то взыщут больше, чем с меня.

– Естественно. Это будет защитой для вас – чтобы не уповать на мою милость.

Риарден улыбнулся; улыбка была радостной, однако он закрыл глаза, словно пропустив удар. А потом качнул головой.

– Спасибо. Но я не из этих. Я не рассчитываю, что кто-то станет работать на меня по себестоимости.

– И я не из этих, – недовольным тоном ввернул Данаггер. – Знаете, Риарден, не думайте, будто я не понимаю, *что* именно получил за так. В наши дни стоимость шахт нельзя выразить в деньгах.

– Вы не просили меня продать мою собственность. Я сам предложил вам купить ее. Мне хотелось, чтобы среди производителей руды нашелся хоть кто-то, похожий на вас, кому я мог бы спокойно передать свои рудники. Таковых не нашлось. Если вы хотите оказать мне любезность, не предлагайте скидок. Предоставьте мне возможность заплатить по полной цене, дать вам больше, чем предлагают остальные, да хоть сдерите с меня три шкуры, но чтобы я первым получал уголь. Со своими делами я управляюсь сам. Лишь дайте мне уголь.

– Вы получите его.

Риарден какое-то время гадал, почему не дает о себе знать Уэсли Моуч. Звонки в Вашингтон неизменно оставались без ответа. А потом он получил письмо в одну строчку, извещавшее его о том, что мистер Моуч подает в отставку со своего нынешнего поста. Через две недели Риарден прочел в газетах, что Уэсли Моуч назначен помощником координатора Бюро экономического планирования и распределения национальных ресурсов.

«Не думай об этом, – говорил себе Риарден в тишине многих ночей, сражаясь с новым для себя ощущением, которое люто ненавидел, – в мир прорвалось немыслимое зло, тебе известно об этом и незачем вникать в детали. Тебе просто придется работать усерднее. *Еще* усерднее, ведь ты же не можешь отдать ему победу!»

С прокатных станов ежедневно сходили новые балки и поперечины из риарден-металла, их немедленно отправляли на место строительства «*Линии Джона Голта*», и первые контуры моста из иссиня-зеленого металла уже поблескивали над каньоном в лучах весеннего солнца.

У него не было времени на боль, не было лишних сил для гнева. Через несколько недель все закончилось, слепящие уколы ненависти прекратились и более не возвращались.

Он уже полностью владел собой, когда вечером позвонил Эдди Уиллерсу:

– Эдди, я в Нью-Йорке, в гостинице «*Уэйн-Фолкленд*». Завтра утром приезжай позавтракать со мной. Я хочу кое-что с тобой обсудить.

Эдди Уиллерс отправился на встречу с тяжелым чувством вины.

Он еще не оправился от потрясения, вызванного Законом справедливой доли; он оставил в его душе тупую боль, подобную ноющему синяку после удара. Город вызывал у него неприязнь: теперь казалось, что в нем затаилась неведомая, злая беда. Он боялся встретиться лицом к лицу с одной из жертв закона: ему мнилось, что он, Эдди Уиллерс, разделяет вину за принятие такого закона столь непонятным и ужасным образом.

Когда он увидел Риардена, ощущение это исчезло. В поведении Риардена ничто даже не намекало на то, что он – жертва. За окнами гостиничного номера по утреннему городу разливался солнечный свет, бледное голубое небо казалось юным, конторы были закрыты, и город выглядел не зловещим, но радостным, полным надежды и готовым приступить к делу,

как и Риарден, которого явно освежил безмятежный сон. На нем был домашний халат, он словно не желал тратить времени на одевание, чтобы поскорее приступить к этой увлекательной игре – своим деловым обязанностям.

– Доброе утро, Эдди. Прости, если я поднял тебя слишком рано. Но другого времени у меня нет. Прямо после завтрака улетаю назад в Филадельфию. Мы можем поговорить за едой.

Его халат был сшит из темно-синей фланели, на нагрудном кармане вышиты белые инициалы «Г.Р.». Он казался молодым и свободным – на своем месте и в этом номере, и в окружающем мире.

Эдди проводил взглядом официанта, вкатившего в комнату столик с завтраком столь ловко и быстро, что это заставило гостя невольно подтянуться. Он понял, что радуется свежей, жестко накрахмаленной белой скатерти, солнечным лучам, искрившимся на серебре, двум чашам с колотым льдом, вмещавшим бокалы с апельсиновым соком. Он и не подозревал, что подобные вещи могут придать сил, доставить удовольствие.

– Я не хотел разговаривать с Дагни на эту тему по телефону, – проговорил Риарден. – У нее и так достаточно дел. А мы можем все уладить за несколько минут.

– Если у меня есть на то полномочия.

Улыбнувшись, Риарден склонился над столом.

– Есть... Эдди, каково в настоящий момент материальное положение «*Таггерт Трансконтинентал*»? Отчаянное?

– Хуже того, мистер Риарден.

– Вы способны оплачивать счета?

– Не полностью. От газет это пока скрывается, но, по-моему, всем известно. Мы в долгах по всей сети дорог, и Джим уже исчерпал любые возможные извинения.

– Тебе известно, что первый платеж за рельсы из риарден-металла должен быть произведен на следующей неделе?

– Да, я это знаю.

– Хорошо, тогда предлагаю вам мораторий. Я намереваюсь предоставить вам отсрочку – вы заплатите мне только через шесть месяцев после открытия ветки компании «*Линия Джона Голта*».

Эдди Уиллерс звякнул своей чашкой кофе о блюдец. Он не мог произнести ни слова.

Риарден усмехнулся:

– В чем дело? Надеюсь, у тебя есть полномочия принять мое предложение?

– Мистер Риарден... просто не знаю... что и сказать.

– Ограничимся простым «о-кей», ничего больше не нужно.

– О-кей, мистер Риарден. – Голос Эдди был едва слышен.

– Я составлю бумаги и перешлю вам. Расскажи Джиму, и пусть он подпишет.

– Да, мистер Риарден.

– Я не люблю вести дела с Джимом. Он потратит два часа, стараясь заставить себя поверить в то, что смог убедить меня, будто своим согласием оказал мне честь.

Эдди сидел, не шевелясь, глядя в свою тарелку.

– В чем дело?

– Мистер Риарден, мне бы хотелось... поблагодарить вас... но я не вижу способа, адекватного тому, что...

– Вот что, Эдди. У тебя есть задатки хорошего бизнесмена, поэтому слушай. Честно и откровенно: в ситуациях подобного рода нет места благодарности. Я делаю это не ради «*Таггерт Трансконтинентал*». Я имею здесь свой простой, эгоистичный, практический интерес. Зачем мне тянуть с вас деньги сейчас, когда платеж может оказаться смертельным ударом для вашей компании? Если бы от вас не было никакого толку, я бы взял свое без колебаний. Я не занимаюсь благотворительностью и не имею дел с некомпетентными людьми. Но пока вы

остаётся лучшей железной дорогой в стране. Когда *«Линия Джона Голта»* пустит свой первый состав, вы станете и самым надёжным финансовым партнёром. Поэтому у меня есть все причины не торопиться. К тому же у вас есть неприятности с моими рельсами. Я намереваюсь дожидаться вашей победы.

– И все же я благодарю вас, мистер Риарден... за нечто большее, чем милосердие.

– Нет. Разве ты не понимаешь? Я только что получил большие деньги... которых не хотел. Мне некуда вложить их. Они для меня бесполезны... И поэтому мне в известном смысле приятно обратить эти деньги против тех же людей в той же битве. *Они* предоставили мне возможность дать вам отсрочку и помочь в борьбе с *ними*.

Эдди вздрогнул, будто слова Риардена угодили прямо в открытую рану.

– Вот это и есть самое ужасное!

– Что именно?

– То, как они поступили с вами, и то, чем вы им отвечаете. Мне бы хотелось... – он умолк. – Простите меня, мистер Риарден. Я понимаю, о делах так не говорят...

Риарден улыбнулся:

– Спасибо, Эдди. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но забудем об этом. Пошлем к черту.

– Да. Только... мистер Риарден, могу я вам кое-что сказать? Я понимаю, что все это совершенно неуместно, и говорю сейчас не как вице-президент.

– Слушаю.

– Мне незачем говорить вам, *что* ваше предложение значит для Дагни, для меня, для всех честных работников *«Таггерт Трансконтинентал»*. Вам это известно. И вы знаете, что можете рассчитывать на нас. Но... но мне кажется ужасным, что свою выгоду получит и Джим Таггерт, что вы будете спасать его и ему подобных после того, что они...

Риарден рассмеялся.

– Эдди, что нам до подобных ему людей? Мы ведем вперед экспресс, а они едут на крыше, вопя при этом, что они-то и есть здесь самые главные. Ну и что нам с того? Нам ведь хватит сил везти их с собой – разве не так?

* * *

«Ничего у них не выйдет».

Летнее солнце зажигало огнем городские окна, рассыпало искры по уличной пыли. Столбы раскаленного воздуха поднимались над крышами к белой странице календаря. Моторчик его медленно вращался, отсчитывая последние дни июня.

– Ничего у них не выйдет, – говорили люди. – Первый же поезд, пущенный *«Линией Джона Голта»*, раздавит рельсы. Он не доедет до моста. А если доедет, мост рухнет уже под тепловозом.

Товарные поезда катились вниз со склонов Колорадо по колее *«Феникс-Дуранго»* на север, к Вайомингу, и дальше, к основной линии *«Таггерт Трансконтинентал»* – на юг, к Нью-Мексико, и главной линии *«Атлантик Саусерн»*. Вереницы цистерн разбегались во все стороны от месторождений Уайэтта к предприятиям, находящимся в далеких штатах. О них не говорили. С точки зрения публики, составы цистерн передвигались столь же бесшумно, как и лучи, и их можно было заметить только после того, как содержимое их преобразовывалось в свет электроламп, жар печей, вращение двигателей. Но и в этом качестве они оставались незаметными, их принимали за неизменную данность.

Железная дорога *«Феникс-Дуранго»* должна была закончить свое существование 25 июля.

– Хэнк Риарден – просто жадное чудовище, – говорили люди. – Только посмотрите, какое состояние он сколотил. А что дал народу взамен? Проявлял ли он хоть раз социальную совесть?

Деньги, вот что ему нужно. Ради денег он сделает все, что угодно. Что ему до тех людей, которые погибнут, когда рухнет его мост?

– Таггерты поколение за поколением были стаей стервятников, – говорили люди. – Это у них в крови. Достаточно вспомнить, что первым в этой семейке был Нат Таггерт, самый отвратительный и антиобщественный негодяй на всем белом свете, всласть попивший народной кровушки, чтобы выжать из нас свое состояние. Нечего и сомневаться, что любой из Таггертов без колебаний рискнет чужими жизнями, чтобы получить свой доход. Они накопили дрянных рельсов, потому что те оказались дешевле стальных, – что для них катастрофы, искалеченные человеческие тела, раз они уже взяли плату за проезд?

Люди говорили так, потому что слышали это от других. Никто не знал, почему об этом судачат буквально повсюду. Они ни от кого не требовали разумных объяснений.

– Разум, – вещал доктор Притчетт, – представляет собой самый наивный из всех предрассудков.

– Что служит источником общественного мнения? – вторил ему Клод Слагенхоп по радио. – Не существует никакого источника общественного мнения. Оно возникает само собой. Как реакция коллективного инстинкта, коллективного разума.

Оррен Бойль дал интервью «Глоб», крупнейшему журналу новостей. Темой интервью являлась серьезная социальная ответственность металлургов; особо подчеркивался тот факт, что металл выполняет в жизни общества множество критически важных функций, и люди *физически* зависят от его качества.

– На мой взгляд, не следует использовать человеческие жизни в качестве морских свинок при испытании нового продукта, – сказал он. Бойль не называл имен.

– Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что этот мост рухнет, – сообщил главный металлург «Ассошиэйтед Стил», выступая в телевизионной программе. – Я ничего не утверждаю. Я просто готов заявить, что если бы у меня были дети, я не позволил бы им находиться в том поезде, который первым проедет по этому мосту. Таково мое *личное* мнение, ничего больше, поскольку я слишком люблю детей.

– Не стану утверждать, что хитроумная выдумка Риардена и Таггертов рухнет, – писал Бертрам Скаддер в газете «Будущее». – Может быть, рухнет, а может, и нет. По сути, это неважно. Существенно здесь другое: какой защитой располагает общество против наглости, эгоизма и жадности двух необузданных индивидуалистов, чье прошлое подозрительным образом лишено поступков, направленных на коллективное благо? Эти двое, по всей видимости, собираются рискнуть жизнями наших собратьев по роду людскому ради собственных представлений об авторитетности своего суждения, вопреки убежденности подавляющего большинства признанных экспертов. Следует ли обществу допускать такое? Если этот мост рухнет, не слишком ли поздно будет принимать предохранительные меры? С тем же успехом можно запереть конюшню после того, как лошадь уже украли! Наша рубрика всегда придерживалась того мнения, что некоторых лошадей следует стреноживать и запереть ради общего общественного блага.

Группа лиц, называвшая себя Комитетом бескорыстных граждан, собирала подписи под петицией, требующей годичной экспертизы дорог «*Линии Джона Голта*» правительственными экспертами, прежде чем пустить по ней первый поезд. В петиции утверждалось, что подписавшие ее не имеют другого мотива, кроме чувства долга перед обществом. Первые подписи поставили Бальф Юбэнк и Морт Лидди. Все газеты уделили петиции изрядное место на своих страницах и в комментариях. Тон обсуждения был сочувственным, поскольку петицию подписывали люди явно незаинтересованные...

Ходу работ «*Линии Джона Голта*» газеты не уделяли внимания. На место строительства не послали ни одного репортера. Общую политику прессы сформулировал еще пять лет назад известный редактор:

– Объективных фактов не существует. Каждое сообщение основано на чьем-либо мнении. Поэтому описывать факты бесполезно.

Несколько бизнесменов решили обдумать вероятность того, что риарден-металл может обладать определенной коммерческой ценностью. Они принялись за изучение этого вопроса. Они не стали нанимать металлургов, чтобы те исследовали образцы металла, не попросили инженеров посетить место строительства. Они просто провели опрос общественного мнения. Десяти тысячам людей, явным образом представляющим все существующие разновидности человеческого интеллекта, задали единственный вопрос:

– Согласны ли вы совершить поездку на поезде «*Линии Джона Голта*»?

Подавляющее большинство ответили:

– Ну уж нет, сэр!

Голосов в поддержку риарден-металла слышно не было. И никто не придавал значения тому, что акции «*Таггерт Трансконтинентал*» пусть медленно и нерешительно, но ползли вверх на фондовом рынке.

Были и такие люди, которые следили за ситуацией и подстраховывались. Мистер Моуэн приобрел акции Таггертов на имя своей сестры. Бен Нили купил их, прикрывшись именем кузена. Пол Ларкин при покупке воспользовался псевдонимом.

– Не верю я в эти противоречивые махинации, – высказался один из таких людей.

– Ну да, конечно, сооружение ветки производится согласно графику, – пожимал плечами Джеймс Таггерт на собрании своего правления. – Ну да, вам совершенно незачем сомневаться. Моя дорогая сестрица не человек, а мыслящий двигатель внутреннего сгорания, поэтому можно не удивляться ее успехам.

Уловив слушок о том, что несколько балок моста не выдержали нагрузки и переломились, причем погибли трое рабочих, Джеймс Таггерт всполошился и бросился к своему секретарю, велел ему связаться по телефону с Колорадо. Он ожидал звонка, припав к столу секретаря, словно бы рассчитывая найти у него защиту; глаза его наполняли неподдельная паника. И все же рот его кривило подобие улыбки.

– Хотелось бы мне сейчас увидеть физиономию Генри Риардена.

Узнав, что слух оказался ложным, он произнес:

– Слава богу!

Тем не менее в голосе его угадывалось разочарование.

– Ну что ж! – молвил своим друзьям Филипп Риарден, до которого долетел тот же слух. – Быть может, иногда способен ошибаться и мой братец. Похоже, он все-таки не настолько велик, как ему кажется.

– Дорогой мой, – сказала Лилиан Риарден своему мужу. – Я так защищала тебя вчера за чаем, когда женщины стали говорить, что Дагни Таггерт – твоя любовница... Только, ради бога, не надо смотреть на меня такими глазами! Я знаю, что это невозможно, и поэтому устроила им хорошую взбучку. Просто эти глупые сучки не могут представить себе другой причины, которая может заставить женщину восстать против всего общества ради твоего металла. Конечно, мне известно, что это не так. Я знаю, что эта таггертша – существо бесполое, и ты ей полностью безразличен... кроме того, дорогой, я понимаю, что если бы у тебя хватило на это отваги – а откуда ей взяться, – ты не стал бы увлекаться счетной машинкой в шикарном костюме, а предпочел бы ей какую-нибудь светловолосую женственную хористочку, которая... ну, Генри, я ведь просто шучу!.. Не смотри на меня такими глазами!

– Дагни, – жалким голосом произнес Джеймс Таггерт, – что с нами будет? «*Таггерт Трансконтинентал*» катастрофически теряет популярность!

Дагни рассмеялась, легко и радостно, словно бы радость постоянно присутствовала в ее душе и мгновенно вырывалась на свободу. Она смеялась, непринужденно открыв рот, белые зубы выделялись на загорелом лице. Глаза ее, привыкшие к бескрайним просторам, глядели

куда-то вдаль. Наезжая последнее время в Нью-Йорк, она смотрела на Джима так, словно и не видела его; он это заметил.

– Что мы намереваемся делать? Общественное мнение против нас!

– Джим, ты помнишь, что рассказывали о Нате Таггерте? Помнишь, он говорил, что завидует только одному из своих конкурентов, тому, кто сказал: «А общественность пусть катится к черту!» Он жалел, что слова эти не принадлежат ему самому.

В те летние дни, в тяжелом покое городских вечеров, случались мгновения, когда одинокий человек, мужчина или женщина – на парковой скамейке, пересечении улиц, у открытого окна – мог видеть в газете краткое, как бы случайное упоминание о продвижении строительства дороги «*Линия Джона Голта*», мог посмотреть на город и почувствовать внезапный порыв надежды. Это были или самые молодые, видевшие в этом строительстве событие из тех, которые им так хотелось бы увидеть... или самые старые – те, кто помнили еще тот мир, в котором такие события происходили. Их не интересовали железные дороги как таковые, они не разбирались в бизнесе, но им было ясно одно: кто-то вступил в борьбу с великими трудностями и уверенно идет к победе. Они не восхищались целями борцов, они верили голосу общественного мнения, и все же, читая о том, как растет ветка, почему-то вдруг воодушевлялись, не зная, отчего при этом становятся проще их собственные проблемы.

Тихо и незаметно для всех, кроме грузового отделения «*Таггерт Трансконтинентал*» в Шайенне и конторы «*Линии Джона Голта*» в темном переулке, собирался груз, скапливались заказы на вагоны для первого состава, которому предстояло пройти по новой ветке. Дагни Таггерт заранее оповестила, что он станет не пассажирским экспрессом, полным знаменитостей и политиков, как обычно бывало, но грузовым составом особого назначения.

Грузы поступали с ферм, лесопилок, с разбросанных по всей стране рудников, из самых далеких мест, где люди выживали только благодаря новым заводам в Колорадо. Об этих клиентах железной дороги никто не писал, потому что их нельзя было отнести к людям незаинтересованным.

Железная дорога «*Феникс-Дуранго*» должна была закрыться 25 июля. Первый поезд «*Линии Джона Голта*» должен был выйти 22 июля.

– Значит так, мисс Таггерт, – проговорил делегат Профсоюза машинистов. – Не думаю, что мы позволим вам отправить этот поезд.

Дагни сидела за потрепанным столом в своем кабинете.

Не пошевелившись, она произнесла:

– Убирайтесь отсюда.

С подобным обращением делегат не сталкивался в отполированных до блеска кабинетах железнодорожного начальства. Он возмутился:

– Я пришел, чтобы сказать вам...

– Если вам действительно есть, что мне сказать, начните сначала.

– Что?

– Только не надо говорить, будто вы чего-то там не позволите мне.

– Хорошо, я хотел сказать, что мы не позволим своим людям обслуживать ваш поезд.

– Это другое дело.

– Мы так решили.

– Кто это «мы»?

– Комитет. То, что вы делаете, является нарушением прав человека. Вы не смеете отправлять людей на верную смерть – когда этот мост рухнет, – только для того, чтобы положить деньги в свой карман.

Дагни достала из стола лист чистой бумаги и подала своему гостю.

– Пишите, – предложила она, – и мы заключим контракт.

– Какой контракт?

– О том, что ни один из членов вашего профсоюза не будет обслуживать локомотивы «Линии Джона Голта».

– Нет... подождите минуту... я не говорил...

– Значит, вы не хотите подписывать такой контракт?

– Нет, я...

– Но почему, раз вам известно, что мост рухнет?

– Я только хочу...

– Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите душить своих людей за счет тех работ, которые я могла бы им предоставить, – и меня – уже руками ваших людей. Вы хотите, чтобы я давала вам рабочие места, и чтобы я не имела возможности делать это. Я предоставляю вам выбор. Поезд этот совершит свой рейс. Вам этому не помешать. Но вы можете выбрать, ваш человек поведет его или нет. Если вы предпочтете запрет, поезд все равно пойдет, даже если мне самой придется встать на место машиниста. Тогда, если мост рухнет, вообще не останется ни одной железной дороги. Но если он устоит, ни один из членов вашего профсоюза никогда не получит места на поездах «Линии Джона Голта». Если вы считаете, что я нуждаюсь в ваших людях больше, чем они во мне, примите соответствующее решение. Если вы понимаете, что я могу водить локомотив, а ваши люди не способны построить железную дорогу, делайте другой вывод. Итак, вы намереваетесь запретить своим людям обслуживать этот состав?

– Я не говорил, что мы запретим это. Я ни слова не сказал ни о каком запрете. Но... но вы не можете заставить людей рисковать своими жизнями в совершенно никем не опробованном месте.

– Я не собираюсь никого *заставлять* идти в этот рейс.

– Что же вы намерены делать?

– Я намерена найти добровольцев.

– А если таких не сыщется?

– Это уже будет моей проблемой, а не вашей.

– Тогда позвольте мне сообщить вам, что я не буду советовать им соглашаться на ваше предложение.

– Да ради бога. Советуйте все, что вам угодно. Говорите, что хотите. Но оставьте им право выбора. Не смейте ничего запрещать.

Объявление, появившееся во всех таггертских депо, было подписано: «Эдвин Уиллерс, вице-президент, руководитель производственного отдела». В нем говорилось, что машинисты, желающие провести первый состав по «Линии Джона Голта», должны сообщить об этом мистеру Уиллерсу не позднее одиннадцати часов утра 15 июля.

Утром пятнадцатого числа, в четверть одиннадцатого, на столе Дагни зазвонил телефон. Звонил Эдди с высоты своего кабинета в находящемся напротив ее окна здании Таггерт.

– Дагни, мне кажется, тебе лучше прийти сюда, – в голосе его звучали странные нотки.

Поспешно перебежав улицу, по мраморным лестницам и коридорам она поднялась к двери, на которой под стеклянной табличкой до сих пор значилось ее имя: «Дагни Таггерт».

Она распахнула дверь.

Приемная была набита битком. Люди стояли за столами, жались у стен. Увидев ее, они сняли шляпы посреди внезапно наступившего молчания. Она видела седеющие головы, мускулистые плечи, улыбающиеся лица своих сотрудников за столами, Эдди Уиллерса у двери в кабинет. Все знали, что говорить ничего не нужно.

Эдди так и остался возле двери. Толпа разделилась, пропуская ее. Эдди повел рукой, указывая внутрь кабинета, на груды лежавших на столе писем и телеграмм.

– Дагни, желание высказали все до единого, – проговорил он. – Все машинисты «*Таггерт Трансконтинентал*». Все, кто мог, явились сюда от самого Чикагского отделения. – Он снова кивком указал на почту: – А вот и все остальные... Сказать по правде, не дали знать о себе

только трое: один сейчас в отпуске в северных лесах, другой лежит в больнице, а третий отсчитывает срок за неосторожное вождение автомобиля.

Дагни посмотрела на машинистов. За торжественностью лиц прятались улыбки. Дагни склонила голову в знак признательности. Она замерла так на мгновение, словно выслушивая приговор, зная, что приговор этот относится лично к ней, ко всем, кто находился в этот момент в приемной, и к миру, оставшемуся за ее стенами.

– Благодарю вас, – проговорила она.

Большинство людей неоднократно видели ее. И глядя сейчас на Дагни, когда она подняла голову, многие из них подумали – с удивлением и впервые, – что их вице-президент и начальник производственного отдела – женщина и что женщина эта прекрасна.

Где-то в задних рядах толпы кто-то вдруг выкрикнул веселым голосом:

– Долой Джима Таггерта!

Ему ответил взрыв веселья. Люди смеялись, кричали, хлопали в ладоши. Острота совершенно не стоила такой реакции. Однако она предоставила всем в комнате тот предлог, в котором они нуждались. Они словно бы аплодировали не самой шутке, а словам, нахально отрицавшим власть.

И каждый в комнате прекрасно это знал.

Дагни подняла руку.

– Вы торопитесь, – проговорила она со смехом. – Подождите еще неделю. Тогда у нас будет праздник. И поверьте, мы отметим его как следует!

Приступили к жеребьевке. Дагни достала один свернутый листок из кучки, содержавшей все имена. Победителя среди присутствующих не оказалось, однако в компании он числился одним из лучших машинистов – Пат Логан, машинист *«Кометы Таггерта»* из Небраски.

– Дай телеграмму Пату и сообщи ему, что он понижен в должности на грузовой состав, – сказала она Эдди. И непринужденным тоном добавила, словно бы решение было принято только что, однако не сумела никого этим обмануть: – Ах да, сообщи ему, что в этом рейсе я буду находиться рядом с ним в кабине локомотива.

Стоявший рядом старый машинист усмехнулся и произнес:

– Я ждал этого, мисс Таггерт.

* * *

Риарден как раз был в Нью-Йорке, и Дагни позвонила ему из своего кабинета.

– Хэнк, я намереваюсь завтра устроить пресс-конференцию.

– Не может быть! – громко рассмеялся он.

– Да, – голос ее звучал вполне серьезно, пожалуй, даже чересчур серьезно. – Газеты вдруг обнаружили, что я существую на свете, и начали задавать вопросы. Я намереваюсь ответить на них.

– Удачи тебе.

– Спасибо. А ты завтра в городе? Мне хотелось бы, чтобы ты присутствовал.

– Хорошо. Такое событие нельзя пропустить.

Репортеры, собравшиеся в конторе *«Линии Джона Голта»*, были молодыми людьми, которых учили думать, что работа их заключается в сокрытии от мира природы происходящих событий. Они исполняли изо дня в день одну и ту же работу, присутствуя в качестве аудитории на выступлении очередной знаменитости, изрекающей фразы об общественном благе, старательно изложенные таким образом, чтобы не содержать никакого смысла. Их ежедневная обязанность заключалась в сочетании слов в любой удобной им комбинации – до тех лишь пор, пока слова не начинали складываться в последовательность, обладавшую конкретным смыслом. Посему они просто не могли понять смысла того интервью, которое им давали.

Дагни Таггерт сидела за столом в кабинете, скорее напоминавшем подвал трущоб. Она была в темно-синем, превосходно пошитом костюме и белой блузке, отчего выглядела очень официально и почти по-военному элегантно. Она сидела, выпрямив спину, и держалась с подчеркнутым достоинством, пожалуй, даже излишним.

Риарден расположился в углу комнаты на ломаном кресле, перебросив ноги через один из подлокотников, опершись спиной о другой. Он держался мило и неофициально, пожалуй, несколько преувеличенно неофициально.

Чистым и монотонным голосом, тоном военной реляции, не обращаясь к бумагам, глядя прямо на собравшихся, Дагни сообщала техническую информацию относительно ветки «*Линия Джона Голта*», называя точные характеристики рельсов, несущую способность моста, метод сооружения, стоимость. После с сухой интонацией банкира она принялась объяснять финансовые перспективы дороги, приводить цифры ожидавшегося ею крупного дохода.

– Это все, – наконец проговорила она.

– Все? – поинтересовался один из репортеров. – А вы не собираетесь сделать через нас обращение к публике?

– Вы уже выслушали его.

– Но, черт... то есть разве вы не собираетесь что-то сказать в свою защиту?

– Защиту? От чего?

– Вы не хотите высказаться в поддержку своей линии?

– Я сделала это.

Человек, губы которого сложились в вечной насмешке, проговорил:

– Итак, мне бы хотелось знать – так, кажется, это сформулировал Бертрам Скаддер, – как мы можем оградиться от неприятностей, если ваша *линия* окажется некачественной?

– Не пользуйтесь ею.

Другой спросил:

– Не хотите ли вы объяснить нам причины, побудившие вас к сооружению этой линии?

– Я уже сказала вам: прибыль, которую я рассчитываю получить.

– Ах, мисс Таггерт, не надо так говорить! – воскликнул один из репортеров, еще совсем мальчишка. Как новичок, он честно относился к своей работе, кроме того, Дагни Таггерт, неведомо почему, была ему симпатична. – Не надо говорить такие слова. Именно за это все и ругают вас.

– В самом деле?

– Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы хотели сказать это не так, как оно прозвучало... кроме того, вы, конечно, хотите дать свои пояснения.

– Ну, что ж, пожалуйста, если хотите. В среднем доход от железной дороги составляет два процента от вложенного капитала. Отрасль промышленности, требующая столь многого и так мало дающая, должна считаться экономически невыгодной. Как я уже объясняла, стоимость ветки по отношению к тому движению, на которое она рассчитана, позволяет мне предполагать доход не менее чем в пятнадцать процентов от наших капиталовложений. Конечно, в настоящее время любой промышленный доход, превышающий четыре процента, считается ростовщическим. И тем не менее я сделаю все возможное, чтобы «*Линия Джона Голта*» принесла мне доход в двадцать процентов. Я строила свою дорогу именно по этой причине. Достаточно ли ясно я выразилась?

Юноша беспомощно посмотрел на нее.

– Но вы же не хотите, мисс Таггерт, зарабатывать только для себя. Вы имеете в виду в первую очередь мелких вкладчиков? – с надеждой в голосе предположил он.

– Отнюдь. Я являюсь одним из крупнейших держателей акций «*Таггерт Трансконтинентал*», и поэтому моя доля общего дохода станет одной из крупнейших. А вот мистер Риарден

находится в более выигрышном положении, поскольку у него нет пайщиков, с которыми необходимо делиться. Может быть, вы хотите высказаться сами, мистер Риарден?

– Да, весьма охотно, – согласился Риарден. – Поскольку формула риарден-металла является моей профессиональной тайной и учитывая, что производство его обходится мне куда дешевле, чем вы, ребята, можете себе представить, я рассчитываю в ближайшие несколько лет содрать с общества доход в двадцать пять процентов.

– Что вы имеете в виду под словами «содрать с общества», мистер Риарден? – спросил юный журналист. – Если я правильно понял вашу рекламу, вы пишете, что ваш металл прослужит в три раза дольше любого другого и обойдется при этом в половину цены. Так разве не общество окажется в выигрыше?

– О, неужели вы это заметили? – усмехнулся Риарден.

– Разве вы оба не понимаете, что ваши слова предназначены для печати? – спросил человек с искривленным ухмылкой ртом.

– Но, мистер Гопкинс, – проговорила Дагни с вежливым удивлением, – разве у нас могут быть другие причины для беседы с вами, кроме публикации этого интервью?

– И вы хотите, чтобы мы передали все, что вы говорите, *дословно*?

– Надеюсь, вы сделаете это, причем без лишних сомнений. Не угодно ли записать одну краткую формулировку? – Она дождалась, пока все приготовят карандаши, и продиктовала: – Мисс Таггерт говорит, кавычки открываются: «Я рассчитываю заработать кучу денег на *“Линии Джона Голта”*. Я уже заработала их». Кавычки закрываются. Благодарю вас.

– Есть еще вопросы, джентльмены? – поинтересовался Риарден.

Вопросов не последовало.

– Теперь я должна сообщить вам об открытии ветки *«Линия Джона Голта»*, – сказала Дагни. – Первый поезд отойдет от станции *«Таггерт Трансконтинентал»* в Шайенне, Вайоминг, в четыре часа дня двадцать второго июля. Специальный грузовой состав включает восемьдесят вагонов. Его будет тянуть четырехсекционный дизельный тепловоз мощностью в восемь тысяч лошадиных сил, который я заимствую ради такой okazji у *«Таггерт Трансконтинентал»*. Он проследует без остановки до *«Узла Уайэтт»*, Колорадо, при средней скорости сто миль в час... Прошу прощения? – спросила она, услышав чей-то протяжный свист.

– Как вы сказали, мисс Таггерт?

– Я сказала, сто миль в час – при всех уклонах, поворотах и прочем.

– Но разве не следовало бы для начала снизить скорость против нормальной... Мисс Таггерт, неужели вы не имеете и крохи уважения к общественному мнению?

– Имею. И если бы не общественное мнение, я бы сочла достаточной среднюю скорость в шестьдесят пять миль в час.

– А кто поведет такой поезд?

– С этим у меня были некоторые сложности. Свои услуги предложили все машинисты фирмы *«Таггерт»*. Так же поступили кочегары, тормозные рабочие и кондукторы. Нам пришлось бросать жребий на каждое место в поездной бригаде. Поведеет поезд Пат Логан, машинист *«Кометы Таггерта»*, кочегарить будет Рей Макким. Я поеду вместе с ними в кабине тепловоза.

– Неужели?

– Приглашаю всех присутствовать на открытии. Оно состоится двадцать второго июля. Мы рассчитываем на присутствие представителей прессы. Вопреки обыкновению, я хочу добиться широкой рекламы. Мне бы хотелось видеть на открытии линии прожектора, микрофоны и телекамеры. Предлагаю поместить несколько камер возле моста. Обрушение его предоставит вам отличные кадры.

– Мисс Таггерт, – спросил Риарден, – почему вы не упомянули о том, что я также буду находиться вместе с вами на тепловозе?

Дагни посмотрела на него через всю комнату, и в тот момент, когда взгляды их встретились, они как бы остались наедине посреди этой толпы.

– Ну конечно, мистер Риарден, – ответила она.

* * *

Она больше не видела его до 22 июля, когда оба они снова обменялись взглядами на платформе станции «*Таггерт*» в Шайенне.

Шагнув на эту платформу, она не искала никого глазами: чувства ее смешались, ей казалось, что она не видит неба, солнца, не слышит ропота собравшейся колоссальной толпы, а полностью погрузилась в волнение и свет.

Тем не менее первым она заметила именно его, а потом не могла понять, сколько времени смотрела лишь на него и ни на кого другого. Риарден стоял возле локомотива и разговаривал с кем-то; его собеседника она не видела.

Одетый в серые брюки и такую же рубашку, он казался просто опытным механиком, однако лица окружающих были обращены к нему – перед ними стоял сам Хэнк Риарден, глава «*Риарден Стил*». Высоко над его головой она заметила литеры «*ТТ*» на сверкавшей серебристым металлом лобовой части тепловоза. Контур его уходил назад, образуя стрелу, нацеленную в пространство.

Их разделяли расстояние и толпа, однако глаза его тут же нашли Дагни, едва она появилась на платформе. Они переглянулись, и она сразу поняла – его переполняют те же чувства, что и ее саму. Их ожидала не торжественная поездка, от которой зависело будущее обоих, но полный радости день. Они сделали свое дело. И сейчас никакого будущего просто не существовало. Они заслужили свое настоящее.

Истинную легкость можно ощутить, лишь чувствуя огромную значимость *себя*, сказала она ему однажды. И что бы ни значил этот первый рейс для других, для Дагни и Хэнка смысл этого дня был заключен лишь в них самих. Чего бы ни искали все остальные в собственной жизни, право переживать то, что оба чувствовали в этот момент, было именно тем, к чему они всегда стремились. Они словно бы говорили друг с другом над головами толпы.

А потом Дагни отвернулась.

Она вдруг заметила, что и на нее тоже смотрят, что ее окружают люди, что она смеется и отвечает на вопросы.

Дагни не ожидала увидеть *столько* народу. Люди заполняли платформу, пути, площадь перед станцией; они стояли на крышах товарных вагонов на запасных путях, теснились возле окон домов. Их притягивало сюда нечто носившееся в воздухе, нечто заставившее Джеймса Таггерта в последний момент изъять желание присутствовать на открытии ветки «*Линия Джона Голта*». Она запретила брату.

– Если ты явишься туда, Джим, я прикажу вышвырнуть тебя с твоей собственной станции. Это событие не для тебя.

Представлять «*Таггерт Трансконтинентал*» на открытии был назначен Эдди Уиллерс.

Глядя на толпу, она немного стеснялась того, что все эти люди глазят на нее в такой момент, настолько личный, что никакое общение просто не было возможным, и в то же время ощущала, что это правильно, – им положено находиться здесь, они *должны* хотеть увидеть ее, ибо зрелище свершения является самым великим даром, который человек способен предложить другим людям.

Она ни на кого не держала зла. Все пережитое и испытанное ею теперь превратилось в какой-то внешний туман, сделалось подобием боли, еще не угасшей, но уже не имеющей прежней силы. Все неприятное не могло устоять перед ликом реальности, и смысл этого дня был столь ослепительно и неистово ясен, как солнечные блики на серебристом металле локо-

мотива. Это должны были понять все вокруг, никто не мог усомниться в этом, и ей было не до ненависти.

Эдди Уиллерс внимательно следил за Дагни. Он стоял на платформе в кругу чиновников фирмы «*Таггерт*», начальников отделений, политических лидеров и самых разнообразных местных администраторов, которых уговорами, подкупом и шантажом заставили дать разрешение на проезд поезда через города на скорости сто миль в час. В этот день и в этот час титул вице-президента обрел для Эдди реальность, и он с достоинством нес его. Однако пока Эдди был занят разговорами с окружающими, глаза его все время следили за мелькавшей в толпе Дагни. Одета в синие брюки и такую же рубашку, она не обращала внимания ни на какие общественные условности, которые переложила на него; ее интересовал только поезд – как будто она была всего лишь членом поездной бригады.

Заметив Эдди, она подошла к нему и поздоровалась с ним за руку. Улыбка ее объединяла в себе все то, что было и так понятно без слов.

– Ну, Эдди, сегодня ты представляешь собой «*Таггерт Трансконтинентал*».

– Да, – негромко, торжественным тоном согласился он.

Налетевшие с вопросами репортеры увлекли от него Дагни. Они спрашивали и его:

– Мистер Уиллерс, какую политику «*Таггерт Трансконтинентал*» намеревается вести в отношении этой линии? Так значит, «*Таггерт Трансконтинентал*» является в данном случае незаинтересованным наблюдателем, не так ли, мистер Уиллерс?

Эдди отвечал на вопросы, как мог. Он смотрел на солнечные блики на полированных деталях дизельного тепловоза. Но видел перед собой солнце над лесной прогалиной и двенадцатилетнюю девочку, говорящую ему, что настанет день, и он будет помогать ей руководить железной дорогой.

Он смотрел издали на поездную бригаду, выстроившуюся у локомотива перед расстрельной командой фоторепортеров. Дагни и Риарден улыбались, словно бы позируя во время летнего отпуска. Машинист Пат Логан, сидящий, невысокий и жилистый мужчина, замер с безразличным, быть может, чуть презрительным выражением лица.

Кочегар Рей Макким, крепкий молодой великан, ухмылялся, сочетая в улыбке некоторое смущение с чувством неоспоримого превосходства. Прочие члены бригады явно были готовы подмигнуть в объектив. Один из фоторепортеров со смехом произнес:

– А не могли бы вы изобразить на лице обреченную гримасу? Мне издатель заказывал именно такой снимок.

Дагни и Риарден отвечали на вопросы журналистов. Теперь в их словах не было ни насмешки, ни горечи. Они говорили с радостью. Они говорили так, словно вопросы не несли в себе заведомого подвоха. Все именно этим и закончилось: когда вопросы журналистов вдруг потеряли провокационный характер, никто даже и не заметил.

– Каких происшествий вы ожидаете в этом рейсе? – спросил репортер у одного из тормозных мастеров. – Вы надеетесь добраться до места назначения?

– Даже не сомневаюсь, – ответил рабочий, – как и ты сам, братец.

– Мистер Логан, у вас есть дети? Вы не потребовали дополнительного страхования? Я имею в виду этот мост, как вы понимаете.

– Не ходите по нему, пока не проедет мой поезд, – с пренебрежением в голосе ответил Пат Логан.

– Мистер Риарден, откуда вам известно, какой вес способны выдержать ваши рельсы?

– Откуда создатель печатного станка знал, что его машина заработает? – ответил Риарден вопросом на вопрос.

– Скажите, пожалуйста, мисс Таггерт, что удержит поезд весом в семь тысяч тонн на мосту, который весит всего три тысячи тонн?

– Мои расчеты, – ответила Дагни.

Представители прессы, презиравшие свою профессию, не понимали, отчего сегодня она доставляет им такое удовольствие. Один из них, человек еще молодой, однако не первый год пользовавшийся печальной известностью, состарившей его раза в два, вдруг сказал:

– Я понял, кем мне хотелось бы стать: репортером отдела *таких* новостей!

Стрелки станционных часов указывали на 3:45. Члены поездной бригады направились к тормозному вагону в самом конце состава. Толпа постепенно стихала. Люди замирали в ожидании.

Получив сообщения от связистов всех участков дистанции, пролежавшей до нефтяных месторождений Уайэтта в трех сотнях миль от старта, дежурный по станции вышел на платформу и, посмотрев на Дагни, дал сигнал к отправлению. Стоя возле локомотива, Дагни подняла руку, повторяя его жест в знак того, что поняла распоряжение.

Цепочка товарных вагонов тянулась вдаль, напоминая прямоугольными сочленениями спинной хребет. И когда в конце поезда проводник поднял руку, она помахала, отвечая на его сигнал.

Риарден, Логан и Макким замерли, словно по стойке смирно, приглашая ее первой подняться в кабину. И когда она уже ступила на лесенку-подножку локомотива, один из репортеров вспомнил о позабытом было вопросе.

– Мисс Таггерт, – крикнул он ей в спину, – а кто такой Джон Голт?

Не выпуская из руки металлического поручня, замерев на мгновение над головами толпы, она ответила:

– Все мы!

Следом за ней в кабину поднялся Логан, за ним последовал Макким; поднимавшийся последним Риарден захлопнул за собой дверь окончательным и уверенным движением.

На семафоре перед составом на фоне неба горел зеленый свет.

Зеленые огни горели и между путями, невысоко над землей, уходя вдаль до поворота, возле которого тоже светил зеленым глазком семафор – на фоне яркой летней листвы, также словно дававшей составу зеленый свет.

Стоя перед локомотивом, двое мужчин держали в руках белую шелковую ленту – управляющий отделением Колорадо и главный инженер Нили, не оставивший стройку. Эдди Уиллерс должен был перерезать эту ленточку, открывая, таким образом, новую линию.

Фотографы предложили ему встать в позу – с ножницами в руке, спиной к тепловозу. И пояснили, что он должен повторить всю церемонию два раза – дабы выбрать потом самый удачный снимок; они даже приготовили катушку чистой пленки. Эдди уже готов был согласиться, когда вдруг остановился и сказал:

– Нет. Хроника не должна лгать.

Голосом, полным спокойной власти, голосом вице-президента, он приказал, ткнув пальцем в сторону фотокамер:

– Отойдите назад... подальше. Сделаете один снимок, когда я буду перерезать ленту, а потом быстро убирайтесь с путей.

Фоторепортеры повиновались, торопливо отступив от тепловоза. Оставалась всего одна минута. Повернувшись спиной к объективам, Эдди встал между рельсов перед тепловозом. Ножницы в его руке уже касались ленты. Сняв шляпу, он отбросил ее в сторону, не отрывая взгляда от локомотива. Легкий ветерок шевелил его светлые волосы. Тепловоз превратился в огромный серебряный щит с эмблемой Ната Таггерта.

Эдди Уиллерс поднял руку в то самое мгновение, когда на висящем над станцией циферблате стрелки часы показали ровно четыре часа дня.

– Трогай, Пат! – крикнул он.

В то же самый момент, когда локомотив тронулся с места, он перерезал белую ленту и отскочил в сторону.

Эдди смотрел на проплывавшее мимо окошко кабины и на Дагни: она весело помахала ему рукой. А потом тепловоз проехал, и он остался стоять лицом к полной людей платформе, появлявшейся и исчезающей пред ним в разрывах между вагонами.

* * *

Иссиня-зеленые рельсы бежали навстречу им, как две струи, вытекавшие из единой точки где-то за горизонтом. Налетающие спереди шпалы превращались под колесами в стелющийся гладкий поток. По бокам локомотива земля стала расплывчатой полосой. Деревья и телеграфные столбы вдруг выпрыгивали навстречу и столь же резко отлетали назад. Мимо ленивым потоком текла зеленая равнина. Длинная волна гор на краю небосвода, обретя способность двигаться, словно следовала за поездом.

Дагни не ощущала стука колес. Движение превратилось в гладкий полет, следующий изначально заданному импульсу, словно бы тепловоз висел над рельсами, опираясь на набегавший воздушный поток. Скорости она также не ощущала. Ей просто казалось странным, что спереди на них набегают все новые зеленые огни семафоров и тут же отлетают назад. Она прекрасно знала, что семафоры отстоят друг от друга на две мили.

Стрелка спидометра на пульте перед Патом Логаном стояла на отметке «100 миль/ч».

Устроившись в кресле кочегара, она время от времени поглядывала на Логана. Тот сидел, чуть склонившись вперед, в свободной позе, как бы случайным движением положив ладонь на рукоять рычага переключения скоростей, но глаза его неотступно следили за колеей перед локомотивом. В позе его угадывалась непринужденность мастера, уверенного в себе настолько, что это могло бы показаться небрежностью, недопустимой легкостью, однако легкость эта требовала чудовищной собранности, концентрации, близкой к беспощадности абсолюта. Рей Макким сидел на скамье позади них. Риарден стоял посреди кабины.

Он стоял, расставив ноги, засунув руки в карманы, глядя вперед. Ничто за пределами колеи не могло интересовать его в эти мгновения: он пристально глядел на рельсы.

«*Собственность*, – думала Дагни, то и дело оглядываясь на него, – почему здесь нет тех, кто не понимает ее природы и сомневается в ее реальности? Нет, она создается не бумагами, печатями, дарственными и доверенностями. Вот она – в глазах Риардена».

Наполнявшие кабину звуки казались частью пространства, которое они пересекали. К негромкому гудению двигателей примешивались разноголосые вскрики металла и его высокое пение, звон трещащих оконных стекол.

Мимо стремительно промелькнули водонапорная башня, дерево, шаткая лачужка, башня элеватора...

Движение их можно было уподобить скольжению щетки «дворника» по ветровому стеклу: они поднимались, выписывая кривую, потом опускались снова. Телеграфные провода мчались наперегонки с поездом, в стабильном ритме взлетая к столбам и провисая между ними, подобно кардиограмме ровно бьющегося сердца, записанной на небе.

Дагни всматривалась вперед, в дымку, в которой вместе с рельсами плавилось расстояние, в дымку, которая в любой момент могла разорваться, явив какое-либо несчастье. Она не могла понять, почему в кабине ей гораздо спокойнее, чем в вагоне, – здесь, где любое неожиданное препятствие будет встречено лобовым стеклом и... ее собственной грудью. Она улыбалась, понимая ответ: видя все, зная и понимая обстановку, чувствуешь себя в безопасности, – в отличие от слепого ощущения движения в неизвестность, покорного неведомой силе, влекущей вперед. Таково величайшее счастье бытия: не доверяться, но *знать*.

Стеклянные панели окон кабины делали поля еще просторнее: земля казалась столь же открытой движению, как и зрению.

Ничто не далеко, и все достижимо. Едва заметив впереди мерцание озера, в следующее мгновение она оказывалась рядом с ним, и вот оно уже отлетело назад.

Связь между зрением и осязанием странным образом стала плотнее, думала она, между желанием и исполнением его, между... – после паузы слова вспыхнули сами собой – *душой и телом*. Сперва видение, а потом его физическая форма. Сперва мысль, а потом целенаправленное движение по единственно возможной прямой к избранной цели. Может ли первое иметь какой-либо смысл без второго? Не порочно ли это – желать без движения или двигаться без цели? Чьей злой волей рождено то, что крадется по миру, пытаясь разрушить связь между первым и вторым и направить их друг против друга?

Дагни тряхнула головой. Ей не хотелось размышлять о том, почему оставшийся позади нее мир сделался таким, или удивляться этому. Ей было все равно. Она улетаала от него со скоростью сто миль в час. Склонившись вбок, к приоткрытому окну, она словно нырнула в ветер, сдувавший волосы с ее лба. Дагни откинулась назад, не чувствуя ничего, кроме того удовольствия, что приносил ей этот ветер.

Но разум ее не ведал пауз. Осколки мыслей пролетали сквозь него, подобно мелькавшим за окнами телеграфным столбам возле дороги. «Физическое удовольствие? – размышляла она. – Стальной состав... мчится по рельсам из риарден-металла... движимый энергией горячей нефти и электрических генераторов... это физическое ощущение физического движения в физическом пространстве... но в нем ли причина и смысл того, что я теперь ощущаю?... Неужели это и называют низменной, животной радостью – чувство безразличия при мысли о том, что рельсы под нами могут разлететься на куски... такого, разумеется, не случится, но мне было бы все равно, потому что я *уже* испытала эту радость? Неужели она и есть низменное, плотское, унижительное телесное наслаждение?

Закрыв глаза, Дагни улыбалась, а ветер теребил ее волосы.

Потом она открыла глаза: Риарден стоял перед ней и смотрел на нее тем же взглядом, который только что был обращен к рельсам. Всю ее силу воли словно смело одним тупым ударом, лишившим способности двигаться. Откинувшись на спинку кресла, она посмотрела ему в глаза, а ветер обрисовывал контуры ее тела тонкой тканью рубашки.

Риарден отвернулся, и она вновь обратила взгляд к открывавшейся перед ней земле.

Дагни не хотела думать, однако звук мысли не умолкал, как и рокот моторов, как и грохот в кабине локомотива. Она взглянула вверх. Мелкая стальная сетка на потолке, думала она, в углу ряд заклепок, соединяющих воедино стальные листы, – кто сделал все это? Мужские руки своей грубой силой? Кто дал возможность Пату Логану с помощью четырех циферблатов и трех рукоятей соединять в единое целое немыслимую мощь расположенных за кабиной шестнадцати двигателей, покоряя ее непринужденной руке человека?

Неужели все эти вещи вместе с родившим их разумом представляют собой занятие, которое люди считают дурным? Это ли есть то, что они называют низменным интересом к физическому миру? Это ли называется порабощением материальным миром? Где в этом капитуляция души перед плотью?

Дагни опять мотнула головой, словно желая стряхнуть подобные мысли за окно, чтобы они разбились о насыпь. Она посмотрела на освещенные летним солнцем поля. Ей не нужно было думать, ведь эти вопросы – всего лишь частицы той правды, которую она знала, знала всегда. Пусть себе отлетают назад, как телеграфные столбы. То, что знала она, скорее, было похоже на провода, неразрывной линией скользившие возле окна. Все это путешествие, все ее чувства, вся отданная человеку земля укладывались в слова: *«Как все просто и справедливо!»*

Она посмотрела на расстилавшийся перед нею пейзаж. Дагни уже давно замечала человеческие фигурки, с непонятной регулярностью возникавшие у колеи. Но они пролетали настолько быстро, что она не сразу сложила воедино все кадры этого кинофильма и поняла их смысл. Ей пришлось распорядиться об охране путей после завершения строительства, однако

ту людскую цепочку, что выстроилась вдоль дороги, она просто *не могла* нанять. Через каждую милю возле столба вырастала новая фигура. Среди них попадались и явные школьники и согбенные старики. И все были вооружены чем попало, начиная с дорожных винтовок и кончая древними мушкетами. Их головы покрывали железнодорожные фуражки. Здесь были и сыновья работников фирмы «Таггерт», и старые железнодорожники, отдавшие ей всю свою жизнь. Охранять этот поезд они пришли по собственной воле. И, пропуская мимо себя локомотив, каждый становился по стойке смирно и отдавал своим оружием военный салют.

Осознав это, Дагни вдруг рассмеялась. Она смеялась, сотрясаясь, словно дитя; к смеху ее примешивались слезы облегчения. Пат Логан кивнул ей с легкой улыбкой; он давно уже заметил этот почетный караул. Дагни припала к открытому окну, широко и победно разведя руки в ответ на приветствия выстроившихся у дороги людей.

На гребне далекого холма она заметила группу людей, отчаянно махавших приближающемуся локомотиву. Серые дома деревеньки были разбросаны по расстилавшейся внизу долине; казалось, что некогда их высыпали здесь и забыли: крыши осели и покосились, время смыло краску со стен. Быть может, в них провело свою жизнь не одно поколение, и ничто не отмечало здесь течения дней, кроме движения солнца с востока на запад.

И теперь люди эти собрались на вершине холма, чтобы увидеть серебряную комету, рассекавшую их равнину, словно звук горна – ставшее тяжким безмолвие.

Дома стали попадаться все чаще и ближе к пути, она замечала людей – в окне, на крыльце, на далекой крыше. Она видела толпы, собиравшиеся на перекрестках. Дороги пролетали мимо спицами колеса, и она не могла различить отдельные фигуры: лишь руки их приветствовали поезд, раскачиваясь, как ветви, встревоженные его полетом. Люди собирались под запрещающими красными огнями семафоров, под знаками, говорившими: «Остановись. Приглядишься. Прислушайся».

Станция, мимо которой они пролетели, пересекая городок со скоростью в сотню миль в час, от платформы до самой крыши своей была подобна ожившей и размахивающей руками скульптурной группе. Она заметила только руки, подброшенные в воздух шляпы и что-то удивившееся в борт локомотива – букет цветов.

Назад отлетали мили, уносились станционные города, где они не делали остановок, перроны, переполненные людьми, пришедшими только для того, чтобы увидеть, приветствовать и надеяться. Под почерневшими от сажи карнизами старых станций висели гирлянды цветов, траченные временем стены были украшены красно-бело-синими флагами. Все было как на картинках, которые она – завидуя – видела в учебниках по истории железных дорог, дошедших с той поры, когда люди собирались вместе для того лишь, чтобы увидеть первый в своей жизни поезд. Так было в тот век, когда по стране проходил Нат Таггерт, и остановки на пути его привлекали людей, стремившихся узреть новое достижение человеческого духа. Тот век, думала Дагни, ушел; успели смениться поколения, не знавшие событий, которым можно было порадоваться, видевшие только трещины, все глубже с каждым годом рассекавшие стены, возведенные Натом Таггертом. Но люди пришли снова, как приходили и в его время, повинувшись тому же велению сердца.

Она посмотрела на Риардена. Не обращая внимания на собиравшиеся за окном толпы, безразличный к их восторгу, он стоял, прислонившись к перегородке кабины и следил за качеством колеи и движением поезда с профессиональным интересом опытного эксперта. Вся его поза свидетельствовала о том, что мысли, подобные «им это нравится», он отбросил как неуместные, и что в сердце его звучит совершенно другая мысль: «ПОЛУЧИЛОСЬ!»

Высокая фигура его в серых брюках и рубашке казалась раздетой. Непринужденная и уверенная поза свидетельствовала о готовности метнуться вперед при малейшей необходимости; короткие рукава демонстрировали силу рук; в открытом ворота рубашки виднелась упругая кожа.

Дагни отвернулась, вдруг поняв, что слишком часто смотрит на него. Однако этот день не имел связи ни с прошлым, ни с будущим – мысли ее были далеки от любых последствий – она не видела *продолжения* и только с предельной ясностью ощущала, что заточена вместе с ним, что они замкнуты в одном и том же объеме воздуха, что присутствие его служит для нее признанием самой сущности этого дня, как его рельсы служат опорой для полета поезда.

Она опять посмотрела на него, теперь специально. Глаза Риардена были обращены к ней.

Он не стал отворачиваться, но встретил ее взгляд холодным, не скрывающим намерений взором.

Дагни дерзко улыбнулась, не особенно задумываясь об истинном значении своей улыбки, зная только то, что не может нанести более сильного удара по этому невозмутимому лицу. Ей вдруг захотелось увидеть, как дрогнут эти черты, услышать, как сорвется крик с этих губ... А потом неторопливо отвернулась, охваченная странным чувством, не зная, почему ей вдруг стало так трудно дышать.

Она удобнее устроилась в кресле, глядя только строго вперед, но понимая при этом, что он столь же полон ею, как и она им. И ощущение это в своей полноте приносило ей особое удовольствие. Скрещивая ноги, ставя руку локтем на подоконник, откидывая волосы со лба – делая любое движение, она думала только об одном: *видит ли он?*

Позади оставался город за городом. Дорога пошла вверх, в местность, более угрюмую, не желавшую пропускать сквозь себя человека. Рельсы то и дело скрывались за поворотами, гребни гор пододвинулись ближе, пейзаж словно бы начал сминаться в складки. Плоские каменные ступени Колорадо подступали вплотную к колее, а вдали небо волнами загромождали синие горы.

Где-то там, впереди, закурились дымы над заводскими трубами, потом показались линии электропередачи и высокое стальное сооружение, похожее на длинную иглу. Они приближались к Денверу.

Дагни взглянула на Пата Логана. Он чуть наклонился вперед, пальцы его чуть стиснулись, взгляд сделался более напряженным. Как и она сама, он прекрасно представлял все опасности, связанные с пересечением города на такой скорости.

Минута сменяла минуту, однако они казались единым целым. Сперва появились одинокие силуэты, выросшие в проносящиеся за окнами заводы, потом их сменили расплывчатые очертания улиц, затем перед ними распростерлась дельта рельсовых путей, подобная той, что втягивалась в воронку вокзала «*Таггерт*», и ничто не защищало их, кроме протянувшейся по земле цепочки крохотных зеленых огоньков. С высоты кабины они взирали на пролетавшие мимо товарные вагоны, превращавшиеся в сплошные ленты крыш; потом прямо перед ними распахнулась черная дыра депо; и почти сразу – взрыв звуков, стук колес под стеклянным сводом и приветственные крики толпы, словно колышющееся море в сумерках возле стальных колонн; затем – сияющая арка и цепочка зеленых огоньков в небе за нею, огоньков, похожих на ручки встроенных в пространство дверей, одна за другой распахивавшихся перед ними. И вновь побежали, улетаая назад, полные автомобилей улицы, открытые окна, из которых выглядывали люди, и спорхнувшее с крыши далекого небоскреба облачко бумажных снежинок, просыпанных кем-то, увидевшим пронзавшую город серебряную пулю и остановившимся, чтобы проводить ее взглядом.

А потом они оказались за городом, на скалистом склоне, и с пугающей внезапностью перед ними выросли горы, словно бы город сплеча швырнул их на гранитную стену, на удачно подвернувшийся узкий карниз. Поезд жался к стене вертикального утеса, земля откатывалась куда-то вниз, гигантские завалы корявых глыб уходили вверх, оставляя их мчаться в синеватом сумраке, не видя ни земли внизу, ни неба над головой.

Изгибы дороги превращались в полукружья, заложенные между скал, будто стремившихся стереть поезд в пыль. Однако колея всякий раз вовремя проходила сквозь них, и горы

расступались, двумя поднятыми крыльями разлетаясь от точки, к которой сходились рельсы: одним – зеленым, покрытым ковром из вертикальных иголок-сосен, и другим – красновато-бурым, состоящим из камня.

Глядя из открытого окна, Дагни видела серебристый бок тепловоза, повисший над пустым пространством. Где-то далеко внизу тонкая ниточка ручья перепрыгивала с уступа на уступ, и обступившие воду папоротники, если взглянуть получше, оказывались трепещущими кронами берез. Она видела, как сзади состав изгибается на фоне гранитной скалы, видела длинные сколы рваного камня, видела петли иссиня-зеленой колеи, раскручивавшейся позади поезда.

Впереди, погрузив кабину во мрак, заполнив собой все ветровое стекло, выросла каменная стена, казавшаяся такой близкой, что столкновения с ней просто нельзя было избежать. Но взвизгнули колеса на вираже, и свет вернулся... Дагни увидела перед собой узкий выступ вдоль обрыва и протянувшиеся по нему рельсы. Они заканчивались где-то в пространстве. Нос локомотива глядел прямо в небо. Ничто не могло остановить их, удержать на земле, кроме двух полосок сине-зеленого металла.

Принять на себя грохочущий натиск шестнадцати двигателей, подумала она, тяжесть семи тысяч тонн стали и груза, выдержать их, удержать и развернуть по кривой – это невыполнимое деяние выполняли сейчас две полоски металла шириной в ее руку. Что сделало это возможным? Какая сила придала незримому расположению молекул ту прочность, от которой зависели теперь жизни их самих и людей, ожидавших прихода восьмидесяти вагонов? Она увидела лицо человека и руки его, освещенные пламенем лабораторной печи, светом белой полоски жидкого металла.

Ощувив натиск чувств, не в силах его сдержать, Дагни повернулась к двери машинного отделения, настежь распахнула ее и, пронзенная струей ставшего весомым звука, бросилась в недра грохочущего сердца локомотива.

На какое-то мгновение ей показалось, что она превратилась в единственное чувство – в обретший плоть слух, и слух этот сделался долгим, колеблющимся, падавшим и возрастающим воплем. Глядя на огромные генераторы в раскачивающейся, замкнутой металлической коробке, она подумала, что хотела видеть их, потому что переполнявшее ее чувство победы связано с этими машинами, с ее любовью к ним, со смыслом всей ее жизни – избранной ею работой. На пике этой бури эмоций Дагни буквально кожей почувствовала: она вот-вот поймет нечто доселе неизвестное ей, однако такое, что следовало знать. Она заливисто рассмеялась, но не услышала своего смеха; окружавший ее непрерывный рев не позволял слышать ничего иного.

– Линия Джона Голта! – крикнула Дагни только для того, чтобы не услышать ни единого слова, слетевшего с ее уст.

Она неторопливо шла вдоль моторного отсека – по узкому проходу между двигателями и стенкой, – чувствуя себя наглым, незванным гостем, вторгнувшимся во внутренний мир существа, под его серебряную шкуру, наблюдающим за жизнью, бившейся в серых металлических цилиндрах, изогнутых трубках, в кружении лопастей вентиляторов, укрытых металлической сеткой. Колоссальная сила, переполнявшая эти машины, по невидимым каналам перетекала к тонким стрелкам под стеклами циферблатов, к красным и зеленым огонькам, подмигивавшим на панелях, к высоким узким шкафам с надписью «Высокое напряжение».

«Почему, глядя на машины, я всегда ощущаю уверенность и радость?» – подумала Дагни. Огромные очертания их никак не вмещали в себя два нечеловеческих по своей природе понятия: *беспричинно* и *бесцельно*. Каждая деталь двигателей являла собой обретший материальный облик ответ на вопросы «Почему?» и «Зачем?» – как ступеньки ее жизни, курса, избранного той разновидностью разума, которую она почитала. Двигатели тепловоза были для нее моральным кодексом, воплощенным в стали.

Они живые, думала она, живые, потому что представляют собой физическую оболочку действия живой силы – разума, сумевшего постичь всю их сложность, придать ей цель, форму. На мгновение ей показалось, что двигатели стали прозрачными и что она видит их нервную систему. Сеть эта образовывалась связями, более сложными и значительными, чем просто провода и электрические контуры: *рациональными* связями, созданными человеческим разумом.

Они живые, думала она, и душа их управляет ими со стороны. И душа эта находится в каждом человеке, наделенном способностью быть на равных с машиной. Если душа эта исчезнет, останутся и моторы, потому что именно она поддерживает их движение. Не нефть, текущая в трубопроводах под ее ногами, ведь нефть вновь станет тогда простым минералом; не стальные цилиндры, которым суждено тогда превратиться в пятна ржавчины на стенах пещер новых дикарей... Нет, именно *душа* – сила живого ума, сила мысли, выбора и цели.

Дагни повернула обратно к кабине; ей хотелось смеяться, преклонить колени, воздеть к небу руки, дабы выпустить на свободу то, что переполняло ее, но она понимала при этом, что чувству ее нет и не может быть выражения.

Она замерла на месте. На ступеньках перед дверью кабины стоял Риарден. Он смотрел на нее так, словно знал, зачем она здесь, знал, что с ней происходит. Оба они недвижно застыли, воплотились во взгляд, соединивший их в узком коридоре. Наполнявшее ее биение – биение моторов – исходило и от него; грохочущий ритм лишил ее воли. Не произнеся ни слова, оба они вернулись в кабину, зная, что память о пережитом мгновении останется с ними.

Утесы впереди превратились в ясное жидкое золото. В долинах внизу уже густели тени. Солнце опускалось за высящиеся на западе вершины. Они мчались туда, поднимаясь к солнцу.

Небо уже темнело, обретая цвет зелено-голубых рельсов, когда в далекой долине они заметили дымовые трубы. Это был один из новых городов Колорадо – тех, что сами собой вырастали вокруг нефтяного месторождения Уайэтта. Дагни заметила угловатые контуры современных домов, плоские крыши, огромные окна. Расстояние не позволяло различить фигуры людей. И в тот момент, когда она подумала, что из такого далека они, конечно же, не смотрят за поездом, откуда-то из-за домов в небо вспорхнула ракета, поднимавшаяся над городом и рассыпавшаяся золотыми звездочками по темнеющему небу. Люди, которых она не видела, ждали появления состава на склоне горы и приветствовали его салютом, осветившим сумерки огненным дождем, знаком праздника или призыва на помощь.

За следующим поворотом, во внезапно открывшейся дали, Дагни увидела невысоко в небе два светившихся электрических огня – белый и красный. Это были не самолеты – она заметила поддерживавшие их металлические рамы и сразу поняла, что перед ней буровые установки «*Уайэтт Ойл*». Колея пошла вниз, земля как будто распахнулась навстречу поезду, словно бы расступились сами горы, а внизу, у подножья горы Уайэтта, через темную расщелину каньона был переброшен мост из риарден-металла.

Они летели вниз, Дагни забыла точный градус уклона, забыла радиусы виражей постепенного спуска, ей просто казалось, что поезд несется вниз, ныряет вниз головой... мост вырос им навстречу – невысокий, образованный кружевным металлическим переплетением: несколько иссиня-зеленых балок, ярких под косым лучом солнечного света, пробившимся сквозь какую-то брешь в горной цепи. Возле моста стояли люди, толпа казалась темным пятном, немедленно сместившимся на самый край ее сознания. Дагни услышала торопливый стук ускоряющих вращение колес и какую-то музыкальную тему, угадывавшуюся в их нарастающем ритме. Она будоражила ее, становилась все громче – и вдруг зазвучала в кабине, хотя Дагни понимала, что раздается она только в ее голове. Это был Пятый концерт Халлея, и она подумала: неужели он написал свой концерт ради такого случая? Неужели и ему были знакомы подобные чувства? А поезд летел все быстрее. Дагни казалось, что они расстались с землей, горы подбросили их на трамплине, и теперь состав пронзает пространство... Такое испытание не будет честным, подумала Дагни, мы не коснемся моста... Над ней застыло лицо Риардена;

запрокинув голову назад, она могла видеть его глаза... застонал металл, забарабанили колеса под полом тепловоза, замелькали за окнами диагональные стойки моста – со звуком металлического стержня, звякающего, один за другим, по столбам забора – замелькали и исчезли, скорость направленного вниз движения уже возносила состав вверх. Кабина вдруг оказалась окруженной буровыми вышками «*Уайэтт Ойл*»...

Пат Logan повернулся к ним и посмотрел на Риардена с легкой улыбкой. И Риарден сказал:

– Ну вот, приехали.

Знак на крыше оповещал: *Железнодорожный узел Уайэтт*. Дагни впиалась в него глазами, чувствуя, что-то не так, и не сразу поняла, в чем дело: станционный знак не двигался. Самым неожиданным впечатлением от всего путешествия оказался именно этот миг – остановка.

Откуда-то донеслись голоса, Дагни посмотрела вниз и увидела людей на платформе. А потом дверь кабины настежь распахнулась. Она поняла, что должна спуститься первой, и подошла к порогу.

Она вдруг ощутила, насколько хрупко ее тело, насколько легка ее застывшая на мгновение в воздухе фигура. Взявшись за металлические поручни, Дагни начала спускаться по лестнице. Еще на половине пути она почувствовала на своей талии мужские ладони, оторвавшие ее от ступеней, подбросившие в воздух и поставившие на землю. Дагни не могла поверить, что смеющееся мальчишеское лицо перед ней принадлежит Эллису Уайэтту. В памятных ей напряженных, полных презрения чертах, теперь читались чистота, энергия, радостное благоволение ребенка к миру, для которого он и был предназначен.

Чувствуя себя неуверенно на твердой земле, она припала к его плечу; он обнимал ее, она смеялась, она слушала его слова, она отвечала:

– Разве можно было сомневаться в том, что мы это сделаем?

Тут Дагни заметила лица окружавших ее людей. Это были пайщики «*Линии Джона Голта*», люди, представлявшие «*Нильсен Моторс*», «*Хэммонд Кар Компани*», «*Литейный завод Стоктон*» и всех прочих. Она обменивалась с ними рукопожатиями, речей не было; чуть сутулясь, она опиралась на Эллиса Уайэтта, откидывая волосы со лба. Дагни молча пожимала руки поездной бригаде, на всех лицах сверкали улыбки. Вокруг мерцали вспышки, с нефтяных вышек на склонах гор махали люди. Над головой Дагни, над всеми собравшимися, последние лучи солнца освещали серебряный щит с буквами «*ТТ*».

Эллис Уайэтт взял инициативу на себя. Он куда-то повел ее, расчищая согнутой в локте рукой дорогу в толпе, когда к ним пробился один из фоторепортеров.

– Мисс Таггерт, – обратился он к Дагни, – не хотите ли что-нибудь сказать людям?

Эллис Уайэтт указал на длинную цепочку товарных вагонов:

– Она уже все сказала.

А потом она оказалась на заднем сиденье открытого автомобиля, поднимавшегося по извилистой горной дороге. Риарден сидел рядом с ней, за рулем был Эллис Уайэтт.

Они остановились возле дома, на самом краю обрыва. Рядом не было никакого жилья, зато отсюда было видно все нефтяное месторождение.

– Конечно, вы оба остановитесь сегодня у меня, – предложил Эллис Уайэтт, едва они вошли в дом. – Или у вас другие планы?

Дагни рассмеялась.

– Не знаю, я вообще не думала об этом.

– Ближайший городок находится в часе езды на автомобиле. Туда и отправилась вся поездная бригада: ваши парни из отделения дают банкет в их честь. Веселится весь город. Но я сказал Теду Нильсену и всем остальным, что мы не собираемся устраивать приемы и произносить речей. Если только вы сами этого не захотите.

– Боже упаси, нет! – воскликнула Дагни. – Спасибо вам, Эллис.

Уже совсем стемнело, когда они уселись за обеденный стол в комнате с широкими окнами, обставленной лаконично, но дорого. Обед им подавал единственный, кроме хозяина, обитатель этого дома, пожилой молчаливый индеец – невозмутимый и любезный. Комнату освещали редкие огоньки, изнутри и извне: свечи на столе, прожекторы на вышках и кранах, звезды.

– Итак, теперь вы считаете себя при деле? – говорил Эллис Уайэтт. – Нет, дайте мне только год, и я завалю вас работой. Два состава цистерн в день, как вам это нравится, Дагни? А потом их будет четыре или шесть... сколько захотите.

Он указал рукой в сторону огоньков на горах:

– Вы скажете, *это*? Нет, это ничто в сравнении с тем, к чему я приступаю.

Он указал рукой на запад.

– Перевал Буэна Эсперанса. В пяти милях отсюда. Все удивляются тому, что я вожусь там. Нефтяные сланцы. Сколько лет назад все расстались с желанием добывать нефть из сланцев, потому что это слишком дорого? Но подождите, увидите результаты разработанного мной процесса. Он даст нам самую дешевую нефть, неограниченные запасы ее, рядом с которыми самое крупное месторождение покажется жалкой лужицей. Я уже заказывал трубопровод? Хэнк, нам с вами придется построить отсюда трубопроводы во все стороны... Ох, простите. Я забыл представиться вам там, на станции. Я даже не назвал своего имени.

Риарден ухмыльнулся.

– Я его уже вычислил.

– Простите, я сам не люблю легкомыслия, но я был слишком взволнован.

– И что же вас так взволновало? – Дагни насмешливо прищурилась.

Уайэтт коротко посмотрел ей в глаза; торжественный тон его ответа странным образом сочетался с полным смеха голосом:

– Самая восхитительная пощечина, которую я получил в своей жизни, и притом заслуженно.

– Вы имеете в виду нашу первую встречу?

– Я имею в виду нашу первую встречу.

– Не надо. Вы были правы.

– Действительно. Но во всем, кроме вас. Дагни, найти в вашем лице такое исключение из общего правила после стольких лет... А, да к черту их всех! Может быть, вы хотите, чтобы я включил радио, и вы послушали, что говорят о вас двоих сегодня вечером?

– Нет.

– Хорошо. Мне их слушать не хочется. Пусть сами себя слушают. Теперь все они скопом лезут к нам в двери. И командуем мы.

Он посмотрел на Риардена:

– Чему вы улыбаетесь?

– Мне всегда хотелось увидеть вас таким, какой вы есть.

– У меня никогда не было возможности быть таким – до сегодняшнего вечера.

– И вы живете здесь в одиночестве, в стольких милях от всего на свете?

Уайэтт показал на окно:

– Я живу всего в паре шагов от всего на свете.

– А как же общение с людьми?

– У меня есть гостевые комнаты для тех, кто приезжает ко мне по делам. А что касается всех прочих, я предпочел бы, чтобы нас с ними всегда разделяло столько миль, сколько это вообще возможно, – наклонившись вперед, он заново наполнил бокалы. – Хэнк, почему вы не хотите перебраться в Колорадо? Пошлите к черту Нью-Йорк со всем Западным побережьем! Здесь находится столица Ренессанса. Второго Ренессанса – возрождения не живописи

и кафедральных соборов, а нефтяных вышек, электростанций и двигателей, изготовленных из риарден-металла. У нас был каменный век, был век железный, а новое время назовут веком риарден-металла, потому что нет предела тому, что стало возможным благодаря вашему изобретению.

– Я намереваюсь приобрести несколько квадратных миль в Пенсильвании, – заметил Риарден. – Рядом с моим предприятием. Было бы дешевле поставить филиал здесь, как я и хотел раньше, однако вам известно, почему этот путь теперь закрыт для меня, и пусть они идут к черту! Верх все равно будет за мной. Я намереваюсь расширить завод, и, если Дагни предоставит мне три состава в день до Колорадо, мы еще посмотрим, где расположится столица Второго Ренессанса!

– Дайте мне год эксплуатации поездов «*Линии Джона Голта*», дайте мне время собрать воедино всю таггертовскую дорогу, и я предоставлю вам три поезда в день – на линии из риарден-металла, протянувшейся от океана до океана!

– Кто там говорил, что ему нужна точка опоры? – проговорил Эллис Уайэтт. – Дайте мне право беспрепятственного движения, и я покажу им, как перевернуть Землю!

Дагни попыталась понять, почему смех Уайэтта так нравится ей. В голосах обоих мужчин и даже в ее собственном звучала интонация, которой она никогда еще не слышала. Когда все трое встали из-за стола, Дагни с удивлением заметила, что в комнате горят только свечи: ей-то казалось, что они окружены ослепительным сиянием.

Взяв в руку бокал, Эллис Уайэтт посмотрел на своих гостей и сказал:

– За мир, за землю, ибо сейчас она кажется такой, какой должна быть!

И он единым движением опорожнил бокал.

Дагни услышала звон разбившегося о стену стекла. Это не был обычный жест – разбить бокал в честь праздника, – а резкое движение, полное гневного бунта и злости, больше похожей на безмолвный стон боли.

– Эллис, – прошептала она, – в чем дело?

Он повернулся к ней. С той же буйной внезапностью глаза его просветлели, лицо успокоилось, пугающая гримаса сменилась мягкой улыбкой.

– Простите, – сказал он, – не обращайтесь внимания. Постараемся думать, что это всерьез и надолго.

Землю внизу уже заливал лунный свет, когда Уайэтт повел их по внешней лестнице на второй этаж дома, к открытой галерее, на которую выходили комнаты гостей. Он пожелал им доброй ночи, шаги его прошелестели по ступеням. Лунный свет словно лишал силы звук, как заставлял он блекнуть краски. Шаги Уайэтта удалялись, и когда они, наконец, стихли, воцарившееся молчание было подобно долгому одиночеству, когда на всей земле не осталось ни одной живой души.

Дагни не пошла к своей комнате. Риарден не шевелился. Галерею ограждали только невысокие перила, за которыми начиналось пространство ночи. Угловатые уровни спускались вниз, тени повторяли очертания стальных сплетений буровых вышек, черными линиями пролегая по светлому камню. Несколько огоньков, белых и красных, трепетало в чистом воздухе, подобно каплям дождя, застывшим на краях стальных балок. Вдалеке три небольших зеленых капельки выстроились в линию вдоль железной дороги Таггертов.

За огоньками, в конце пространства, у подножия белой дуги висел сетчатый прямоугольник моста.

Дагни ощущала ритм, не соответствующий ни звуку, ни движению; что-то пульсировало рядом, словно бы колеса тепловоза еще стучали по рельсам «*Линии Джона Голта*».

Неторопливо, хотя невысказанный призыв и требовал от нее большего, она повернулась к Риардену.

Выражение его лица впервые до конца объяснило ей, что она прекрасно знала заранее, каким именно будет конец путешествия. Он смотрел на нее вопреки всем представлениям о том, как это должен делать мужчина, в нем не было никакой расслабленности, вялости и бессмысленной алчности. Рот его был напряжен, чуть поджатые губы подчеркивали контуры рта. Только глаза затягивала дымка, под ними набухли мешки, а взгляд являл некую смесь ненависти и боли.

Потрясение превратилось в онемение, распространявшееся по всему телу – Дагни почувствовала, как стиснуло горло, – она не замечала ничего, кроме этой немой конвульсии, мешавшей ей дышать. Однако то, что ощущала она сейчас, значило только одно: «Да, Хэнк, да... потому что это тоже часть нашей битвы, хотя я и не могу сказать, почему так получается... ведь в этом наше бытие, противящееся их прозябанию... наши великие способности, за которые они мучат нас, наша способность быть счастливыми... А теперь, пусть *это* будет, без слов и вопросов, потому что мы оба хотим этого...»

Все свершилось подобно взрыву ненависти, подобно удару кнута, ожегшему ее тело: она ощутила на себе его руки, припала к нему животом, грудь ее прижалась к его груди, его губы впились в ее.

Рука Дагни скользнула с плеча Риардена ему на спину, потом к ногам, повествуя о невысказанном желании каждой встречи с ним. Оторвавшись от его губ, Дагни беззвучно и победоносно смеялась, как бы заявляя: «Хэнк Риарден – строгий и неприступный Хэнк Риарден из подобного монашеской обители кабинета, человек деловых переговоров, жестких сделок – помнишь ли ты о них сейчас? А я помню и радуюсь тому, что довела тебя до этого...»

Он не улыбался, лицо его было лицом врага; подняв ее голову за подбородок, Риарден снова припал к ее губам, словно стремясь нанести рану.

Дагни почувствовала, как он дрожит, и подумала, что именно такой крик хотела бы сорвать с его губ – капитуляцию сквозь муки сопротивления. И все же она понимала, что победа принадлежит ему, что смехом своим она выражает только восхищение им, что имя ее сопротивлению – покорность, что всеми своими силами она лишь старается сделать его победу более впечатляющей. Он прижимал ее к себе, давая понять, что сейчас она не более чем инструмент для удовлетворения его желания, что его победа означает ее желание покориться. Чем бы ни являлась я, думала она, сколь ни гордилась бы своей отвагой, работой, интеллектом и способностями – все это я приношу тебе ради удовольствия твоего тела, я хочу послужить тебе этим, а ты хочешь удостоить меня высочайшей награды, которую можешь дать мне.

На галерее в двух комнатах был включен свет. Взяв Дагни за запястье, Риарден подтолкнул ее к своей комнате, жестом давая понять, что не нуждается ни в ее согласии, ни в ее протесте. Не отводя глаз от ее лица, он запер дверь. Стоя, выдержав его взгляд, она протянула руку к лампе на столике и выключила свет. Подойдя к ней, Риарден вновь включил лампу небрежным, скупым движением руки.

Она впервые заметила на лице его улыбку – неторопливую, насмешливую, чувственную, словно подчеркивающую цель такого поступка.

Уложив Дагни на постель, он принялся срывать с нее одежду. Припав лицом к его телу, она прикоснулась губами к его шее, к плечу. Она понимала, что любое проявление ее желания будет воспринято им как удар, что в душе его собирается немыслимый сейчас гнев – никакая ласка не удовлетворит его стремления насытиться проявлениями ее желания.

Поглядев на ее обнаженное тело, Риарден склонился над ней, и Дагни услышала его голос, в котором звучал триумф, но не вопрос:

– Ты хочешь этого?

Ответ ее скорее напоминал вздох, чем слово – это было произнесенное с закрытыми глазами «Да».

Она понимала, что мнет ткань его рубашки, знала, что губы, прикасающиеся к ее губам, принадлежат ему, но во всем остальном не было раздела между ее и его существом, как не было в этот миг разделения между душой и плотью. Все прожитые годы они шаг за шагом следовали по избранному пути. Их любовь к жизни выросла из осознания того, что ничего в ней не дается даром, что человек сам должен понять, в чем заключается его желание, и обязан сам добиваться его исполнения. Это были годы, отданные металлу, рельсам, двигателям, годы, когда они повиновались единственной мысли: ради собственного удовольствия следует переделать землю, ведь только человеческий дух придает смысл неодушевленной материи, заставляя ее служить намеченной цели. Путь этот привел их к мгновению, когда, отзываясь на высочайшее, возвышеннейшее мгновение жизни, покоряясь восхищению, которого нельзя было выразить никаким другим образом, дух человека заставляет тело стать наслаждением, преобразуя его в доказательство, в поощрение, в награду, в столь могучую радость, что делает излишними все прочие радости бытия. И он услышал, как дыхание ее превратилось в стон, а она ощутила содрогание его тела.

ГЛАВА IX. САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ

Она посмотрела на подобные браслетам сияющие кольца, от плеч до запястья проступившие на ее руке. Свет пробивался сквозь жалюзи на окне в незнакомой ей комнате. Над локтем красовался синяк, покрытый темными бусинками засохшей крови. Рука лежала на прикрывавшем тело одеяле. Она чувствовала свои ноги и бедра, но все остальное тело охватила необъяснимая легкость, оно словно бы покоилось в воздухе, на некоем сотканном из солнечных лучей ложе.

Повернувшись к Риардену, она подумала: от его былой сдержанности, от хрупкой, как стекло, официальности, от гордой готовности отказаться от любого чувства не осталось и следа. Этот новый Хэнк Риарден лежал возле нее в постели после бури, для которой у них обоих не было названия, не было слов, не было выражения, но она жила в их глазах, обращенных друг к другу, и они хотели дать ей имя, значение, поделиться ею друг с другом.

Риарден видел перед собой будто озаренное внутренним светом лицо юной девушки, на губах которой цвела улыбка; локон волос по щеке ниспадал на обнаженное плечо, глаза смотрели с таким выражением, словно она была готова принять любые его слова, примириться со всем, что ему заблагорассудится сделать.

Протянув руку, он отвел прядь с ее щеки, осторожно, как самый хрупкий предмет. Задержав волосы в пальцах, Риарден посмотрел в глаза Дагни, а потом вдруг поднес прядь к губам. В том, как он целовал ее волосы, сияла нежность, но в движении пальцев дрожало отчаяние.

Он откинулся назад на подушку и замер, закрыв глаза. Лицо его казалось юным и мирным. Увидев его на мгновение спокойным, Дагни вдруг постигла всю степень несчастий, обрушившихся на Риардена; теперь все прошло, решила она, закончилось.

Он поднялся, более не глядя на нее. Лицо его снова стало пустым и замкнутым.

Подобрав с пола одежду, он начал одеваться, стоя посреди комнаты, повернувшись к ней спиной. Он вел себя не так, словно ее не было рядом, но как если бы ему было безразлично, что она тоже здесь. Точными, привычными к экономии времени движениями он застегивал рубашку, затягивал ремень на брюках.

Откинувшись на подушку, она наблюдала за ним, любуясь ловкостью его рук. Дагни нравились серые брюки и рубашка – он казался ей опытным механиком *«Линии Джона Голта»*, оказавшимся, как узник, в плену, за решеткой из солнечного света и теней. Только решетка обернулась трещинами в стене, проломленной веткой *«Линии Джона Голта»*, заранее оповещавшими их о том, что ждет там, за стеной, за окнами этого дома. Она уже предвкушала поездку обратно, по новым рельсам, с первым же поездом от *«Узла Уайэтта»* до самого своего кабинета в офисе *«Таггерт»*, ко всему, чего теперь была способна добиться... Впрочем, с этим можно и подождать; ей пока не хотелось ни о чем думать. Дагни вспоминала первое прикосновение его губ – она могла позволить себе насладиться воспоминанием, продлить мгновение, ведь все прочее теперь ничего не значило. Она вызывающе улыбнулась полоскам неба, проглядывавшим сквозь жалюзи.

– Я хочу, чтобы ты знала, – Риарден остановился у постели, глядя на нее сверху вниз. Он произнес это ровным, четким, бесстрастным голосом. Она покорно посмотрела на него. Риарден продолжил:

– Я презираю тебя. Но это презрение – пустяк по сравнению с тем, что я чувствую по отношению к себе. Я не люблю тебя. И никогда не любил. Но я хотел тебя с первого мгновения, с первой встречи. Я хотел тебя, как шлюху, с той же самой целью и по той же причине. Два года потратил я, проклиная себя, считая, что ты выше греха. Но это не так. Ты – столь же низменное животное, как и я сам. Я должен был бы возненавидеть тебя за такое открытие. Но не могу. Вчера я убил бы всякого, кто сказал бы мне, что ты способна делать то, что я

заставлял тебя делать. Сегодня я отдал бы жизнь за то, чтобы ничего не изменилось, чтобы ты осталась такой же сукой, как ты есть. Все величие, которое я видел в тебе... я не променяю его на непристойность твоего дара получать животное наслаждение. Только что мы с тобой были великими, гордились своей силой, не так ли? И вот что стало с нами, вот что осталось от нас... и я не хочу обманываться в этом.

Он говорил неторопливо, словно бы хлестал себя словами. В голосе не было эмоций, в нем слышалось лишь усилие обреченности; интонация его выражала не стремление выговориться, а была полна мучительного – до пытки – чувства долга.

– Я ставил себе в заслугу то, что никогда и ни в ком не нуждался. Теперь я нуждаюсь в тебе. Я гордился тем, что всегда поступал согласно своим убеждениям. И сдался перед желанием, которое презирал. Это желание низвело мой ум, мою волю, мое существо, мою жизненную силу к презренной зависимости от тебя – не от Дагни Таггерт, которой я восхищался, но от твоей плоти, твоих ладоней, твоего рта и нескольких секунд сокращения мышц твоего тела. Я никогда не нарушал данного слова. Я никогда не нарушал принесенной мною клятвы. Я никогда не совершал поступков, которые следует скрывать. Теперь мне придется лгать, действовать украдкой, прятаться. Желая чего-то, я провозглашал свое желание во всеуслышанье и добивался своей цели на глазах у всех. И теперь мое единственное желание выражается словами, которые мне даже противно произносить. Но это мое *единственное* желание. Я хочу обладать тобой, и ради этого откажусь от всего, что мне принадлежит: от завода, от своего металла, от достижений всей своей жизни. Я хочу обладать тобой ценой, которая мне дороже собственной жизни: ценой уважения к себе – и хочу, чтобы ты знала это. Я не хочу никаких претензий, никаких сомнений, никаких иллюзий относительно природы нашего поступка. Я не хочу обманывать себя любовью, оценками, верностью или уважением. Я хочу, чтобы на нас не осталось и клочка чести, за которым можно было бы спрятаться. Я никогда не просил о милости к себе. Я сделал то, что я сделал, это мой выбор. Я принимаю на себя все последствия и всю ответственность. Это разврат – я принимаю его таковым, и нет такой высшей добродетели, от которой я не отказался бы ради него. А теперь, если хочешь дать мне пощечину, действуй. Мне бы этого даже хотелось.

Дагни слушала его, сев в постели, прижав к горлу край одеяла. Сперва и Риарден видел это, глаза ее потемнели от неверия и гнева. А потом ему внезапно показалось, что она стала слушать его более внимательно и видеть нечто большее, чем просто выражение его лица, хотя глаза ее неотступно следили за ним. Казалось, что она внимает некоему откровению, прежде от нее скрытому. И Риарден вдруг почувствовал, что его словно осеняет становящийся все ярче и ярче луч света; отражение его он уже видел на ее лице, с которого стиралось неверие, сменяясь удивлением, а потом странной ясностью, какой-то тихой и искрящейся.

Когда он умолк, Дагни залилась смехом.

Риарден был поражен, не услышав в нем гнева. Дагни смеялась весело, заливисто, радостно, свободно и вольно, как смеются, не ища решение проблемы, а поняв, что ее вовсе не существует.

Дагни решительно, даже немного картинно сбросила с себя одеяло.

Она встала, увидела на полу свою одежду и отшвырнула ее ногой.

Встав обнаженной перед Риарденом, она сказала:

– Я хочу тебя, Хэнк. И во мне куда больше животного, чем ты думаешь. Я хотела тебя с самого первого мгновения нашего знакомства и стыжусь только того, что не поняла этого сразу. Не знаю почему, но уже два года моей жизни самые радостные мгновения я испытывала в твоем кабинете, когда могла видеть тебя. Я не берусь судить о природе того, что ощущала в твоём присутствии и почему. Теперь я просто *понимаю* это. И не хочу ничего другого, Хэнк. Я хочу, чтобы ты делил со мной постель, все остальное – твое и только твое. Тебе ничего не придется изображать – не надо думать обо мне, не надо заботиться, я не собираюсь посягать

на твой разум, на твою волю, на твою сущность или на твою душу, пока ты ко мне будешь приходить за удовлетворением самого низменного из твоих желаний. Я всего лишь животное, которое не ищет ничего другого, кроме столь презируемого тобой удовольствия, но я хочу получать его от *тебя*. Ты готов отдать за него любую высшую добродетель, а я... у меня их нет, и потому мне нечего отдавать. Я не ишу их, зачем они мне? Я настолько низменна по природе своей, что готова отдать наивысшую добродетель этого мира, лишь бы увидеть тебя в кабине локомотива. Но, увидев тебя, я не останусь безразличной. Не надо бояться того, что ты вдруг стал от меня зависеть. Это я теперь буду зависеть от тебя и твоих прихотей. Ты сможешь иметь меня, когда пожелаешь, в любом месте, по любому твоему капризу. Ты назвал этот мой дар непристойным? Но именно он позволяет тебе привязать меня к себе надежнее, чем любую твою недвижимость. Ты можешь располагать мной в любом качестве, и я не боюсь признать это, мне нечего защищать от тебя и нечего оберегать. Ты считаешь, что наши отношения могут представить угрозу твоим достижениям, но здесь ты ошибаешься. Я буду сидеть за своим столом и работать, а когда жизнь вдруг станет невыносимой, буду мечтать о той награде, которую получу, оказавшись в твоей постели. Ты назвал это распутством? Я много порочнее тебя: ты видишь в этом свою вину, а я горжусь нашей связью. Я ставлю ее выше всего, что делала, выше построенной мной дороги. Если меня попросят назвать высшее достижение в моей жизни, я отвечу: «Я спала с Хэнком Риарденом». Потому что заслужила это.

Когда он бросил ее на постель, тела их встретились, как два столкнувшихся звука: полный мучения стон Риардена и смех Дагни.

* * *

Невидимый дождь поливал темную улицу, струи его искрящейся бахромой стекали с колпака фонаря на углу улицы. Покопавшись в карманах, Джеймс Таггерт обнаружил, что потерял носовой платок.

Он негромко, но весьма раздраженно выругался, словно дождь, потеря платка и промокшая голова были результатом чьих-то происков.

Мостовую покрывал слой грязи; липкая гадость чавкала под каблуками, а холод усиленно старался забраться ему за воротник. Джеймсу Таггерту не хотелось куда-то идти, но не хотелось и останавливаться. Впрочем, идти ему было некуда.

Покинув кабинет после собрания правления, он вдруг понял, что больше у него нет никаких дел, впереди долгий, тягостный вечер, и никто не поможет ему скоротать его. Передовицы газет провозглашали триумф «*Линии Джона Голта*», об этом весь вчерашний вечер вопило радио. Заголовки растянули название «*Таггерт Трансконтинентал*» на целый разворот, и он с улыбкой принимал поздравления. Он улыбался, сидя во главе длинного стола на заседании правления, пока директора рассказывали о головокружительном взлете акций компании «*Таггерт*» на бирже и осторожно упрашивали показать письменное соглашение между ним и его сестрой – просто так, на всякий случай, – а потом говорили, что документ вполне законен и является весьма убедительным доказательством того, что теперь Дагни придется немедленно покинуть «*Таггерт Трансконтинентал*»; затем они обсуждали перспективы, сулящие блестящее будущее, и признавали, что компания в неоплатном долгу перед Джеймсом Таггертом.

Все совещание Джеймс просидел, мечтая лишь о том, чтобы оно поскорее закончилось, и он мог бы пойти домой. Только оказавшись на улице, он понял, что именно домой-то его и не тянет. Одиночество пугало его, однако идти было просто некуда.

Джим не хотел никого видеть. Он внимательно следил за глазами членов правления, повествовавших о его величии: лукавыми, масляными глазами, в которых легко читалось презрение к нему и, что самое страшное, – к самим себе.

Он брел, повесив голову, и иглы дождя то и дело кололи ему шею. Всякий раз, проходя мимо газетного киоска, он отворачивался. Газеты настойчиво трубили о триумфе «*Линии Джона Голта*» и упорно повторяли имя, которое он не желал слышать: Рагнар Даннескьолд. Направлявшийся в Народную Республику Норвегия корабль с экстренным грузом инструментов прошлой ночью был захвачен Даннескьолдом. Сообщение это, непонятно почему, воспринималось Джеймсом как личное оскорбление. И в чувстве этом крылось нечто общее с тем, что он испытывал к «*Линии Джона Голта*».

Все это потому, что я простужен, думал он; ему не было бы так худо, если бы не эта чертова простуда; нечего и думать быть на высоте, когда ты болен (он-то тут причем?). «И чего они сегодня ждали от него, чтобы он сплясал им и спел?» – гневно бросил он в лицо воображаемым хулителям своего нынешнего невнятного состояния. Вновь потянувшись за отсутствующим платком, Джеймс ругнулся и решил купить где-нибудь бумажные салфетки.

На противоположной стороне некогда оживленной площади он увидел освещенные окна грошовой лавчонки, все еще открытой в этот поздний час. Вот и еще один кандидат на скорый вылет из дела, подумал Джеймс, пересекая площадь; мысль эта принесла ему удовлетворение.

Внутри магазинчика горели все огни, несколько усталых продавщиц дежурили за безлюдными прилавками, патефон скрипел ради засевшего в углу одинокого апатичного покупателя. Музыка приглушила раздражение в голосе Таггерта: он попросил принести бумажные салфетки таким тоном, словно продавщица-то и была виновна в его простуде. Девушка потянулась к находившемуся позади нее прилавку, но тут же обернулась и бросила быстрый взгляд на его лицо. Взяв было, упаковку, она остановилась и принялась уже с откровенным любопытством разглядывать покупателя.

– А вы, случайно, не Джеймс Таггерт? – спросила она.

– Да! – рявкнул он. – А вам-то что?

– Ой! – охнула она, как дитя при виде фейерверка, и поглядела на Таггерта так, как, по его мнению, можно смотреть только на кинозвезд.

– Сегодня утром я видела ваш портрет в газете, мистер Таггерт, – быстро залопотала она, слабый румянец мелькнул на лице и погас. – Там было сказано, какое это великое достижение и что именно вы сделали всё, только не захотели, чтобы про вас стало известно.

– Ну... да, – проговорил Таггерт. Он уже улыбался.

– А вы совсем такой же, как на снимке, – проговорила она с глупым удивлением, а потом добавила: – Надо же, подумать только... вы вошли сюда, собственной персоной!..

– Разве это так уж невероятно? – осведомился он, вдруг почувствовав себя несколько неловко.

– Ну, я хотела сказать, что все говорят об этом, вся страна, и вы это сделали – и вот вы здесь! Мне еще ни разу не приходилось встречать *такого* человека. И я никогда не оказывалась рядом с чем-то важным, ну, то есть так, как будто сама попала в газетные новости.

Джеймсу еще не доводилось чувствовать, чтобы его присутствие буквально озаряло место, где он появился: усталость разом оставила девушку, как если бы магазинчик вдруг превратился в сцену свершения чудес и высокой драмы.

– Мистер Таггерт, а это правда – то, что о вас написали в газетах?

– И что же они там написали?

– О вашем секрете.

– Каком секрете?

– Ну, там говорили, что когда все протестовали против вашего моста, не знали, выстоит он или нет, вы не стали спорить с ними, просто продолжили строительство, потому что не сомневались в том, что он выстоит, хотя никто-никто этого не думал. Так что линия была проектом Таггертов, и вы были ее тайным вдохновителем, но хранили свой секрет, потому что вам было безразлично, кого будут за это хвалить.

Джеймс уже видел копию пресс-релиза своего отдела по связям с общественностью.

– Да, – промолвил он, – в самом деле.

Девушка смотрела на него так, что он и сам чуть не поверил в свои слова.

– Какой удивительный поступок, мистер Таггерт.

– А вы всегда помните то, что читаете в газетах... так подробно, в таких деталях?

– А что, да, наверно так... все интересное. Важное. Мне нравится читать об этом.

Со мной-то ничего значительного не происходит.

Она сказала это бодро, даже весело, без жалости к себе. В голосе и движениях ее сквозила бесцеремонность юности. Голова ее была вся в каштановых кудряшках, на курносом носу, между широко расставленных глаз, цвело несколько веснушек. Таггерт подумал, что такое лицо вполне можно назвать привлекательным, если только заметишь его, однако причин замечать его не усматривалось. Казалось бы, вполне заурядное девичье личико, если не считать бойкого, полного интереса взгляда, способного обнаружить нечто волнующее и неожиданное буквально за каждым углом.

– Мистер Таггерт, а как это – чувствовать себя великим человеком?

– А как это – чувствовать себя юной девицей?

Она рассмеялась.

– По-моему, чудесно.

– Ну, тогда вам живется лучше, чем мне.

– Ну как можно говорить такие...

– Думаю, вам даже повезло в том, что не приходится соприкасаться с важными событиями, о которых пишут в газетах. Кстати, что вы называете *важным* событием?

– Ну... важное.

– А что бывает важным?

– А это уже вы должны объяснить мне, мистер Таггерт.

– Ничего важного на свете не существует.

Девушка недоверчиво посмотрела на него:

– И это именно *вы* говорите такие слова в *такой* вечер!

– У меня вовсе не празднично на душе, если вам хочется это знать. Никогда в жизни у меня не было более скверного настроения.

К огромному удивлению Таггерта, девушка взглянула на него с такой озабоченностью, какой он еще не встречал.

– Вы утомлены, мистер Таггерт, – искренним тоном проговорила она. – Пошлите их всех к черту.

– Кого?

– Тех, кто заставляет вас унывать. Это несправедливо.

– Что несправедливо?

– Что вам приходится чувствовать себя таким вот образом. Вы пережили нелегкие времена, но победа осталась за вами, и вы можете сегодня наслаждаться ею. Вы заслужили это.

– И как, по-вашему, я должен это делать?

– Ох, этого я не знаю. Но, по-моему, у вас сегодня должен быть праздник, прием, чтобы к вам заявились всякие знаменитости с шампанским, чтобы вам подносили всякие вещи... ну, вроде ключей от города – настоящая шикарная вечеринка, – а не так вот, когда вы, один, бродите по городу и покупаете всякие дурацкие бумажные носовые платки!

– Кстати, дайте мне их, пока вы еще помните, – проговорил Таггерт, подавая ей монету. – А что касается шикарной вечеринки... вам не приходило в голову, что сегодня я могу не хотеть никого видеть?

Искренне задумавшись, девушка сказала:

– Действительно. Я не подумала об этом. Но теперь я понимаю, почему так получилось.

– Почему же? – На этот вопрос у него самого ответа не было.

– Потому что все вокруг хуже вас, мистер Таггерт, – ответила она совсем просто, не пытаясь польстить, просто констатируя факт.

– Вы действительно так думаете?

– Я не слишком люблю людей, мистер Таггерт. По большей части.

– И я тоже. Я не люблю их совсем.

– Я думаю, что такому человеку, как вы, не может быть известно, насколько подлыми они могут быть, как они пытаются растоптать тебя или проехаться на твоей спине, если ты им это позволишь. Я думала, что большие люди всегда могут избавиться от них, а не терпеть все время блошинные укусы, но, может быть, это не так.

– А что вы имеете в виду под «блошиными укусами»?

– Ну, я просто всегда говорю себе, когда мне приходится туго: тебе надо пробиться туда, где не придется терпеть разные там булавоочные уколы и гадости, – но, наверно, так обстоит повсюду, только вот блохи крупнее.

– Куда крупнее.

Девушка умолкла, о чем-то задумавшись.

– Забавно, – проговорила она в ответ на какую-то свою мысль.

– Что забавно?

– Когда-то я читала книжку, где было сказано, что большие люди всегда несчастны, и чем они больше, тем несчастнее. Мне это показалось непонятным. Но, наверно, так оно и есть.

– Сказано много точнее, чем вы думаете.

Девушка отвернулась, на лице ее проступило волнение.

– Но почему вас так волнуют великие люди? – спросил Джеймс. – Или вы просто привыкли почитать героев?

Девушка повернулась к Таггерту, и он заметил на ее все еще серьезном лице отсвет улыбки – настолько красноречивого, обращенного лично к нему взгляда ему еще не приходилось видеть, но ответила она тихим, почти обреченным тоном:

– Мистер Таггерт, а на кого же еще смотреть?

В помещении вдруг раздался скрежещущий звук – не звонок и не зуммер, а что-то еще – он хрипел с действующей на нервы настойчивостью.

Девушка вздрогнула, будто возвращаясь к реальности, а потом вздохнула.

– Все, время вышло, мы закрываемся, мистер Таггерт, – произнесла она полным сожаления голосом.

– Сходите за своей шляпкой – я подожду вас снаружи, – предложил он.

Она посмотрела на него такими глазами, словно среди всех возможностей, которые могла бы уготовить ей жизнь, никогда не думала именно об этой.

– Вы не шутите? – прошептала она.

– Не шучу.

Вихрем повернувшись, она бросилась к служебной двери, забыв о своем прилавке, о своих обязанностях и о неписаном женском законе – никогда не показывать мужчине, что его приглашение ей приятно.

Задержавшись на мгновение, он проводил ее взглядом. Таггерт не стал уточнять природы своих чувств, он вообще никогда их не анализировал – таким было единственное правило, которого он неуклонно придерживался в своей жизни; он просто ощущал желание, и оно было приятно ему, другого определения он и знать не желал. Однако на этот раз чувство было рождено мыслью, слишком внезапной, чтобы облечь ее в слова. Он нередко встречался с девицами из низших слоев общества, устраивавшими нахальные представления, строившими ему глазки и пускавшими в грубую лесть по вполне понятной причине; ему они не были ни симпатичны, ни противны; подобное общество немного развлекало его, и он рассматривал их как равных

в игре, более чем понятной для обеих сторон. Но эта девушка казалась другой. И в уме его застряла невысказанная мысль: проклятая дуреха действительно так думает.

То, что он дожидается ее с нетерпением, стоя под дождем на тротуаре, и то, что сегодня он нуждается именно в ней, не смущало его и не воспринималось как противоречие. Он не докапывался до природы своего каприза. А нечто, не названное и не произнесенное, не могло противоречить себе.

Когда девушка вышла, он отметил в ее облике странную смесь: застенчивый взгляд и высоко поднятая голова. На ней был уродливый плащ-дождевик, окончательно изгаженный крупной дешевой брошью на отвороте, и небольшая шляпка с плюшевыми цветами, пристроенная на кудрявой головке под вызывающим углом. Как ни странно, горделивая посадка головы делала ее наряд даже привлекательным, как бы подчеркивая, насколько хорошо она умеет носить то, что у нее есть.

– Не хотите ли зайти ко мне в гости, чего-нибудь выпить? – спросил Джеймс.

Она кивнула, молча и торжественно, словно не могла так вот вдруг найти подходящие слова. А потом проговорила, не глядя на него, словно обращаясь к себе самой:

– Вы не хотели сегодня никого видеть, но пригласили меня...

Он никогда еще не слышал столь искренней гордости в чьем-либо голосе.

Не проронив больше ни слова, девушка села рядом с ним на сиденье такси. Некоторое время она просто рассматривала небоскребы, мимо которых они проезжали, а потом сказала:

– Я слыхала, что подобные вещи иногда случаются в Нью-Йорке, но никогда не думала, что такое может произойти со мной.

– Откуда вы родом?

– Из Буффало.

– Родственники есть?

Она помедлила с ответом.

– Насколько я полагаю, да. Они остались там, в Буффало.

– А что означают эти слова – «насколько я полагаю»?

– Я ушла от них.

– Почему?

– Потому что подумала, что если мне суждено чего-то добиться, мне нужно уйти от них, уйти навсегда.

– Почему? Что-то произошло?

– Ничего. Там ничего и никогда не происходило. Именно этого я и не могла перенести.

– Что вы имеете в виду?

– Ну они... ну, наверно, мне лучше сказать вам правду, мистер Таггерт. Мой отец так ничего и не добился в жизни, и маме было плевать на это, и мне стало тошно оттого, что из всех семерых лишь я одна работала, а остальные, так или иначе, вечно оказывались не у дел. И я подумала, что если не уберусь оттуда, то сдамся... прогнью насквозь, как и они. Поэтому я просто купила однажды билет на поезд и уехала. Даже не попрощалась. Никого не предупредила заранее. Она вдруг усмехнулась внезапно пришедшей в голову мысли:

– Мистер Таггерт, а ведь это был ваш поезд.

– И когда вы приехали сюда?

– Шесть месяцев назад.

– И все это время одна?

– Да, – весело ответила она.

– И чем же вы намеревались здесь заняться?

– Ну знаете, чем-нибудь, куда-то попасть.

– И куда же?

– Ну не знаю, но... бывает, людям всякое удается. Я увидела фотографии Нью-Йорка и подумала... – она указала на огромные дома, видневшиеся сквозь потеки дождя за окном такси, – я подумала, что тот, кто построил эти здания, не сидит без дела и не скулит о том, что на кухне грязно, крыша прохудилась, трубы засорены, мир вокруг проклят и... Мистер Таггерт, – она резко дернула головой и посмотрела ему в глаза, – мы были бедны как крысы, и нас это ничуть не смущало. Именно этого я и не могла перенести – того, что им *на самом деле* все было безразлично. Они и пальцем не хотели пошевелить. Даже вынести мусорное ведро. А соседка все твердила, что я должна обслуживать их, что нет разницы в том, что будет со мной, с ней самой, с любым из нас, поскольку никто ничего не в состоянии изменить!

В светлых глазах ее угадывались боль и решимость.

– Я не хочу говорить о них, – продолжила она. – Только не сейчас. Этого вот – я имею в виду свою встречу с вами – с ними произойти не могло. И этим я не хочу с ними делиться. Это событие принадлежит мне, а не им.

– Сколько же вам лет? – спросил Таггерт.

– Девятнадцать.

Повнимательнее рассмотрев гостью в своей гостиной, Таггерт подумал, что, если ее чуть подкормить, у нее будет неплохая фигура; девушка казалась слишком худой для своего роста и сложения. На ней было коротенькое поношенное черное платье в обтяжку, которое она попыталась украсить аляповатыми пластмассовыми браслетами, звякавшими на запястье. Стоя посреди комнаты, она озиралась, как в музее, где нельзя ничего трогать, и почтительно пыталась запомнить все подробности.

– Как вас зовут? – спросил он.

– Черрил Брукс.

– Ну, садитесь.

Он молча соорудил коктейль, а она покорно ждала, присев на краешек кресла. Когда Джеймс подал ей бокал, девушка послушно сделала несколько глотков, после чего оставила бокал в руке. Он видел, что она не ощущает вкуса напитка, просто не замечает его.

Сделав глоток, он с раздражением отставил бокал: ему тоже не захотелось пить. Таггерт принялся угрюмо расхаживать по комнате, понимая, что она молча следит за ним, наслаждаясь мгновением, наслаждаясь огромным смыслом, которым были наделены для нее его движения, его запонки, шнурки его ботинок, его абажуры и пепельницы.

– Мистер Таггерт, почему вы так несчастны сегодня?

– Почему вас это волнует?

– Потому что... ну, если у вас сегодня нет права на радость и гордость, то у кого же оно есть?

– Именно это я и хотел бы узнать – кто имеет на это право? – Таггерт резко повернулся к своей гостье, слова полились так, как если бы расплавился предохранитель. – Он же не изобретал железную руду и доменные печи, так ведь?

– Кто?

– Риарден. Он не изобретал плавку, химию, поддув и литье. Он не мог изобрести свой металл без тысяч и тысяч других людей. Его металл! Почему он считает его своим? Почему считает своим изобретением? Все пользуются чужими находками. Никто не способен ничего изобрести.

Она с удивлением произнесла:

– Но железная руда и все прочее... они же давно известны. Тогда почему никто не сделал этот металл до мистера Риардена?

– Он сделал это не ради благородной цели, а ради наживы, он никогда не поступал иначе.

– Что же в этом плохого, мистер Таггерт? – Она негромко рассмеялась, словно бы вдруг разрешив загадку. – Это абсурдно, мистер Таггерт. Вы хотели сказать совсем другое. Вам же

известно, что мистер Риарден честно заработал все свои деньги, и вы тоже. Вы говорите мне так просто из скромности, хотя все знают, что все вы сделали огромное дело – и вы, и мистер Риарден, и ваша сестра... она, должно быть, совершенно удивительный человек!

– Неужели? Ну это вы так думаете. Сестра моя – жесткая, бесчувственная женщина, которая расходует свою жизнь на сооружение железнодорожных путей и мостов не ради высшего идеала, но только потому, что ей нравится строить. Если она занимается заведомо любимым делом, чем же здесь восхищаться? Я совершенно не уверен в том, что сооружение этой дороги ради процветающих предпринимателей Колорадо заслуживает особого одобрения, тем более в то время, когда бедный люд пораженных безработицей районов так отчаянно нуждается в транспорте.

– Но, мистер Таггерт... вы же сами боролись за сооружение линии.

– Да, потому что таков был мой долг – по отношению к компании, вкладчикам, персоналу. Но не ждите, что я буду радоваться содеянному. Я не вполне уверен, что все это было так важно... зачем нужен новый сложный металл, когда столько стран отчаянно нуждаются в простом железе... известно ли вам, что в Китайской Народной Республике не хватает элементарных гвоздей, чтобы приколачивать деревянные крыши к стропилам?

– Но... но мне не кажется, что в этом можно обвинять вас.

– Кто-то все равно должен позаботиться о гвоздях. Человек, умеющий видеть вещи, не внесенные в его записную книжку. В наши дни не найдешь человека, способного проявить сочувствие – и это когда вокруг столько страданий! Подумать только, плюнуть на все и на всех, отдав десять лет своей жизни возне с какими-то там металлами. И, по-вашему, это великое свершение? Ну здесь-то речь идет не о высших способностях, а о шкуре, которую не пробить, даже вылив ему на голову тонну стали! В мире можно найти уйму куда более одаренных людей, но их имена не попадают в передовицы газет, и вы не станете бежать с шоссе к железнодорожному поезду, чтобы посмотреть на них – потому что они не станут изобретать мостов, способных стоять вечно, в то время, когда страдания человечества отягощают их души!

Девушка смотрела на него с молчаливым почтением, уже без прежнего энтузиазма, глаза ее погасли. Джеймс почувствовал себя увереннее.

Взяв в руку свой бокал, он сделал глоток, а потом усмехнулся внезапному воспоминанию.

– Впрочем, это было забавно, – сказал он уже более непринужденным и живым тоном, каким разговаривают со старым приятелем. – Видела бы ты вчера Оррена Бойля, когда по радио передали первое сообщение с «Узла Уайэтт»! Он буквально позеленел... в самом деле, сделался таким же зеленым, как залежалая селедка! Знаешь, как он провел вчерашнюю ночь, стараясь пережить скверные новости? Нанял себе номер в отеле «Валгалла» – а это тебе не пустяк – и, как я слышал, до сих пор все еще там, пьяный вусмерть: валяется под столом в компании избранных дружков и половины всех девок, которых удалось наскрестить на Амстердам авеню!

– А кто такой мистер Бойль? – спросила ошеломленная гостья.

– Этот-то? Жирный жлоб, переоценивший свои возможности. Смышленный такой парень, который иногда становится слишком уж умным. Видела бы ты его вчера! Я был в отпаде. От него и от доктора Флойда Ферриса. Этому чистюле не понравилось все, не понравилось ни на грош! – элегантному-то доктору Феррису из Государственного научного института, слуге народа, вещающему словами из патентованной кожи, однако, я бы сказал, что он справился с делом отлично, разве что егозил в каждой фразе – я про то интервью, которое он дал сегодня утром... там были такие слова: «Страна дала Риардену его металл, и теперь мы ждем ответного дара от него стране». Остроумно сказано, если учесть, *кто* ехал на том милом поезде... У него получилось лучше, чем у Бертрама Скаддера... когда приятели, джентльмены из прессы, попросили его высказать свое мнение, мистер Скаддер не придумал ничего лучше, чем сказать, что воздерживается от комментариев... *Воздерживается от комментариев...* –

и это Бертрам Скаддер, не умеющий заткнуться с самого дня рождения, просили его говорить или нет, шла ли речь об абиссинской поэзии или о состоянии дамских комнат на текстильных фабриках! А доктор Притчетт, старый дурак, бродил вокруг да около, утверждая, будто ему точно известно, мол, Риарден не изобретал свой металл, поскольку некий безвестный, но надежный источник сообщил ему, что Риарден украл состав у нищего изобретателя и убил его!

Джеймс довольно хихикал. Девушка слушала его как лектора по высшей математике, не понимая ничего, даже стиля изложения, лишь еще более углублявшего тайну, поскольку не сомневалась в том, что он – *Он!* – имеет в виду нечто совершенно иное.

Таггерт снова наполнил свой бокал, но тут веселье вдруг оставило его.

Осев в кресле лицом к гостье, он посмотрел на нее мутными глазами.

– Она возвращается завтра, – произнес он, мрачно ухмыльнувшись.

– Кто?

– Моя сестра. Моя драгоценная сестрица. О, теперь она решит, что стала великим человеком, так ведь?

– Вы не любите свою сестру, мистер Таггерт?

Джеймс ответил ей тем же смешком, настолько красноречивым, что другого ответа не потребовалось.

– Почему? – спросила она.

– Потому что она считает себя безупречной. А по какому праву? И кто вообще вправе назвать себя безупречным? Никто.

– Ну, вы не это хотите сказать, мистер Таггерт.

– Я хочу сказать лишь то, что все мы не более чем люди. А что такое человек? Слабое, уродливое, греховное существо, рожденное для порока, прогнившее до костей, и смирение – единственная доступная ему добродетель. Ему следовало бы провести свою жизнь на коленях, моля о прощении за свое грязное бытие. Когда человек начинает считать себя самым добрым, самым умным, тут и начинается гниль. Гордыня – худший из грехов, что бы ты ни создал.

– Но если человек знает, что сделал хорошее дело?

– Тогда ему следует извиниться за это.

– Перед кем?

– Перед теми, кто его не сделал.

– Я... я не понимаю вас.

– Конечно же, не понимаешь. Для этого нужны годы и годы занятий, трудов на высшем интеллектуальном уровне. Ты когда-нибудь слышала о «Метафизических противоречиях Вселенной», труде доктора Саймона Притчетта? – Девушка испуганно помотала головой. – Откуда ты можешь вообще знать, что хорошо, а что плохо? Кто может сказать это? Кто может вообще что-либо утверждать? Абсолютов не существует, как неопровержимо доказал доктор Притчетт. Ничего нельзя считать абсолютным. Все лишь дело частных мнений. Откуда тебе известно, что этот мост на самом деле не рухнул? Ты только думаешь, что это так. Откуда тебе известно, что этот мост вообще существует? Ты думаешь, что философская система – система доктора Притчетта – вещь академическая, отстраненная, непрактичная? Но это не так. Ох, как же это не так!

– Но, мистер Таггерт, линия, которую вы построили...

– Ах, да что вообще представляет собой эта линия? Всего лишь материальное творение... имеет ли оно какое-то значение? Есть ли величие в чем-либо материальном? Только низменное животное может в изумлении застыть перед мостом, ведь в жизни столько возвышенного! Но разве высшие материи когда-нибудь получают признание? О нет! Посмотри на людей. Сколько воплей, сколько стонов на первых страницах газет о том, как удачно расположили несколько кусков бездушной материи. Где же интерес к более благородным темам?

Кто и когда отдавал первую полосу феноменам духа? Кто замечает, кто ценит человека, наделенного высшей чувствительностью? И тебя еще удивляет, что великий человек может быть обречен на несчастье в этом порочном мире!

Наклонившись вперед, Таггерт внимательно посмотрел на свою гостью.

– Я скажу тебе... кое-что скажу... признаком добродетели является отсутствие счастья. Если человек несчастен, несчастен реально, по-настоящему, это означает, что он принадлежит к числу высших созданий, обитающих среди людей.

На лице ее проступило встревоженное, озадаченное выражение.

– Но, мистер Таггерт, у вас есть все, чего только можно пожелать. Вы получили лучшую железную дорогу страны, в газетах вас называют величайшим бизнесменом века, говорят, что акции вашей компании принесли вам за один день целое состояние, у вас есть все... разве вы не рады этому?

– Нет, – ответил он.

Услышав его краткий ответ, девушка почувствовала безотчетный страх. Она не знала, почему голос ее превратился в шепот:

– И вы предпочли бы, чтобы мост рухнул?

– Я этого не говорил! – отрезал Джеймс. Пожав плечами, он пренебрежительно взмахнул рукой. – Ты просто не понимаешь.

– Простите меня... О, я знаю, мне нужно еще многому учиться!

– Я говорю о стремлении к чему-то большему, чем этот мост. Стремлении, которое не может быть удовлетворено ничем материальным.

– В самом деле, мистер Таггерт? Неужели вам это действительно нужно?

– Ну вот! Задавая такой вопрос, ты немедленно снова оказываешься в грубом материальном мире, где надлежит все взвешивать и наклеивать ярлычки. Я говорю о вещах, которым нельзя дать имя материальными словами... о высших областях духа, недостижимых для человека... Кстати, что представляет собой любой человеческий поступок? Даже сама Земля – не что иное, как атом, кружащий по Вселенной... ну какое значение имеет наш мост в масштабах Солнечной системы?

Внезапное понимание просветлило глаза девушки.

– Это очень благородно с вашей стороны, мистер Таггерт, считать свои достижения недостойными себя. Не сомневаюсь в том, что как далеко вы ни шагнули бы, все равно захотите сделать следующий шаг. Вы честолюбивы. Именно оно более всего восхищает меня в людях – честолюбие. То есть когда они делают, не останавливаются, не сдаются, а *делают*. Я понимаю это, мистер Таггерт... даже если не могу понять все большие мысли.

– Ты научишься.

– О, я буду очень усердно учиться!

Восхищение по-прежнему оставалось в ее глазах. Таггерт направился через комнату, дабы заново наполнить свой бокал, чувствуя себя освещенным этим взглядом, как прожектором. В нише за маленьким баром висело зеркало. Он заметил в нем свое отражение: высокое тело, испорченное вялой, сутулой осанкой, словно демонстративно отрицавшей всякую претензию на человеческое изящество, редющие волосы, слабый угрюмый рот. Джеймс вдруг понял, что девушка видит вовсе не его – перед ней застыла фигура героического строителя, гордо расправившего плечи под теребящим волосы ветром. Он усмехнулся, довольный тем, как здорово подшутил над девчонкой, чувствуя при этом легкое удовлетворение, чем-то даже похожее на победу, и уж во всяком случае безусловное превосходство.

Пригубив напиток, он посмотрел на дверь своей спальни, прикидывая, не завершить ли это приключение старым добрым образом. Добиться своей цели ему было бы несложно: девушка была слишком потрясена, чтобы артачиться. Красноватой бронзой сверкали ее волосы

на склоненной под лампой головке, гладкая кожа плеча светилась. Джеймс отвернулся. «Зачем мне эти хлопоты?» – подумал он.

Тот намек на желание, которое он испытывал, можно было счесть разве что легким физическим неудобством. Перейти к действиям его побуждала, скорее, мысль не о девушке, а обо всех мужчинах, никогда не упустивших бы подобной возможности. Тем не менее Джеймс вынужден был признать, что жизнь случайно столкнула его с особой, куда более интересной, чем Бетти Поуп, и, возможно, среди его знакомых никого лучше просто не было. Мысль эта оставила его безразличным. Он не мог оказать этой девице предпочтения перед Бетти Поуп. Он не чувствовал ничего. Перспектива получить удовольствие не стоила усилий, кроме того, у него *не было желания* это удовольствие получить.

– Уже поздно. Где вы живете? – проговорил он, решив снова перейти на «вы». – Выпьем еще раз, и я отвезу вас домой.

Когда он прощался с ней возле двери жалких меблированных комнат в какой-то трущобе, девушка все еще боролась с отчаянным желанием задать ему самый главный для нее вопрос.

– Смогу ли я... – начала она и умолкла.

– Что?

– Нет, ничего, ничего!

Он прекрасно понимал, что вопрос будет.

– Смогу ли я снова увидеть вас? – наконец вырвалось у нее.

И он с удовольствием промолчал, прекрасно понимая, что охотно предоставит ей такую возможность.

Она еще раз посмотрела на него, словно прощаясь навсегда, и проговорила – негромко и проникновенно:

– Мистер Таггерт, я очень благодарна вам, потому что... то есть любой другой мужчина на вашем месте попытался бы... ну, мужчины не хотят ничего другого, но вы выше этого, много выше!

Джеймс подошел к ней вплотную и с легкой, полной интереса улыбкой поинтересовался:

– А вы не жалеете об этом?

Девушка отдернулась от него, вдруг ужаснувшись собственным словам.

– Ой, я имела в виду совсем не это! – охнула она. – Боже, я ничего не искала, не ждала...

Отчаянно покраснев, она повернулась и взбежала по высокой крутой лестнице дома.

Таггерт постоял на тротуаре, испытывая странное, тяжелое и туманное чувство удовлетворенности, как если бы совершил добродетельный поступок и заодно отомстил всем тем, кто выстроился, приветствуя первый поезд, вдоль всей трехсотмильной ветки «*Линии Джона Голта*».

* * *

Когда поезд прибыл в Филадельфию, Риарден оставил ее, не сказав и слова, словно ночи их обратного пути ничего не стоили перед дневной реальностью людных станционных платформ и тепловозов, реальностью, которую он уважал. Дагни отправилась до Нью-Йорка в одиночестве. Однако поздно вечером в дверь ее квартиры позвонили, и она поняла, что ждала его.

Войдя, Риарден ничего не сказал, только посмотрел на нее, делая этим безмолвием свое присутствие более интимным, чем можно было бы выразить словами. На лице его угадывалась легкая тень презрительной улыбки, одновременно и признающей свое – и ее – нетерпение, и осуждающей его. Остановившись посреди гостиной, он неторопливо огляделся; это была ее комната, символ его долгой, растянувшейся на два года муки, место, о котором он думать не смел и все же думал, место, куда он не должен был входить, но где стоял теперь с непринуж-

денностью законного владельца. Опустившись в кресло, Риарден вытянул ноги, а она осталась стоять, словно нуждаясь в разрешении сесть и терпеливо ожидая его.

– Должен сказать тебе, что ты сделала великое дело, построив эту дорогу, – проговорил он. Дагни с удивлением посмотрела на него; он никогда не отпускал ей столь прямолинейных комплиментов; восхищение в голосе Риардена было подлинным, однако тень насмешки еще крылась в его лице, и Дагни показалось, что произнес он эти слова ради какой-то неизвестной ей цели. – Я провел весь день, отвечая на вопросы о тебе, о линии, о сплаве и о будущем. А еще подсчитывая заказы на металл. Они поступают со скоростью нескольких тысяч тонн в час. А что было девять месяцев назад? Я ниоткуда не мог получить ответа. Сегодня же мне пришлось отключить телефон, чтобы не выслушивать лично всех желающих поговорить со мной о своей архисрочной потребности в риарден-металле. А ты чем была занята?

– Не знаю. Пыталась выслушать отчеты Эдди... пыталась спрятаться от газетчиков, пыталась найти подвижной состав, чтобы пустить больше поездов по нашей новой линии, потому что уже запланированных не хватит, чтобы покрыть все потребности, скопившиеся всего за три дня.

– И сегодня у тебя не было отбоя от желающих повидаться с тобой, так ведь?

– Ну да.

– И они были готовы отдать что угодно за возможность поговорить с тобой, так?

– Ну... ну, наверно.

– Репортеры все спрашивали меня о том, какая ты. Мальчишка из местного листка все твердил, что ты – великая женщина. Он сказал, что ему было бы страшно разговаривать с тобой, даже если бы ему представилась такая возможность. Он прав. Будущее, о котором они все время толкуют и которого так боятся, будет таким, каким его сделала ты, потому что у тебя есть отвага, у них отсутствующая. Своей силой ты открыла им все пути к тому, чего они так жаждут, – к процветанию. У тебя есть сила выстоять против всех. Сила не признавать ничьей воли, кроме своей собственной.

Дагни невольно задохнулась: она поняла его цель. Застыв по стойке смирно, вытянув руки по швам, не дрогнув и мускулом, с безупречной выдержкой она стояла под сыпавшимися на нее похвалами, как под ударами кнута.

– Тебе также задавали вопросы, правда? – продолжил он, наклонившись вперед. – И они смотрели на тебя с восхищением. Они вели себя так, словно ты стояла на высокой горе, а им оставалось только, сняв шляпы, взирать на тебя с почтительного расстояния. Верно?

– Верно, – прошептала она.

– И они смотрели на тебя так, словно не смели приблизиться, заговорить в твоём присутствии, даже прикоснуться к складке твоей одежды. Они понимали это и держались подобающим образом. Они ведь смотрели на тебя с почтением, правда? Снизу вверх?

Дернув Дагни за руку, он заставил ее опуститься на колени, прижал к своим ногам и припал ко рту поцелуем. Дагни беззвучно смеялась, полуприкрыв глаза, затуманенные удовольствием.

По прошествии нескольких часов, когда они лежали рядом в постели и рука Риардена блуждала по ее телу, он вдруг спросил:

– А кем были твои другие мужчины? – заставив Дагни откинуться на спину, а потом склонился к ней, – и она поняла по выражению его лица, по легкой задержке дыхания, даже по ровному, негромкому, но явно напряженному тону, что вопрос этот стоил ему долгих часов муки.

Он смотрел на нее так, словно в мельчайших подробностях ожидал *увидеть* в ответе незнакомые лица, и зрелище это было для него кошмаром, но отвернуться он не мог; в его голосе звучали презрение, ненависть, страдание и странная, не связанная с мучением, лихорадочная нервозность: он задал свой вопрос, крепко прижимая ее к себе.

Дагни ответила спокойно, однако он заметил, как в ее глазах промелькнул опасный огонек, означавший, что она поняла все до конца:

- Кроме тебя у меня был только один мужчина, Хэнк.
- Когда?
- Когда мне было семнадцать лет.
- И долго это продолжалось?
- Несколько лет.
- Кто он?

Она отодвинулась, навалившись на его руку; Риарден приподнялся на локте, лицо его стало напряженным.

- Этого я тебе не скажу.
- Ты любила его?
- Я не буду отвечать на этот вопрос.
- Тебе нравилось спать с ним?
- Да!

Смех в ее глазах превратил это короткое слово в подобие пощечины, смех говорил о том, что она знает – именно этого ответа он боится и именно его хочет услышать.

Обхватив Дагни обеими руками, он крепко прижал ее к себе, так что стало больно спине; слова его звучали гневно, но в голосе слышалось удовольствие:

– *Кто он?*

Дагни не ответила, она смотрела на него темными, внезапно заблестевшими глазами, и искаженный болью рот ее сложился в подобие насмешливой улыбки.

Прикосновением губ он заставил ее рот сделаться покорным.

Он овладел ею так, будто бурная, полная отчаяния страсть его могла стереть неведомого соперника из ее памяти, из ее прошлого, и более того – будто этим он мог превратить любой фрагмент ее жизни, даже самого соперника в инструмент своего удовольствия. Возглас Дагни, обхватившей его руками, сказал Риардену, что именно так она и хотела принадлежать ему.

* * *

Силуэт конвейерной ленты, возносившей уголь к вершине далекой башни на фоне исчертивших небо огненных полос, казался исходящей из земли неистощимой чередой черных контейнеров, по диагонали пересекавшей закат. Далекий приглушенный лязг угадывался за звоном цепей, которыми молодой человек в синем комбинезоне крепил механизмы к железнодорожным платформам, выстроившимся на боковых путях коннектикутской «*Шарикоподшипниковой компании Квинна*».

Мистер Моуэн из Объединенной сигнально-семафорной компании, располагавшейся на противоположной стороне улицы, стоял рядом и наблюдал. Он остановился по дороге домой со своего предприятия, чтобы проследить за погрузкой. Легкое пальто обтягивало его невысокую полную фигуру, котелок покрывал седеющие светлые волосы.

В воздухе уже тянуло первыми сентябрьскими холодами. Все ворота на территории Квинна были широко открыты, люди и краны вывозили наружу станки, словно извлекали все жизненно важные органы, оставляя труп, подумал мистер Моуэн.

– Значит, еще одна? – спросил он, тыкая большим пальцем в сторону предприятия, хотя ответ уже знал заранее.

- А? – буркнул молодой человек, только что заметивший его.
- Значит, еще одна компания перебирается в Колорадо?
- Угу.

– Третья из Коннектикута за последние две недели, – продолжил мистер Моуэн. – А если поглядеть на то, что происходит в Нью-Джерси, Род-Айленде, Массачусетсе и по всему Атлантическому побережью...

Молодой человек не смотрел на него и не слушал.

– Словно забыли перекрыть водопровод, – проговорил мистер Моуэн, – и вся вода утекает теперь в Колорадо. И все деньги.

Молодой человек перебросил цепь через укрытый брезентом крупный станок и вслед за ней перелез на противоположную сторону.

– Где привязанность к своему родному штату, где верность... Но люди бегут. Не знаю, что с ними случилось.

– Все дело в законе, – проговорил молодой человек.

– В каком законе?

– В Законе справедливой доли.

– Как это?

– Я слышал, что мистер Квинн год назад намеревался открыть филиал в Колорадо. Закон разрушил его планы. Поэтому он и решил целиком перебраться туда со всем штатом и оборудованием... во всеоружии, так сказать.

– Не вижу оснований для этого. Закон был необходим. Стыд и позор, чтобы старые фирмы, существовавшие из поколения в поколение... Закон здесь был просто необходим...

Молодой человек действовал уверенно и быстро, работа словно бы радовала его. За его спиной гроыхал вползавший на небо конвейер.

Четыре далекие дымовые трубы казались флагштоками, над ними неторопливо курились дымки, похожие на длинные вымпелы, приспущенные в красных вечерних сумерках до половины мачты.

Мистер Моуэн привык видеть эти трубы на горизонте еще со времен своих отца и деда. Конвейер был виден из окна его кабинета уже тридцать лет. То, что «Шарикоподшипниковая компания Квинна» могла исчезнуть с противоположной стороны улицы, казалось непостижимым; о решении Квинна Моуэн узнал заранее и не поверил ему; или, точнее, поверил, как верил многим словам, которые слышал или произносил, усматривая в них только звуки, не имеющие конкретного отношения к конкретной реальности. Теперь он понял, что переезд соседа такой реальностью стал. И стоял возле платформ на боковом пути, будто полагая, что еще может остановить погрузку.

– Неправильно это, – проговорил он, обращаясь ко всему горизонту, хотя слышать его мог только один молодой человек на платформе. – При отце моем такого не было. Я не из больших шишек. Я не хочу ни с кем сражаться. Что произошло с миром?

Ответа не последовало.

– Ну а ты, например... тебя берут в Колорадо?

– Меня? Нет, я здесь не в штате. Так, подрабатываю. Нанялся, чтобы помочь с погрузкой.

– Ну а что же ты будешь делать после того, как они уедут?

– Не имею ни малейшего представления.

– А что ты будешь делать, если переехать решит кто-то еще?

– Поживем – увидим.

Мистер Моуэн с сомнением посмотрел вверх: трудно было понять, к кому относится этот ответ – к нему, или молодой человек адресовал его самому себе. Однако внимание того было полностью приковано к работе; он не смотрел вниз.

Юноша перебрался к покрытым брезентом силуэтам на следующую платформу, и мистер Моуэн последовал за ним, глядя вверх, споря с кем-то в пространстве:

– У меня же есть права, так ведь? Я родился здесь. И когда рос, не сомневался, что старые компании останутся на своем месте. Я рассчитывал, что буду руководить заводом, как это делал

мой отец. Человек является членом общества, и у него есть право рассчитывать на общество, так ведь?.. С этим что-то надо делать.

– С чем?

– О, да знаю я, тебе-то все это кажется великолепным, так ведь?.. И весь этот таггертовский бум и риарден-металл, и золотая лихорадка в Колорадо, и пьяное веселье там, где Уайэтт и его компания расширяют производство, которое и так кипит, как переполненный чайник! Всем кажется, что это чудесно – и ничего другого не услышишь, куда ни пойдешь – и все кругом счастливы, строят планы, как шестилетние детишки на лето, можно подумать, что вокруг сплошной медовый месяц на всю страну или постоянное Четвертое июля!

Молодой человек молчал.

– Ну, я-то так не думаю, – проговорил мистер Моуэн. И произнес, понизив голос:

– В газетах этого не пишут, учти, в газетах ничего толкового не прочитаешь.

Ответом мистеру Моуэну послужил только звон цепей.

– Ну почему все они бегут именно в Колорадо? – спросил он. – Что там есть такого, чего нет здесь, у нас?

Молодой человек ухмыльнулся:

– Может быть, это как раз *у вас здесь* есть нечто такое, чего нет там.

– Что же?

Молодой человек не ответил.

– Не понимаю. Это же отсталый, примитивный, непросвещенный край. Там нет даже сколько-нибудь современного правительства. Худшего правительства не найдешь ни в одном штате. И столь же ленивого. Оно ничем не занято – только содержит суды и полицию. Оно ничего не делает для людей. Оно никому не помогает. Не могу понять, почему наши лучшие компании стремятся сбежать туда.

Молодой человек посмотрел на него сверху вниз, но ничего не сказал.

Мистер Моуэн вздохнул.

– Неправильно все это, – проговорил он. – Закон справедливой доли – вещь, безусловно, хорошая. Свой шанс должен получить каждый. И просто стыд и позор, что такие люди, как Квинн, пытаются добиться с его помощью несправедливого преимущества. Почему он не может предоставить кому-нибудь в Колорадо возможность изготавливать такие же подшипники?.. По мне, так лучше бы эти типы из Колорадо оставили нас в покое. И литейная конторка Стоктона не имеет никакого права вступать в сигнально-стрелочное дело. Все те годы, которые я потратил на него, дают мне бесспорное право старейшины; это нечестно, это чистая свара в стае, новичков не следует туда допускать. Куда я буду теперь продавать свои стрелки и семафоры? В Колорадо были две крупные железные дороги. Теперь «Феникс-Дуранго» закрылась, так что осталась только «Таггерт Трансконтинентал». Они поступили подло – заставили Дэна Конвея уйти. Всегда должна оставаться возможность для конкуренции... А я уже шесть месяцев жду заказанную у Оррена Бойля сталь, и теперь он говорит мне, что не может ничего обещать, потому что риарден-металл подорвал ему весь сбыт, за этот металл дерутся, и Бойль вынужден сокращать производство. И это нечестно... почему это Риардену можно подрывать чужие рынки... И мне тоже нужно немного риарден-металла, но попробуй теперь найди его! Очередь к нему уже выстроилась на три штата, и никому – ничего, только его старинным друзьям, таким как Уайэтт и Даннагер. Это нечестно. Это прямая дискриминация. Я ничуть не хуже этих ребят. Мне тоже положена моя доля этого металла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.